

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1983

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Климов Г. А. (Москва). ⁴ Наследие классиков марксизма и принцип историзма в языкознании	3
Кацнельсон С. Д. (Ленинград). Лингвистическая типология	9
Слюсарева Н. А. (Москва). О типах терминов (на примере грамматики)	21

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Домашнев А. И., Помазан Н. Г. (Ленинград). Актуальные проблемы швейцарской германистики	30
Щербак А. М. (Ленинград). Последовательность морфем в словоформе как предмет специального исследования	39
Колшанский Г. В. (Москва). О языковом механизме порождения текста	44
Ольшанский И. Г. (Москва). Взаимодействие семантики слова и предложения	52

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Стариченок В. Д. (Минск). К проблеме территориального варьирования полисемантов	63
Васильева Н. В. (Жуковский). К семантическому и функциональному описанию греко-латинских терминоэлементов в лингвистической терминологии	71
Виноградова В. Л. (Москва). Об описании значений слов в историческом словаре	80
Ким С. С.-Д. (Ташкент). О преломлении в толковых и двуязычных словарях единства языковой системы и речевой деятельности	92

И з и с т о р и и н а у к и

Хабургаев Г. А. (Москва). «Средний штиль» М. В. Ломоносова в контексте истории русского литературного языка	101
Храковский В. С. (Ленинград). Истоки вербоцентрической концепции предложения в русском языкознании	110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Ярцева В. Н. (Москва). О некоторых венгерских работах в области контрастивной лингвистики	118
---	-----

Рецензии

Кривоносов А. Т. (Москва). Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии	125
Репина Т. А. (Ленинград). <i>Как В. Г.</i> Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис	130
Шахнарович А. М. (Москва). Теоретические проблемы социальной лингвистики	132
Баскаков Н. А., Тенишев Э. Р., Тихонов А. Н., Шаабдурахманов Ш. (Москва). <i>Ўзбек тилининг изоҳли луғати</i>	134
Колосова Т. А., Попова З. Д. (Воронеж). Современный русский язык	137
Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П. (Ленинград). <i>Вести-курранты. 1645—1646, 1648 гг.</i>	141

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебrenников, Н. А. Слюсарева,
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
О. Н. Трубаев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией И. В. Соболева

КЛИМОВ Г. А.

НАСЛЕДИЕ КЛАССИКОВ МАРКСИЗМА И ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Методологическая значимость принципа историзма, огромная действенная сила которого была впервые продемонстрирована в творческом наследии классиков марксизма, стала к настоящему времени одной из аксиом для широкого направления исследований гуманитарного цикла как в СССР, так и за его пределами. Как известно, с последовательной реализацией исторического подхода к своему объекту оказываются связанными наиболее крупные вехи в развитии целого комплекса общественных наук. Более того, трудно сомневаться в том, что именно внедрению данного принципа в исследовательскую практику весь этот комплекс обязан своим становлением. Красноречивым свидетельством тому служит, в частности, история языкознания, решающую роль в формировании которого как современной научной дисциплины сыграло распространение эволюционных идей. Здесь представляется уместным подчеркнуть, что последнее обстоятельство отчетливо видел К. Маркс, отмечавший, что «у Вико содержатся в зародыше Вольф („Гомер“), Нибур („История римских царей“), основы сравнительного языкознания (хотя и в фантастическом виде)» [1].

Должно быть вместе с тем естественным, что прежде чем приобрести свой современный облик, принцип историзма прошел в лингвистике длительный и сложный путь. Первые, действительно фантастические и, к тому же, идеалистически окрашенные опыты его трактовки едва ли нуждаются ныне в комментариях. Представители лингвистического натурализма, как известно, приняли на вооружение философскую интерпретацию этого принципа, согласно которой процесс развития или «роста» оказывается приуроченным исключительно к так называемой доисторической фазе в эволюции языков, когда будто бы и устанавливалась их форма, в то время как в последующей, собственно исторической фазе они усматривали лишь процесс деградации их формы. Нетрудно заметить поэтому, насколько актуальной для науки того времени была полемика К. Маркса и Ф. Энгельса в «Немецкой идеологии» с философами, прибегавшими к несостоятельному противопоставлению «предыстории» и «собственно истории» [2]. Страдал ограниченностью историзма и позитивистски подчеркнутый подход к языку младограмматической школы. Младограмматики, проделавшие, по справедливой оценке И. И. Мещанинова, исключительно плодотворную работу по внедрению историзма в лингвистические исследования, несомненно, понимали историчность своего объекта, однако были еще не готовы четко уловить самое существо языкового развития. Достаточно упомянуть в этой связи признание ими примата фактов внешней хронологии языковых явлений, перед свидетельствами их внутренней хронологии (что согласовалось с характерной для младограмматизма привязанностью к языку письменных памятников), их интерес к праязыку как таковому, а не как средству истолкования истории языков [3, с. 3—4], а также фактическое сведение у них объективных закономерностей языкового развития к понятию фонетического закона. И хотя уже Г. Паулю принадлежит значительно более созвучная идеям современности трактовка рассматриваемого принципа, немалый груз иллюзий сопровождал процесс совершенствования исторического подхода к языку и в последующий период: ср. неспособность Ф. де Соссюра понять, каким образом может быть историческим в полном смысле слова языкознание, при осознании им историчности

самого языка [4, с. 339], или еще недавно высказывавшееся представление о возможности сообщить атрибут историзма рассмотрению языкового материала посредством снабжения его экскурсами диахронического порядка, основанное на упрощающем отождествлении понятий исторического и диахронического. И лишь с того времени, когда принцип историзма твердо становится в языкознании на службу материалистической концепции языкового развития, можно констатировать, что он превращается в действительное орудие лингвистического исследования.

Уже из данного здесь очень схематичного комментария нетрудно заметить, вероятно, с какой наглядностью основные этапы в развитии науки о языке отражают процесс совершенствования самого исторического подхода к ее объекту. И если еще в настоящее время появляются лингвистические публикации, вольно или невольно пренебрегающие этим важнейшим методологическим постулатом, всегда существует возможность конкретно продемонстрировать их ущербность.

Богатейшее идейное наследие классиков марксизма, органической частью которого является, как известно, и совокупность лингвистических взглядов, содержит немало положений общего порядка, лингвистическая интерпретация которых позволяет совершенствовать историческую трактовку языкового материала. Следует к тому же подчеркнуть, что сам круг лингвистических формулировок К. Маркса и Ф. Энгельса во многом определялся столь характерным для практики обоих историзмом в истолковании общественных явлений. Одна из этих формулировок, принадлежащая перу К. Маркса, по существу отражает собой целостную историческую концепцию языка: «...хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие» [5]. Нетрудно увидеть, что за этим лаконичным высказыванием стоит и принятие автором идеи исторического развития языка, и признание им объективных закономерностей последнего, и, наконец, констатация неодинакового положения языков мира на универсальной шкале развития. Ф. Энгельсу принадлежат не менее важные обобщения по глоттогенетической проблематике, формулирующие концепцию возникновения языка «из процесса труда и вместе с трудом» [6]. Среди других имеющих сюда непосредственное отношение положений можно отметить отрицание Ф. Энгельсом возможности установления сколько-нибудь прямолинейных корреляций между развитием языка и общества [7], а также тезис классиков марксизма о появлении названий целых классов предметов только «на известном уровне дальнейшего развития» [8, с. 377]. Наконец, в ряде контекстов, встречающихся преимущественно в языковедческих трудах Ф. Энгельса, находим и instructивные примеры решения конкретных лингвистических вопросов в свете историзма: ср. его набросок исторической диалектологии германских языков, выдержанный в духе отказа от популярной в то время концепции родословного древа [8, с. 522 и сл.], предостережения против антиисторических выводов в опытах далеко идущих реконструкций общественного устройства прошлого по свидетельствам языка [9], опору на исторически определенные критерии при решении задачи языковой идентификации диалекта [ср. 10].

«Принцип историзма, — пишет М. Б. Кедров, — отнюдь не означает изложения материала просто в хронологической последовательности. Этот принцип предполагает раскрытие внутренней закономерности связи явлений, согласно которой совершается сам процесс развития. Следовательно, под принципом историзма здесь понимается общая последовательность ступеней развития, закономерно сменяющих одна другую, что не всегда и не во всех частностях совпадает со строгой хронологической последовательностью отдельных событий. Другими словами, в данном случае, как и в истории развития всей человеческой мысли, обнаруживается необходимость отступления от хронологии ради более четкого выявления подлинной исторической линии развития» [11, с. 7]. Уже в лингвистических работах Ф. Энгельса, особенно — в касающихся вопросов исторической диалектологии германских языков, налицо иллюстрации именно такого

подхода, обнажившие недостатки метода внешней хронологизации историко-лингвистических явлений, широко практиковавшегося современными ему представителями младограмматической доктрины [об этом см. 12, с. 286—289].

Незнакомство современников классиков марксизма с идеями последних существенно тормозило внедрение принципа историзма в лингвистические исследования. Неудивительно поэтому, что способность языковеда взглянуть на то или иное состояние языка как на закономерную фазу в его эволюции, т. е. как на некоторый продукт исторического процесса, представляет собой относительно недавнее завоевание лингвистики.

Заметную роль в выработке такого подхода к языку играла, в частности, и отечественная лингвистическая традиция прошлого, в которой встречаемся не только с соответствующими декларациями, но и с довольно яркими примерами его реализации при анализе конкретных фактов. Так, концентрированным выражением исторической платформы И. А. Бодуэна де Куртенэ может служить его следующее высказывание, относящееся еще к 1871 году: «Обыкновенные грамматики разных языков берут только известный момент истории языка. Но истинно научными они могут быть только рассматривая этот известный момент в связи с полным развитием языка» [13, с. 69—70]. Семьдесят лет спустя И. И. Мещанинов сформулировал эту же мысль в следующей редакции: «Синхроническая грамматика трактует о действующем строе языка как исторически сложившегося целого, тогда как вторая, диахроническая, показывает исторический процесс развития языка до современного состояния. Обычно лишь диахроническая грамматика именуется исторической, по существу же обе грамматики можно было бы назвать историческими, имея в виду, что одна из них затрагивает один исторический этап развития языка, а другая изучает все исторические этапы, пройденные этим же языком» [14, с. 19]. Если обратиться к практике реализации этого принципа в конкретных работах русских лингвистов прошлого, то здесь в первую очередь следует упомянуть труды А. А. Потебни, многие наблюдения которого выдержаны в ярком духе историзма. Ср., например, его следующее высказывание, в сжатой форме подчеркивающее целую совокупность исторических предпосылок функционирования языкового факта современности: «В „Хорсис!“ даже нет налицо имени, а есть наречие, предполагающее, между прочим, столь продолжительные процессы, как образование среднего рода, разделение имени на существительное и прилагательное, переход согласуемого прилагательного, тяготевшего к подлежащему, в наречие, тяготеющее к глаголу» [15, с. 85; ср. еще с. 32, 83, 84 и др.].

Эволюционный взгляд располагает в современной лингвистике таким мощным орудием, каковым является концепция исторического характера грамматических, в широком смысле слова, категорий, уже неоднократно формулировавшаяся многими авторами (ср., например, яркое высказывание И. А. Бодуэна де Куртенэ, согласно которому «крайне неуместно измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени» [14, с. 68]). Эта концепция, основанная в конечном счете на огромной совокупности фактов лингвистической эмпирии, вполне согласуется с более общими результатами современных глоттогенетических штудий, согласно которым сигнальные системы неандертальца и раннего сапиентного человека образуют некоторые низшие ступени по отношению к речи современных людей. Далеко не исчерпаны, по всей вероятности, и более широкие предпосылки историзма лингвистического исследования, вытекающие из признания факта системной организации языка. Так, в настоящее время, по-видимому, уже не нуждается в специальном доказательстве утверждение, что системно ориентированное синхронное исследование способно быть глубоко историческим и, напротив, пренебрегающее такой ориентацией диахроническое исследование может оказаться совершенно антиисторическим. Дополнительные резервы внедрения историзма в языкознание открываются и в связи с возросшим в последние годы интересом лингвистов к естественным классификациям языков (особенно заметным в сфере типологии), как известно,

допускающим в отличие от многочисленных искусственных определенную историческую интерпретацию фактического материала. Здесь было бы излишним говорить об особенно очевидных показателях поступательного движения языков в сфере их функционирования.

Разумеется, далеко не в каждом языковом изменении возможно усматривать момент развития. Лингвистической практикой выявлена большая совокупность и таких изменений, которые сводятся — если ограничиться структурным аспектом языка — к циклическому чередованию определенных средств формальной языковой техники (ср., в частности, круговорот флексии и агглютинации), к заполнению так называемых пустых клеток в той или иной подсистеме языка, к выравниванию по аналогии и т. п. Динамика подобных процессов едва ли способна отражать поступательное движение языка. Между тем из языкознания прошлого известно немало случаев, когда неразличение понятий языкового изменения и развития приводило к серьезным просчетам даже крупных лингвистов.

«С точки зрения общих историков, — писал, например, Н. С. Трубецкой в одном из своих писем Р. О. Якобсону, — можно для эволюции языка устанавливать только такие „законы“, как „прогресс цивилизации разрушает двойственное число“ (Meillet)¹ — т. е., строго говоря, законы, во-первых, весьма подозрительные, а во-вторых, не чисто лингвистические. Между тем, внимательное изучение языков с установкой на внутреннюю логику их эволюции учит нас тому, что таковая логика есть, и что можно установить целый ряд законов чисто лингвистических, не зависящих от внелингвистических факторов „цивилизации“ и проч. Но, разумеется, эти законы не будут говорить о „прогрессе“ или „регрессе“, — и потому-то с точки зрения общих историков (и вообще всяких эволюционистов — этнологов, зоологов и проч.) в них не будет главного „состава“ законов эволюции» [17, с. 97]. Вместе с тем, несколько далее выясняется, что понятие языковой эволюции автором прямо отождествляется с понятием изменения: он отмечает, что «в конце концов вполне правомочен вопрос не только, почему данный язык, выбрав какой-то путь, эволюционировал так, а не иначе, — но и почему данный язык, принадлежащий данному народу, выбрал именно такой-то путь эволюции, а не другой (напр., чешский — сохранение количества, а польский — сохранение смягчения)» [17, с. 98].

Приведенная выдержка из письма Н. С. Трубецкого довольно отчетливо отражает и некоторые другие слабые стороны неисторического подхода к языку.

Во-первых, здесь очевиден неучет того обстоятельства, что язык не образует замкнутой в самой себе системы, изолированной от других атрибутов человека и прежде всего — от его мышления, т. е., перефразируя известную формулу К. Маркса, не образует особого царства, а является только проявлением действительной жизни [ср. 2, с. 449].

Во-вторых, нельзя не видеть относительности в интерпретации того или иного структурного явления в качестве архаизма или инновации, недооценка которой отразилась в упомянутом тезисе А. Мейе о «разложении двойственного числа цивилизацией». Утрата числовой парадигмой форм дуалиса, действительно, документально засвидетельствована в эволюции целого ряда языков. В то же время параллельное функционирование в единой системе форм единственного, двойственного (реже — также тройственного) и множественного чисел уже давно рассматривается как закономерный этап на пути становления более абстрактного по своему содержанию противопоставления форм сингуляриса и плюралиса. А последнее с необходимостью предполагает, что для предшествовавшей ступени развития этих языков формы двойственного числа должны были представлять собой не архаизм, а инновацию (аналогичное *qui pro quo* налицо и в представлении, будто «только языки народов с примитивной, очень отсталой культурой» знают различие инклюзивного и эксклюзивного местоимений, тогда как в языках более развитых обществ существует единая форма

¹ При этом автор имеет в виду статью А. Мейе [см. 16].

1-го лица множественного числа, и что «развитие языков идет в направлении образования более широкого, более общего способа указывания» [18, с. 23]).

Если придерживаться понимания историзма как некоторого целостного мировоззрения, обуславливающего специфический подход к исторически развивающемуся объекту, то не приходится сомневаться в том, что каким бы аспектом лингвистического исследования — генетическим, типологическим или ареальным — ни занимался языковед, он всегда имеет дело с развивающимся языком.

В лингвистике конца прошлого — начала текущего столетия всецело господствовало стремление приписывать атрибут историзма исключительно генетическим (сравнительно-историческим) исследованиям. Широко было распространено и отождествление разноплановых по своему существу понятий исторического и диахронического. Однако уже в рамках младограмматизма иногда ощущалась неудовлетворенность таким положением вещей.

С последовавшим в первой половине XX века интенсивным развитием ареальной лингвистики постепенно стали вырисовываться и ее исторические основания. Можно вспомнить в этой связи, что еще в начале 20-х годов Э. Сэпир высказал убеждение в специфичности территориального распространения языковых явлений, от которой нельзя «попросту отмахнуться», и в том, что за ней должна стоять некоторая историческая обусловленность [19, с. 160]. С дальнейшими успехами ареальных штудий вопросы формирования языковых союзов с их интереснейшим каузальным аспектом по праву стали занимать в этой проблематике центральное место. В настоящее время в специальной литературе встречаемся уже не только с признанием очевидной исторической обусловленности процессов языковой конвергенции, но и убеждением в хронологической приуроченности лежащих в основе становления языковых союзов процессов конвергенции языков преимущественно к более поздним эпохам развития человеческого общества, характеризующимся все возрастающей его экономической и политической концентрацией [ср. 20, с. 136—149; 21, с. 279—281].

Нельзя не упомянуть, наконец, что в современном языкознании практически уже преодолено возникшее в прошлом предубеждение о неисторическом характере типологических исследований. В мировой науке накоплен огромный опыт типологического изучения языкового материала, руководствующегося идеей исторического развития языков. Так, не говоря уже о пионерском в этом отношении направлении работ, представленном многочисленными публикациями советских лингвистов 20—40-х годов, здесь в первую очередь следует отметить и ныне активно продолжающуюся в СССР традицию аналогичных исследований как теоретического, так и практического плана. Еще более показательно в этом отношении то обстоятельство, что мысль об исторических основаниях типологии не чужда в настоящее время и ряду видных зарубежных лингвистов. Например, Э. Косериу, подчеркивая первостепенную важность демонстрации исторического развития конкретных языков как прогрессивной реализации заложенных в них потенций, констатирует, что лингвистическая типология в своей основе исторична [22, с. 29; ср. 23, с. 144—145]. С другой стороны, К. Х. Шмидт, формулируя свой тезис о перспективности построения «сравнительно-исторической» типологии, считает, что она должна покоиться на убеждении в правомерности типологического сравнения истории определенных категорий в неродственных языках [24, с. 21]. Можно предполагать, что именно типологии, а не генетическому или ареальному языкознанию предстоит, в частности, установить особенно тесные связи с работами в области глоттогенеза.

Не приходится сомневаться в том, что более широкое внедрение историзма в исследовательскую практику остается актуальной задачей и для современного языкознания. От ее решения будут, вероятно, зависеть перспективы успешного развития его самых различных отраслей. Наследие классиков марксизма составляет один из важных источников резервов лингвистической науки на этом пути.

1. *Маркс* — Фердинанду Лассалю. — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 30, с. 512.
2. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Немецкая идеология. — Соч., т. 3, с. 27.
3. *Жирмунский В. М.* Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М. — Л., 1964.
4. *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история. (Проблема языкового изменения). — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
5. *Маркс К.* Введение (из экономических рукописей 1857—1858 годов). — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 12, с. 711.
6. *Энгельс Ф.* Диалектика природы. — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 489.
7. *Энгельс Ф.* Йозефу Блоху. — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 37, с. 395.
8. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 19.
9. *Э[нгельс] Ф.* Лауре Лафарг. — *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 36, с. 256—257.
10. *Климов Г. А.* Фридрих Энгельс о критериях языковой идентификации диалекта. — ВЯ, 1974, № 4.
11. *Кедров М. Б.* Классификация наук. I. Энгельс и его предшественники. М., 1961.
12. *Кацнельсон С. Д.* Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историко-лингвистических фактов. — В кн.: Энгельс и языкознание. М., 1972.
13. *Бодуэн де Куртене И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. I. М., 1963.
14. *Мещанинов И. И.* Общее языкознание. К проблеме стадиальности в развитии слова и предложения. Л., 1940.
15. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1963.
16. *Meillet A.* L'emploi du duel chez Homère et l'élimination du duel. — MSLP, 1921, XII, f. 3, p. 150.
17. *Jakobson R. N. S.* Trubetzkoy's letters and notes. The Hague — Paris, 1975.
18. *Милевский Т.* Предпосылки типологического языкознания. — Исследования по структурной типологии. М., 1963.
19. *Сэпир Э.* Язык. Введение в изучение речи. М. — Л., 1934.
20. *Десницкая А. В.* «Языковой союз» как категория исторического языкознания. — В кн.: II Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. «Диалектика развития языка»: Тезисы докладов. М., 1980.
21. *Hampe E. P.* On some questions of areal linguistics. — Proceedings of the Third Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. Berkeley, 1977.
22. *Coseriu E.* Humboldt und die moderne Sprachwissenschaft. — В кн.: Арнольду Степановичу Чикобава (сборник, посвященный 80-летию со дня рождения). Тбилиси 1979.
23. *Coseriu E.* Vom Primat der Geschichte (Oswald Szemerényi zu seinem 65 Geburtstag). — Sprachwissenschaft, 1980, Bd. 5, Hf. 2.
24. *Schmidt K. H.* Historische Sprachvergleichung und ihre typologische Ergänzung. — ZDMG, 1966, Bd. 116, № 1.

КАЦНЕЛЬСОН С. Д.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

Лингвистическую типологию по традиции или точнее, быть может, по своего рода инерции мысли и ныне иногда определяют как учение о морфологических классах или типах языков. Верное в общих чертах для ранних исторических форм типологии, сложившихся в немецком романтическом языкознании начала XIX в., такое определение в настоящее время уже устарело. Понятия «класса» и «типа», лежащие в основании типологии языковедов-романтиков, хотя и соприкасаются в некоторых существенных пунктах, но в целом, как заметил в свое время виднейший представитель последующего поколения немецкой типологии Г. Штейнталь, далеко не тождественны. Более того, в ряде отношений они вовсе исключают друг друга и не могут быть совмещены в рамках единой концепции. Соответственно не совпадают и производные от них понятия «классификации» и «типологии». Во избежание возможных недоразумений заметим, что термин «типология» неоднозначен и употребляется в двух разных значениях — общем и специальном. Если в специальном значении этот термин используется для обозначения типологической концепции Штейнталья и его школы, то в более общем значении под ним имеется в виду любая типология, а не только штейнталевская. Термин «морфологическая классификация языков» в этом отношении более однозначен; он употребляется только для выделения той разновидности типологии, которая опирается на понятие морфологического класса языков и восходит к морфологической классификации языковедов-романтиков, из критики которой выросла собственно типологическая концепция Штейнталья.

Сказанное означает, что термин «типология» претерпел эволюцию, в результате которой имело место обобщение выражаемого им понятия. Вместе с тем, однако, старое значение термина, выделяющее учение о типах языков, также сохранено в термине, что сделало этот термин двусмысленным.

Другое замечание касается подчеркиваемой во многих определениях типологии органической связи типологии с морфологией. Такое понимание действительно было присуще начальной поре в развитии интересующей нас лингвистической дисциплины. Но к нашему времени этот взгляд устарел и больше не отвечает состоянию науки. Разрушительная критика времени сказалась не только на понятии морфологического класса, но и на идее, согласно которой морфологии принадлежит монопольное право служить областью приложения типологических методов. С некоторых пор, особенно интенсивно с начала XX в., появляются типологические исследования и в области синтаксиса (учение о структурных типах предложения). А в самые последние годы интерес к типологии принял настолько широкий характер, что порожденная им «типология универсалий» едва ли не охватила все «уровни» языкового строя, обнаружив таким образом тенденцию к слиянию с общей лингвистикой.

Что же представляет собой типология и какое место должно принадлежать ей по праву в общей системе лингвистических дисциплин? Чтобы разобраться в этом вопросе, полезно будет, как нам представляется, проследить ход развития интересующей нас науки и предпринять попытку вскрыть внутреннюю логику ее сложного и подчас неожиданного развития. А чтобы понять сущность типологии, важно прежде всего учесть, что, подобно сравнительно-исторической грамматике родственных языков, типология также является разновидностью сравнительного языкознания,

добывающего свои исторические факты путем систематического сопоставления строевых элементов различных языков.

Типологию можно определить как раздел компаративистики в широком смысле этого термина. Компаративистику обычно определяют слишком узко, отождествляя ее со сравнительной грамматикой родственных языков. Между тем имеются веские основания различать компаративистику в расширенном значении как науку, опирающуюся на сравнение любых (в принципе всех) языков, безотносительно к их внутреннему строю, и компаративистику в узком смысле, занимающуюся сравнительным изучением генетически родственных языков. В целом же компаративистикой, или сравнительно-историческим языкознанием, принято называть лингвистическую науку, занимающуюся систематическим сравнением строевых элементов родственных языков в целях реконструкции их исторического прошлого. В таком определении сравнительное языкознание ограничивается кругом родственных языков, в совокупности образующих особую семью языков, например, индоевропейских или угро-финских. Между тем сравнительный метод может применяться не только в пределах определенной семьи языков, но и за пределами такого рода семьи. Всякое сравнение предполагает сходство сравниваемых языков в том или ином отношении.

О всякой типологии можно сказать, что она является специфической областью сравнительного языкознания, т. к. обе эти науки пользуются сравнительно-историческим методом, опираясь при этом на факты структурных сходств и различий в сопоставляемых языках. Как в свое время заметил выдающийся индоевропеист А. Мейе, следует различать две разновидности сравнительного изучения языков. «Сравнение, — писал он, — может применяться для достижения двух различных целей: чтобы обнаружить общие закономерности или чтобы добыть исторические сведения. Оба вида сравнения совершенно закономерны и весьма различны» [1]. Хотя Мейе прямо не называет при этом типологию и сравнительно-историческое языкознание, но можно думать, что, говоря о сравнении, ориентированном на добывание исторических сведений, он имел в виду то, что традиционно называют сравнительно-историческим языкознанием, а говоря о языкознании, призванном обнаружить «общие закономерности», он подразумевал типологию. Такое разграничение двух сравнительных методов, в зависимости от целей сравнения, несомненно, имеет под собой реальную почву, но нуждается в некоторой экспликации. Противопоставление «общих закономерностей» и «исторических сведений» закономерно лишь для того, кто в исторических фактах усматривает только хаотический поток случайных событий, для кого история — это не более, чем калейдоскоп разновременных и внутренне бессвязных событий. Конечно, в общем потоке исторических процессов и событий содержатся цепи событий различного характера. Имеются цепи различной природы. Во многих случаях поток событий состоит из разнородных, случайно совпавших друг с другом во времени и в сущности независимых друг от друга исторических процессов. В случаях другого рода мы имеем дело с закономерными проявлениями единого исторического процесса, внутренне связанными между собой. Процессы первого рода можно назвать конstellляциями. Что же касается событий второго рода, то только их и можно называть историческими закономерностями.

«Общие закономерности» противопоставляются у Мейе «историческим сведениям», как будто сведения исторического характера полностью исключают «общие закономерности». В действительности, однако, область конкретно-исторических сведений отнюдь не исключает их органической связи с «общими закономерностями». Различие между сравнительно-историческим и сравнительно-типологическим языкознанием проходит, надо думать, по иной линии. Можно было бы привести и другие высказывания, в которых философы и социологи по-разному оценивают и обсуждают перспективы сравнительного изучения языков, оптимальные возможности использования сравнения с целью разработки истории языка, принципы отбора языков в плане уточнения материала, на базе которого в дальнейшем будет осуществляться то или иное исследование, и т. д. Нужно заме-

тить, что во всех этих случаях рассуждения не выходили за пределы предварительных соображений, прикидок общего порядка, непосредственно еще не связанных с анализом конкретных материалов, подлежащих сравнительному изучению языков. То были скорее подготовительные шаги к сравнению языков, чем конкретная разработка методов сравнительного анализа.

Для немецких языковедов-романтиков типология с самого начала была чем-то несравненно более содержательным, весомым и значимым, чем только способом распределения зарегистрированного наукой множества языков по определенным рубрикам. Уже в своих первых проявлениях типологические исследования языка были связаны с поисками закономерностей в области исторического формирования грамматических форм. Если на этом пути романтики не добились положительных успехов, то объяснить это можно тем, что почва для историко-типологических исследований в ту пору не была еще подготовлена. Первые попытки выявить исторические закономерности развития грамматического строя не дали ощутимых результатов уже в силу того факта, что серьезных исторических исследований в данной области тогда еще не существовало и что самый круг подлежащих исследованию проблем не был в достаточной мере очерчен. То, чего романтики здесь добились, было предварительной постановкой вопроса.

Первые же типологические исследования, появившиеся в XVIII—XIX вв., содержали в себе элементы генетико-объяснительного подхода к языковым явлениям, предвзяя возникновение и бурное развитие сравнительно-исторического языкознания в XIX в. Изначальная связь типологии и компаративистики отнюдь не случайна. При всем различии целей и отдельных методов исследования эти науки обнаруживают не только общие корни, но и постоянное контактов, поддерживаемых на основе активного противостояния и взаимной дополнительности. Уже Ф. Шлегель, впервые выдвинувший идею такой классификации, видел в ней нечто несравненно более существенное. Речь шла о «естественно-исторической» или «глоттогонической» классификации, сулившей пролить свет на общие закономерности развития языков и прежде всего их грамматического строя. Едва ли не впервые в истории науки был поставлен вопрос о законах развития грамматического строя, к тому же ставился он не в плане умозрительных гаданий и досужих измышлений, а на конкретном анализе фактов незадолго до того появившихся в поле зрения европейской науки разноструктурных языков.

Конечно, появление новой лингвистической дисциплины — типологии не явилось продуктом мгновенного озарения гениального ума. Историческая подготовка почвы для возникновения новой науки и связанного с нею метода шла в течение нескольких веков. Чтобы составить себе реальное представление о том, что такое типология, надо обратиться к идейным истокам этой лингвистической дисциплины. Уже с самого начала следует заметить, что типология возникает и обособляется относительно рано по мере кристаллизации идеи сравнительного изучения языков, причем содержание типологических исследований заметным образом изменяется с каждым шагом ее поступательного движения.

Типология и сравнительно-историческое языкознание — две родственные дисциплины, возникшие почти одновременно в начале XIX в. Обе они, хотя и по-разному, реализовали тенденцию, наметившуюся со времен знаменитой «Всеобщей и рациональной грамматики», вышедшей из стен янсенистского аббатства Пор-Рояля (1660 г.). Задачей этой грамматики было, по словам ее авторов А. Арно и К. Лансело, выявить как основания «явлений, общих для всех языков», так и «главных, встречающихся в них различий» [2, 3]¹. В этом положении «Всеобщей грамматики» имплицитно

¹ Авторы этой грамматики предвосхитили некоторые современные идеи о структуре процессов речеобразования. В целом, однако, исключительная ориентация на логику подавляла французских языковедов и ставила грамматику в одностороннюю зависимость от фигур логики. Поскольку познавательные потенции логической грамматики оказались заранее весьма ограниченными, то в дальнейшем логической грамматике ничего не оставалось, как заимствовать свои категории из новых философских систем, либо конструировать их произвольно, без дальнейших обоснований. Все это

содержалась уже идея сравнительного изучения строя разных языков. «Сходства» и «различия» в сумме как раз и составляют то, что *in pace* содержит в себе идею сравнительного изучения различных по своей структуре языков.

Важность сравнительных штудий была вскоре осознана такими выдающимися мыслителями и естествоиспытателями XVI—XVIII вв., как П. Л. Мопертюи, А. Р. Тюрго и Г. В. Лейбниц. Перед исследователями встала задача разработки методики сравнительных исследований и необходимого для этой цели отбора конкретных материалов. В этом плане несомненный интерес представляет полемика, разгоревшаяся по данному вопросу между философом, математиком и естествоиспытателем П. Л. Мопертюи и социологом А. Р. Тюрго. Мопертюи полагал, что главный интерес в этом плане представляют языки, резко отличающиеся один от другого и тем самым создающие предпосылки для контрастивного их изучения. «Многие языки,— писал он,— являются точно переводами одни с других; выражения идей в них построены одним и тем же способом, поэтому сравнение таких языков между собой не может нас ничему научить. Но встречаются языки, в особенности у весьма отдаленных народов, которые как будто были образованы на связях идей, столь отличных от наших, что почти невозможно переводить на наши языки то, что было на них выражено. Сравнение этих языков с другими языками могло бы дать много полезного философскому уму». Особо останавливаясь на языке так, называемых «диких» народов, Мопертюи заключает свое высказывание словами: «...*жаргоны* наиболее диких народов могли бы быть для нас более полезны, чем языки народов, наиболее изощренных в искусстве говорить, и лучше научили бы нас истории нашего разума» [4, с. 13]. Знаменитый французский экономист и мыслитель А. Р. Тюрго возражал ему: «Эти связи идей, отличные от наших, являются изобретением г. Мопертюи. Всем народам свойственны одни и те же чувства, а идеи образуются посредством чувств...». «Трудность перевода отнюдь не так велика, как изображает Мопертюи» [4, с. 12]. Возражая Мопертюи, Тюрго все же признает: «Языки диких народов, конечно, могли бы нас лучше просветить относительно первых шагов, сделанных человеческим разумом» [4, с. 13]. И далее Тюрго по существу соглашается с ним, вслед за Мопертюи поддерживая мысль о том, что исследование языков может явиться важным источником реконструкции истории человеческого интеллекта.

По мнению А. Р. Тюрго, при исследовании какого-либо конкретного языка следовало бы рассмотреть проблему происхождения и начала языков, проследить ход идей, влиявший на их образование и развитие, раскрыть принципы общей грамматики, регулирующей все языки, подробно проследить «следствия, вытекающие из различных смещений языков». Мыслители XVII—XVIII вв. лелеяли, таким образом, планы всесторонней разработки науки о языке. Они стремились проследить нити, ведущие от языка к мышлению и от мышления к языку, усматривая в этом возможность совершенствования не только науки о языке, но и сопредельных с нею наук. Они тонко выделяли возможные аспекты исследования языка, его грамматического строя, этимологии, зависимости языка от истории говорящего на нем народа, процессов смещения языков в связи с развитием хозяйственных и политических контактов между народами, говорящими на этих языках, миграциями, торговлей, развитием средств передвижения. Они предвидели выгоды, которые сулит развитие науки о языке, логике и философии.

Особенно значительны мысли А. Р. Тюрго, изложенные им в наброске оставшегося неосуществленным общего труда по теории и истории

не могло не вести к компрометации логической грамматики и ее окончательному упадку. Становилось очевидным, что даже явно ограниченный репертуар категорий, накопленный грамматической традицией, не может получить сколько-нибудь убедительной интерпретации на базе рационалистических предпосылок. Противостоявшая рационалистической грамматике эмпиристическая тенденция в грамматике получила выражение в философской концепции Локка и в грамматике Хэрриса.

языка. Язык подлежал в нем рассмотрению с двух точек зрения — с точки зрения его мыслительного содержания и с точки зрения истории развития его звуковых форм. Что касается первой из этих сторон, то в наброске труда Тюрго она получала следующее обоснование: «Хорошо выполненное изучение языков было бы, может быть, наилучшей логикой: анализируя, сравнивая слова, их составляющие, следуя за ними от их образования до различных значений, которые им впоследствии присвоили, мы проследили бы, таким образом, нить идей; мы увидели бы, через какие ступени, через какие оттенки люди прошли от одного значения к другому; мы уловили бы имеющуюся между ними связь и аналогию; мы могли бы дойти до открытия первичных значений и до выявления порядка, который люди соблюдали в сочетании этих первых идей. Эта своего рода *экспериментальная метафизика* была бы в то же время историей разума человеческого рода и прогресса его мыслей, всегда соразмерного с потребностью, породившей эти мысли. Языки являются одновременно их выражением и мерилom» [4, с.146].

Что касается второй точки зрения — исторической, — то в этом плане Тюрго подчеркивает значение исторических памятников, топонимии, следов языковых смещений, этнографических и других фактов. Так намечаются два важнейших аспекта исследования языков — логико-семантический и исторический. Называя первый из этих аспектов «своего рода экспериментальной метафизикой», Тюрго видит в нем средство поставить изучение логики и философии на материалистические основания, превратить философию в историю «разума человеческого рода и прогресса его мыслей, всегда соразмерного с потребностью, породившей эти мысли» [4, с. 146].

Так закладывается начало двух историко-лингвистических дисциплин — истории звуковой стороны языка и истории мыслительного его содержания. Теоретическая и материальная подготовка нового направления началась уже вскоре после провозглашения идеи сравнения. *Expresis verbis* идею сравнительной грамматики сформировал Г. В. Лейбниц, который усматривал возможность перехода от «всеобщей грамматики» к сравнительно-исторической. Он подчеркивал: «...тот, кто написал бы всеобщую грамматику, поступил бы хорошо, перейдя от сущности языков к рассмотрению их в том виде, как они реально существуют, и к сравнению грамматик различных языков» [5].

Философы и социологи увлечены теперь перспективой развития сравнительного языкознания. Их воодушевляет надежда проникнуть в законы развития языка и органически связанного с ним мышления. Они задумываются над тем, каков должен быть круг языков, привлекаемых исследователем к сравнению. В этих своих размышлениях они, однако, еще не выходят за пределы соображений и прикидок самого общего порядка. Но в детали сравнительного анализа сближаемых явлений они еще не вдаются, как и не углубляются в разработку методики.

Носившаяся в воздухе идея сравнительного языкознания была реализована позднее, когда к исходу XVIII в. в круг интересов европейской филологии попали два азиатских древнеписьменных языка — древнеиндийский и древнекитайский. Расширение географических горизонтов европейской филологической науки поставило исследователей перед принципиально новыми фактами и связанными с ними новыми проблемами. Открывшийся им факт материального родства древнеиндийского языка с древними европейскими языками, и прежде всего классическими, побудил их ближе заняться фактами родства и систематическим их описанием. Стимулом к исследованиям в области типологии послужило ознакомление европейских ученых с китайским языком, изолирующий строй которого резко контрастировал с морфологией древних индоевропейских языков, богатой флективными формами. Моносиллабический по своему корневому составу, почти лишенный спряжения и склонения, китайский язык мог показаться европейским исследователям малоразвитым языком, застывшим на начальном уровне грамматического развития. Известную роль в преувеличении значимости европейских язы-

ков по сравнению с восточными могли сыграть и европеистские настроения, побуждавшие видеть во всем европейском проявлении высшего совершенства [6].

Новые факты и связанные с ними проблемы открыли новую эпоху в развитии науки о языке. Если ранее объектом лингвистического исследования был всегда, за редкими исключениями, только один, как правило, родной для исследователя язык, то теперь наряду с моноглоттическими и исследованиями начинают появляться и полиглоттические, основанные на одновременном охвате нескольких, а то и многих языков. Одновременно в соответствии с задачами идентификации родственных фактов и выявления оснований их сближения изменился и метод исследования. Выявление как элементов сходства, так и расхождений в строе сопоставляемых языков ставило перед исследователями задачи исторической интерпретации и стратификации фактов. Реконструкция непосредственно не засвидетельствованных звеньев процесса также вставала на повестку дня. Сравнительное языкознание явно обнаруживало тенденцию к перерастанию в сравнительно-историческое языкознание. Под сравнительно-историческим языкознанием обычно понимают сравнительное изучение родственных языков, например, индоевропейских или семитских. Но и возникшая одновременно со сравнительным языкознанием индоевропейских языков типология также является в некотором смысле сравнительной и исторической.

В исследованиях нового типа оттачивается теперь новый, сравнительный метод, позволяющий сопоставлять данные разных языков, в том числе и языков, относящихся к разным эпохам. Сравнительные исследования открывают вскоре путь для исторического освещения языка, реконструкции его исторического прошлого. В итоге сравнительный метод исследования перерастает в сравнительно-исторический.

Историю типологии как особой лингвистической дисциплины (во всяком случае, на европейском континенте) обычно возводят к морфологической классификации языков, предложенной немецкими языковедами-романтиками в начале XIX в. Согласно этой точке зрения типология является плодом немецкого романтизма, а первой исторической формой типологии является морфологическая классификация языков. На деле, однако, такая точка зрения весьма грубо отражает историческую реальность и, можно сказать, искажает ее. Легенда о морфологической классификации языков как первичной исторической форме типологии могла сложиться лишь потому, что престиж немецких языковедов-романтиков был чрезвычайно высок, и казалось, будто неожиданный взлет языкознания в XIX в. является почти исключительной заслугой немецкой языковедческой науки. В действительности, однако, первые опыты в области типологических исследований появились в Англии за полвека до появления романтической традиции на европейском материке. Родоначальником типологии как особой лингвистической дисциплины был выдающийся английский социолог и экономист Адам Смит, опубликовавший специальный трактат «О первоначальном формировании языков и различии духовного склада исконных и смешанных языков» [7]. Это сочинение, в котором ясно прослеживается исконная близость типологии и истории языка, к сожалению, до последнего времени оставалось в лингвистике неизвестным и заметного воздействия на развитие типологии не оказало [8], хотя именно теория Смита в ряде существенных пунктов превосходила романтические построения в этой области.

Языкознание давно уже образует сложную систему лингвистических дисциплин, общая классификация которых намечена лишь вчерне. Многие из таких дисциплин сложились стихийно в разное время и под воздействием различных идейных тенденций. Связи между отдельными лингвистическими науками поэтому не всегда достаточно последовательны и систематичны. В ходе исторического процесса отношения между ними могут существенно пересматриваться и в конечном счете превратиться в сложный клубок разнородных и противоречивых определений. Каждое новое поколение исследователей вытягивало из такого клубка

лишь отдельные нити, представляющиеся ему особенно актуальными и перспективными для данной эпохи. В итоге единство традиции «размывалось» и определенная отрасль науки превращалась в разрозненные и мало связанные между собою звенья, объединяемые лишь тождеством наименования, переходившего по наследству от одной концепции к другой.

Именно так получилось с типологией, обособившейся в качестве самостоятельной науки в XVIII—XIX вв. Типология возникла сначала в Англии, где она формировалась в атмосфере английской материалистической философии и опытной науки, и позднее в Германии под идейным воздействием немецкого романтизма с его в общем прогрессивными, но вместе с тем несколько туманными, а порой и мистическими тенденциями. В каждом из названных регионов типология принимала самобытные формы и носила печать особой идейной атмосферы, в которой совершался процесс созревания ее исходных положений.

В отличие от типологов романтического толка, для которых развитие языкового строя начиналось с односложных «корней», о смысловом содержании которых говорилось очень мало, Смит отвел много места рассмотрению контентивной (содержательной) стороны грамматического строя. Развитие языка начинается, по Смицу, не с «гипотетических» корней, о которых почти ничего не известно, кроме того, что они поначалу односложны и в ходе дальнейшей эволюции обнаруживают таинственную способность к сращению в многосложные образования, а с синкретических слов, каждое из которых само по себе, без дальнейших добавлений, могло выражать целостное событие (event) или факт (matter of fact), например, *медведь идет*². Лишь впоследствии, побуждаемые необходимостью и повинувшись природе вещей, люди научились расчленять события на их абстрактные (у Смита «метафизические») составные элементы, в результате чего появляются слова, выражающие «частичные», т. е. вычлененные из целостного события, значения. Выражение события становится отныне сложным (intricate). Вместе с тем имеет место разделение функций между словами, что ведет к образованию частей речи. Возникают имена и глаголы, числительные и местоимения, знаменательные и служебные слова. Вследствие такой специализации слов вся система языка становится более когерентной, легче усваиваемой и удобопонятной. Возникают необходимые предпосылки для составления предложений и сложных лексических образований.

Процесс формирования слов и грамматических форм был в представлении романтиков по преимуществу односторонним процессом постепенного сращения односложных «корней» в более сложные лексические и морфологические единицы. Смит говорит нечто сходное. Он допускает, например, что формы спряжения и склонения сложились в результате сращения вещественных слов с местоименными и служебными словами. Сходную идею выскажет впоследствии и Ф. Бопп. Но для Смита возникновение сложной системы спряжения и склонения является прежде всего следствием роста абстрагирующей силы формирующегося мышления. Основная тенденция развития сводится, по Смицу, к процессу прогрессирующего вычленения отдельных мыслительных категорий из глобальных образов формирующейся мысли. Смит едва ли не первым высказал идею о возникновении языка с активного сообщения об актуальном событии. Исходным пунктом этого процесса являются у него не имена, не названия предметов, а слова, выражающие целостные, еще не расчлененные на составные элементы события. Тем самым отвергается наивная точка зрения, согласно которой язык — это прежде всего номенклатура, т. е. перечень терминов, соответствующих такому же количеству вещей. Эта точка зрения, которую Соссюр назвал «упрощенной», поскольку она «позволяет предположить, что связь, соединяющая имя с

² Мысль А. Смита о генетическом предшествовании событийных (предикативных) наименований лексическим имела известную историческую перспективу (междометная и другие теории в современном языкознании).

вещью, есть нечто совершенно простое» [9], безраздельно господствовала и поныне широко распространена во многих теориях происхождения языка. Лишь относительно недавно психология детской речи и мышления отвергла этот наивный взгляд и сформулировала для онтогенеза речи положение, давно выдвинутое Смитом для филогенеза языка.

Заслуги Смита перед типологией не ограничивались открытием некоторых закономерностей развития содержательной стороны языка. Задолго до романтиков Смит занялся вопросами трансформации морфологического строя языков и, в частности, ранее А. Шлегеля отметил переход ряда европейских языков от синтетического строя к аналитическому. Следует, однако, подчеркнуть, что исследование Смита движется в русле позднейшей истории, стремится вскрыть механизмы реально засвидетельствованных процессов.

Обобщая все сказанное, можно заметить, что Смит значительно шире и глубже представлял себе задачи новой науки. Открыв различие синтетического и аналитического строя, он не только осмыслил их как различные морфологические классы, составляющие вместе с тем и последовательные ступени в историческом развитии ряда европейских языков, но, не остановившись на этом, сделал многое для причинного обоснования такого развития. Насколько можно судить, он был первый, кто указал на роль процессов интерференции в упрощении морфологического строя. Концепция Смита не была подхвачена дальнейшей традицией в развитии типологии и осталась забытой. Лишь в наши дни идея синкретических слов-предложений вновь проложила себе путь в науке. ✎

В первых исследованиях немецких языковедов-романтиков ссылок на лингвотипологические рассуждения английского социолога мы не найдем. Возникшая на полвека позже типологическая традиция в Германии не обнаруживает следов влияния трезвой, выдержанной в духе лучших традиций английского классического материализма типологической концепции Смита.

Непрерывная историческая традиция типологии как науки сложилась в Германии под воздействием «туманной», как назвал ее Пушкин, учености немецкого романтизма. Типология начинается с трудов братьев Ф. и А. В. Шлегель, Ф. Боппа, А. Шлейхера и В. Гумбольдта. Эти ученые положили начало генетическому языкознанию, опирающемуся на явления структурного сходства в сопоставляемых языках.

Новые факты и связанные с ними проблемы открыли новую эпоху в развитии языкознания. Если предшествовавшая эпоха в развитии лингвистической науки характеризовалась исследованиями отдельных языков, вне их соотношения с другими языками, то теперь перед наукой во весь рост встала проблема множественности языков и форм их взаимосвязи. Пока наука не столкнулась с этой проблемой в процессе активного познания, проблема как таковая для нее не существовала. Между тем многоязычие является реальной проблемой, нуждающейся в прояснении.

Сам по себе факт множественности языков не требует специального объяснения. Язык рассматривается всегда в соотношении с какой-либо говорящей на данном языке этнической группой, и если мы сталкиваемся со случаями нарушения омоморфизма языка и его социального носителя, то специального объяснения требует не сам по себе этот факт, а факт относительно редкий, факт отсутствия омоморфизма.

Идею классификации языков, номенклатуры морфологических типов в первые выдвинул Ф. Шлегель, один из выдающихся представителей немецкого романтизма. Распределение языков по классам было для романтиков с самого начала чем-то более значительным и существенным, чем только способом внешнего упорядочения зарегистрированного в науке множества языков. Речь шла о «естественно-исторической классификации», обещающей пролить свет на процессы становления грамматического строя и словотворчества, а также о вполне достоверном факте родства индоевропейских языков — факте, все более подтверждавшемся по мере развития сравнительно-исторической грамматики индоевро-

пейских языков. Перед наукой вставал также сложный и во многом неясный вопрос о природе флективной морфологии и ее соотношении с изолирующим строем китайского языка. Сама по себе природа китайской морфологии представляла проблему, приблизиться к которой можно было только с помощью смелых и изощренных гипотез.

Предложенная языковедами-романтиками гипотеза основывалась на механистическом естествознании XVII—XVIII вв. Романтики рассматривали все объекты, способные к спонтанному развитию, как своего рода «организмы», противопоставляя их «неорганическим», или, что то же, «механическим» объектам. В отличие от Аделунга, считавшего все языки механизмами, романтики сочли возможным отнести наиболее развитые языки к числу «организмов». Особое впечатление произвело на них отличие китайского языка с его изолирующим строем от морфологического строя многих других языков и прежде всего от индоевропейских языков флективного типа.

Европейским исследователям, воспитанным на грамматике классических языков, древнегреческого и латинского, почти полное отсутствие спряжения и склонения в китайском языке должно было казаться едва ли не аграмматизмом, что означает отсутствие всякого грамматического строя вообще. Романтики с их принципиальной генетической установкой усмотрели в этом древнейшее исходное состояние языка. То был, как им казалось, еще совсем неразвитый язык, состоящий из «голых», т. е. бесформенных, корней. В европейской грамматической традиции термин «корень» обозначает главную часть словоформы, несущую на себе лексическое значение. Корень в таком понимании — это не самостоятельный элемент языкового строя, а сегмент словоформы, вычленяемый исследователем в результате анализа грамматических форм в парадигме. В применении к китайскому языку этот термин получал иное значение. В изолирующем строе китайского языка корень — это уже не абстрактный элемент синтетической словоформы, а нечто иное, прямого отношения к флективной морфологии не имеющее.

Ф. Бопп, ранее склонявшийся к отождествлению структуры китайского и индоевропейского корня, впоследствии отказывается от такой точки зрения. «Подлинных корней, — пишет он позднее, — в китайском нет, поскольку корень необходимо предполагает словарное гнездо, или, что то же, семью слов, средоточием которых он является» [10]. Основатель сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков не соглашался с Ф. Шлегелем, приписывавшим корню флективных языков способность порождать из себя флексию. «В индийском или греческом языке, — писал Ф. Шлегель, — каждый корень действительно соответствует своему наименованию, это словно бы живой зародыш; ибо если понятийные отношения выражаются с помощью внутренних изменений, то тем самым открывается путь к дальнейшему развитию и полнота развития может возрастать в неподдающихся определению масштабах» [11]. Ф. Шлегель допускал в конечном счете, что корни индоевропейских языков, подобно растениям, могут давать новые побеги и тем самым порождать внешнюю флексию. Ф. Бопп, как уже говорилось, решительно возражал против таких представлений, а типолог последующей формации Г. Штейнталь осуждал их. «Из этого неясного изложения, — писал он о соответствующих высказываниях Ф. Шлегеля, — явно вытекает, что отношения органической природы распространяются здесь непосредственно на язык и что в этой непосредственности проявляется мистицизм и грубость мысли» [12]. Все же Бопп находил, что хотя предложенное Ф. Шлегелем членение языков и несостоятельно в своих основных положениях, сама по себе идея естественно-исторической классификации языков включает в себе много здравого [10, с. 204—205]. В обоснование этой мысли Бопп, опираясь на положения Шлегеля, выделяет три класса языков, приближающихся к этой идее. Это, во-первых, языки без корней, не способные к словосложению, в силу чего они лишены «организма» и не имеют грамматики. К ним относится китайский язык, в котором все, как кажется, состоит из «голых» корней,

а грамматические категории и побочные отношения в основном узнаются из позиции слова в предложении [10, с. 204—205]. Ко второму классу он относит языки, односложные корни которых обнаруживают способность к сложению и которые образуют свою грамматику лишь на этом пути. Словообразование в этих языках осуществляется по преимуществу путем сложения глагольных корней с местоименными. К этому классу относятся индоевропейские и многие другие языки. К третьему классу относятся семитские языки, образующие свой грамматический строй не только путем корнесложения, но также путем внутренней модификации корня.

Классификация Боппа, основанная на признаке сложения корней, отсутствия корнесложения или сочетания корнесложения со звуковыми модификациями корней, хотя и свободна от искусственных гипотез Ф. Шлегеля, но в целом также не дает достаточно обоснованного представления об общих закономерностях становления и развития грамматического строя в разных языках, т. е. адекватного освещения вопроса.

Основным средством выражения грамматических отношений всюду являлось, по Боппу, сложение корней. В индоевропейских языках оно достигалось путем сложения глагольных и местоименных корней. Этот прием используется во многих языках мира. В некоторых языках, например, семитских, мы находим специфическое разграничение лексической и грамматической морфологии. Согласные в семитских языках выступают как носители лексических значений, тогда как грамматические отношения выражаются модификациями гласных. Бопп, как мы видим, стремится выявить технические средства, к которым прибегают языки в своем грамматическом строе. Историко-генетический момент сводится у него к разграничению дограмматического и грамматического состояния.

Развитая Боппом теория «сращения корней» или, как чаще ее называют, «теория агглютинации», была несомненно существенным прогрессом сравнительно со взглядами Шлегеля. Но и в бопповской теории сохранились недостатки, долго оставшиеся незамеченными. В составе индоевропейских грамматических форм Бопп, помимо корней и окончаний, находил еще показатели основ. Так, в греческой форме *lei-po-men* явно выделяются три сегмента: корень (в грамматическом значении этого термина), показатель основы и окончание. Могут ли эти сегменты быть сведены к первобытным корням в соответствии с бопповской теорией агглютинации, вопрос не простой.

В итоге намечается историко-морфологический процесс, протекающий в трех исторических стадиях — корневой, агглютинативной и флективной. Движущей силой этого процесса оказывается в представлении ученого таинственное стремление к агглютинации, происхождение и механизмы которого остаются неизвестными. Предполагаемые процессом агглютинации стадии становятся основой всеобщей классификации языков, которую Бопп называет «естественно-исторической» и которая заслуживает серьезного внимания как первая попытка историко-генетического освещения процессов становления грамматического строя. Сращение и степень прогрессирующей интеграции сросшихся корней становится в романтической теории не только основой всеобщей классификации языков, но также и универсальной закономерностью глоттогонического процесса.

На первых порах романтическая типология не была еще отделена достаточно резко от сравнительной грамматики родственных языков. В первом томе «Сравнительной грамматики индоевропейских языков» Ф. Боппа много места занимают страницы, посвященные теории агглютинации. Впоследствии, однако, одна из этих сравнительно-исторических дисциплин резко отмежевывается от другой. Что же их разделяет? Чем отличается типология, по своей природе также являющаяся сравнительной наукой, от сравнительной грамматики родственных языков? Пожалуй, различие между сравнительно-типологическим и сравнительно-историческим методами, как указывалось выше, сводится к тому, что первый из них способствует выявлению общих закономерностей, тогда как второй

позволяет получать исторические сведения. В таком понимании типологическое сравнение диаметрально противоположно историческому и всякое историко-типологическое исследование исключается *ex definitio*.

Благодаря своей ясности и внешней убедительности морфологическая классификация до сих пор удерживает определенные позиции в науке. Многим она и теперь еще представляется классическим примером типологического рассмотрения языков. При этом, однако, исследователи, придерживающиеся такой точки зрения, не дают себе труда проанализировать понятия, лежащие в основе морфологической классификации, и меру ее обоснованности.

Вычленение ряда морфологических классов языков было положительным итогом деятельности романтической типологии. Кроме флективных и изолирующих языков, ей были также известны агглютинативные языки, т. е. языки, в которых грамматика выражается суффиксами и префиксами, сохраняющими полусамостоятельное значение. Среди флективных языков ею различались языки с внешней и внутренней флексией. Существенное значение для дальнейшего развития типологии имело проведенное А. Шлегелем деление флективных языков на аналитические и синтетические. Как было показано, некоторые флективные языки в ходе дальнейшего развития в значительной мере утратили флексию, заменив ее служебными словами.

Последнее наблюдение не могло не вызвать путаницы, поскольку процесс падения флексии существенным образом затрагивал романтические представления о развитии морфологического строя. С точки зрения изложенной выше теории агглютинации этот процесс был необъясним: он мог трактоваться лишь как своего рода движение вспять. А. Шлейхер, пытавшийся примирить новые факты с теорией агглютинации, вынужден был ограничить действие тенденции к образованию флексии лишь начальной эпохой в формировании индоевропейских языков. Что же касается позднейших собственно исторических эпох, то для них он допускал господство противоположной по своей направленности тенденции к стиранию флексии. Открытая А. Шлегелем тенденция к переходу от синтетического строя к аналитическому была, таким образом, возведена Шлейхером в закономерность. Но это в сущности означало отказ от романтической теории агглютинации Боппа. Вместе с теорией агглютинации была поколеблена и связанная с нею идея генетической классификации языков, согласно которой каждый морфологический класс представляет собой определенную ступень глоттогонического процесса.

Романтики первыми внесли идею закономерного развития в теорию языка. Их генетические представления не были, однако, свободны от некоторых предвзятых и наивных идей. Основным показателем прогресса представлялась им степень грамматического развития языка. Против этого трудно было бы что-либо возразить, если бы только грамматические формы не рассматривались при этом односторонне, в отрыве от их функционального содержания. К тому же понятие грамматической формы понималось недостаточно широко. Из всей совокупности морфологических средств языка учитывались только те, которые основывались на сегментации словоформы, ее членимости на отдельные функционально значимые сегменты. Что же касается таких морфологических средств, как служебные слова, словопорядок, чередования фонем или просодем и т. п., то они совершенно выпадали из их поля зрения.

Из историко-морфологических процессов романтикам в сущности был известен процесс агглютинации, т. е. сращения и прогрессирующего сплочения первобытных односложных корней, являющийся скорее плодом романтической фантазии, нежели результатом этимологических реконструкций и историко-морфологических наблюдений. Гипотеза об агглютинативном происхождении грамматических форм доминировала в типологических построениях языковедов-романтиков. Ослепленные этой идеей, они порой не замечали, что некоторые, подводимые ими под понятие флексии явления, плохо согласуются с выдвинутой ими гипотезой.

В обоих случаях, как в случае с бопповской классификацией, так и

в отношении теории Смита, можно отметить указанную ранее связь типологической классификации со сравнительной грамматикой или с историей языка. Что же определяет эту связь? На этот вопрос можно ответить так: пока мы отмечаем какой-либо факт как особенность истории отдельного языка или определенной группы языков, мы имеем дело с фактами истории отдельных языков, т. е. с исторической грамматикой отдельного языка или сравнительной грамматикой группы родственных языков. Но как только мы обобщаем такой факт, открывая в нем какую-либо закономерность, например, связь перехода от синтеза к анализу с развитием абстрактного мышления, со смешением языков, либо обусловленность флексии в индоевропейских языках особой структурой корня, как частный исторический процесс обретает форму общей закономерности и превращается в факт типологии.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. *Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, с. 11.
2. *Arnauld A., Lancelot C.* Grammaire générale et raisonnée. Paris, 1660.
3. *Brekke H. E.* Die Bedeutung der Grammaire générale et raisonnée — bekannt als Grammatik von Port-Royal — für die heutige Sprachwissenschaft. — IF, 1967, Bd. 72, Hf. 1—2, S. 4.
4. *Турго А. Р.* Избранные философские произведения. М., 1937.
5. *Лейбниц Г. В.* Новые опыты о человеческом разуме. М.—Л., 1938, с. 263.
6. *Чернышевский Н. Г.* О классификации людей по языку. — Полн. собр. соч. Т. X. М., 1951, с. 848.
7. *Smith A.* Considerations concerning the first formation of languages and the different genius of original and compound languages. — In: *Smith A.* The theory of the moral sentiments. II. London, 1781.
8. *Кацнельсон С. Д.* Концепция лингвистической типологии Адама Смита. — ИАН СЛЯ, 1982, № 2.
9. *Соссюр Ф. де.* Курс общей лингвистики. М., 1933, с. 77.
10. *Bopp Fr.* Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen. 3-te Ausg. Bd. I. Berlin, 1868, S. 204.
11. *Schlegel Fr.* Über die Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg, 1808, S. 50.
12. *Steinthal H.* Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft. Berlin, 1871, S. 5.

СЛЮСАРЕВА Н. А.

О ТИПАХ ТЕРМИНОВ (на примере грамматики)

Рассматривая вопросы терминологии, по-видимому, надо начинать с главной научной проблемы соотношения объекта и предмета изучения¹. Сложность лингвистической терминологии заключается в том, что в процессе развития науки накладываются друг на друга, смешиваются и не различаются: а) термины, которыми именуются феномены объекта, б) термины, которыми именуются феномены предмета, выделенного из объекта, и в) термины, которые используются в качестве инструмента анализа. Грамматика дает нам достаточное количество таких примеров.

Первым и основным объектом грамматики является акт речи, представленный либо в виде определенного звучания, либо в виде фиксации его в письменной или в любой другой материализованной форме. Протяженность этого объекта может варьироваться от единичного восклицания-междометия до дискурса, выделенного в пределах целого текста. При этом предметом грамматики как раздела языкознания является грамматическая организация дискурса и более мелких единиц в его пределах. Такое утверждение звучит тривиально, а между тем за ним стоит целый комплекс терминологических проблем, которые удобно показать на примере предложения-высказывания. Дефисный термин *предложение-высказывание* использован здесь потому, что указанная единица представляет диалектическое единство языка и речи как объекта, существующего не только вне и независимо от нашего сознания, но и в его пределах. Предложение-высказывание — это объект, отдельные стороны, аспекты которого становятся предметом анализа². С точки зрения речи этот предмет предстает в качестве высказывания, а с точки зрения языка выступает как предложение³. Оба эти слова в их раздельном бытии являются терминами, которые именуют предмет изучения, понимаемый так в плане науковедения. Именно этот предмет был выделен в качестве такового на заре появления науки о языке и продолжает быть в центре интересов и ныне.

Небезынтересно отметить, что термины, относящиеся к объекту исследования, как правило, с трудом поддаются определению, хотя наличие обозначаемых ими единиц осознается и говорящими, и изучающими свойства данного объекта. Это положение особенно важно, когда речь идет о языке, уникальность которого заключена в его функционально-сущностных свойствах: он является важнейшим средством человеческого общения, формирования и передачи мысли, а также выражения эмоций и при всем этом средством анализа самого себя. Тесная связь языка с существованием человека предопределила то, что его единицы, слово и предложение, являются неотъемлемыми частями процесса общения и потому выступают в первую очередь как представители обиходных, а не научных понятий. Обиходные, т. е. конкретные, понятия нуждаются не в дефиниции,

¹ В отличие от объектов, существующих независимо от человека, предмет науки формируется познающим лицом с позиций теоретических знаний эпохи.

² Термин аспект (чего-либо) представляется удобным, потому что данный феномен выделяется исследователем и рассматривается с определенной точки зрения.

³ Эта идея высказывалась, например, В. А. Звегинцевым, но его термины — предложение для единицы речи и квази-предложение для единицы языка — представляются недостаточно удачными [ср. 2].

а в демонстрации, определение же их оказывается крайне затруднительным.

Дефисный термин предложение-высказывание был выбран для обозначения феномена, относящегося к объекту, т. к. оба термина первоначально употреблялись в виде обиходных слов для его именования. Затем каждое из этих слов стали использовать для названия предмета научного знания, а в последнее время употреблять по отношению к лингвистическим объектам языка и речи.

Говоря о предложении как предмете грамматики и о терминологии, именующей его единицы, следует иметь в виду, что оно многоаспектно и допускает минимум четыре возможности описания. Прежде всего при соотношении с суждением как с единицей мышления выделяется аспект рассмотрения предложения, который раньше всего привлек внимание, что и отразилось в терминологии: *субъектом* называют один из главных членов и предложения, и суждения (в русском языке есть особый термин для грамматического феномена — *подлежащее*). Хронологически почти одновременно состав предложения стали рассматривать в структурном плане, и именно это привело к созданию собственно грамматических терминов, в частности, к противопоставлению логического субъекта и грамматического подлежащего, к выяснению особых (морфологических или позиционных) свойств последнего. Открытие несовпадения структуры предложения с психологическими особенностями развертывания мысли привело к новому разведению терминов. Грамматическое подлежащее стали противопоставлять психологическому. Это последнее довольно скоро уступило место термину *тема* (вместе с его противочленом — *ремой*), т. к. актуальный аспект синтаксиса выделился в качестве особого предмета науки. Наконец, интерес к семантике синтаксиса позволил выявить соотношение единиц предложения с их аналогами (референтами) в описываемой ситуации, появились термины *агенса*, *пациенса* и т. п., которые опять-таки стали обозначать языковые феномены, в сути своей отличные от названных выше. Сложность выделения этих явлений заключена в том, что, например, в простом предложении все аспекты могут быть представлены в одном и том же его члене и их отделение происходит благодаря использованию разной терминологии, в которой закрепились познавательные свойства. Так, в предложении *Старик сидит в кресле* первое слово является и подлежащим (структурный аспект), и субъектом (логический аспект), и темой (актуальный аспект), и агенсом (аналоговый аспект)⁴.

Естественно, встает вопрос о возможности применять эти и подобные им термины к языкам разных типов и разных семей, иными словами, о единой грамматической терминологии. В свое время А. Мейе задумался над необходимостью и возможностью выработать единую терминологию для построения всеобщей морфологии. Сравнив такие термины, как *имперфект*, *будущее время* и др., он показал, что в разных языках они называют неодинаковые явления из-за специфики противопоставлений в каждой отдельной языковой системе, и кроме того, хотя логические категории можно определить, они не совпадают с языковыми и, в частности, с грамматическими категориями [3]. По мнению Мейе, универсальное определение, например, будущего времени, относится лишь к мыслительной категории, которая не может считаться языковой, а следовательно, лучше не именовать одним термином разные грамматические формы конкретных языков. На основе своих рассуждений французский ученый пришел к выводу, что категории всеобщей морфологии не должны включать ничего такого, что характерно для их использования в разных языках. «Всеобщая морфология, — заключает он, — нуждается в собственной терминологии, которая придала бы ей наиболее абстрактный характер» [3, с. 35].

Соображения А. Мейе не утратили своей важности и сейчас, однако возникает вопрос, целесообразно и возможно ли при определении язы-

⁴ С иной позиции к многоаспектности лингвистической терминологии подошел И. А. Кузнецов [4].

ковых феноменов отрешиться от экстралингвистических данных. Своеобразие языка, которое находит выражение в тесном переплетении сущностных, функциональных и атрибутивных свойств, не позволяет этого сделать. Приходится, однако, констатировать неоднородность лингвистической терминологии в целом и терминологии, относящейся к области грамматики, в частности.

При самом поверхностном взгляде четко выделяются три группы терминов: 1) у н и в е р с а л ь н ы е, которые в принципе могут быть применимы к описанию явлений самых различных языков, 2) у н и к а л ь н ы е, именующие явления, специфические для какого-либо языка, и 3) а в т о р с к и е, ориентированные на использование лишь в пределах одной теории (их можно назвать концепциально-авторскими).

Рассмотрим некоторые примеры иного плана по сравнению с теми, которые привлекли внимание А. Мейе. *Подлежащее* в словаре лингвистических терминов Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой определяется как «главный член двусоставного предложения, грамматически независимый от других членов предложения, обозначающий предмет мысли, признак которого определен сказуемым». Тут же добавлено, что «морфологизованной формой выражения подлежащего является существительное в именительном падеже» [5, с. 290], и, кроме того, приведены примеры на возможность выражения подлежащего другими средствами: местоимениями, количественными числительными, любой субстантивированной частью речи, инфинитивом, словосочетаниями и т. п. Указывается также, что грамматическое подлежащее в собственном смысле отличается от логического и психологического: первое определено как «то, о чем говорится в предложении» [5, с. 168], а второе — как «представление, являющееся первым по порядку возникновения в сознании, независимо от грамматического его выражения» [5, с. 350].

Во французском словаре Ж. Мунена, предназначенном примерно для того же круга читателей, о подлежащем говорится, что это «синтаксическая функция отрезка речевой цепи (*du segment*), которая актуализирует сказуемое (*le prédicat*) и вместе с ним составляет минимальное высказывание» [6, с. 311]. В аналогичном английском словаре Р. Хартмана и Ф. Сторка читаем, что подлежащее — это «именное словосочетание (*a nominal phrase*), функционирующее в качестве одного из двух главных составляющих предложения, вторым из которых является сказуемое» [7, с. 224]. Указывается также, что в английском языке подлежащее может быть определено по его месту и что иногда различаются грамматическое, логическое и психологическое подлежащие, первое из которых относится к поверхностной структуре, второе — не выражено, но подразумевается, т. е. наличествует в глубинной структуре, а третье является темой (*topic*) высказывания.

Даваемые словарями дефиниции свидетельствуют, что за ними стоят сходные понятия и представления, хотя выбранные для определения слова указывают на некоторые различия концепций. Нам могут возразить, что в качестве примера были взяты базовые термины синтаксиса, тогда как у Мейе речь шла о морфологии, где каждая категория зиждется на противопоставлениях, а именно эти последние не совпадают в разных языках. Однако при кажущемся несовпадении можно и при определении морфологических категорий и форм найти то общее, что позволяет создать платформу для сравнения. Какую бы из категорий мы ни взяли — род, число, падеж и пр., — везде мы выделим общее при наличии специфического, особенного. Это естественно, т. к. для всех языков предполагается наличие выраженных языковыми средствами содержательных категорий, связанных с формами познания и отражения объективного мира. О таких категориях писал В. Н. Ярцева, избирая их в качестве опоры для сравнения языков и установления различий на фоне сходств [см. 8, с. 32]. Более того, современная наука, как неоднократно отмечалось рядом исследователей, подошла к анализу укрупненных категорий, типа «темпоральность», «аспектуальность» и т. п., что позволило еще шире и глубже раскрыть общечеловеческие понятийные формы отражения действитель-

ности, находящие себе реализацию во всем репертуаре языковых средств. То, что для выражения одного и того же содержания используются разные средства, позволяет при анализе разносистемных языков проводить межуровневые сопоставления. В приведенных выше примерах определения подлежащего русский языковой материал заставил подчеркнуть морфологический его признак, тогда как английский материал подсказал необходимость обратить внимание на позиционный признак.

Таким образом, анализ объекта терминов, степень его изученности, характер концепций, положенных в основу определений, — все это сказывается на статусе и содержании самого термина.

Разобранные примеры позволяют утверждать, что в грамматической терминологии выделилась значительная группа терминов, которые можно назвать универсальными, ибо за ними стоят самые общие категориальные сущности, которые обнаруживаются в грамматическом строе любого языка. В первом приближении к терминам такого рода можно отнести отстоявшиеся веками слова из области синтаксиса — *предложение, подлежащее, сказуемое, согласование* и т. п. и морфологии — *род, число, падеж, имя (существительное, прилагательное), глагол, модальность* и т. п. К этим терминам за последние десятилетия присоединились термины *тема и рема* (в английском языке *topic — comment*), *высказывание* (англ. *utterance*, франц. *énoncé*) и вновь созданные термины — *актант, денотат* (заимствован из логики), а также *парадигма, тезаурус, дейксис*. Кроме того, все время пополняется особая группа терминов, обозначающая наиболее общие категории и оформленная особым суффиксом (*темпоральность, аспектуальность, валентность* и др.).

Часть этой универсальной терминологии имеет интернациональную формальную основу, т. е. сходна в плане выражения, часть имеет «национальный» характер по форме (типа *подлежащее* — англ. *subject*, франц. *sujet*, нем. *Subjekt*), но, благодаря универсальности предмета терминования, также может рассматриваться в пределах этой общей группы.

Последний момент мы особо подчеркиваем, ибо считаем, что за основу данной классификации терминов целесообразно принимать содержательную их сторону, т. е. денотативный аспект значения, на что обращал внимание еще А. А. Реформатский. Определяя эту группу терминов, мы отвлекаемся временно от специфики концепций, которые выявляются в дефинициях и обуславливают сигнификативный аспект общих терминов грамматики. Так, например, термин *актант* неоднозначно определяется, но стоящее за ним понятие именного слова, особыми связями присоединяющегося к глаголу, остается в принципе неизменным. Достаточно посмотреть определения в некоторых современных словарях: «Имя называет того, кто производит действие, обозначенное глаголом (переходным) или глагольным словосочетанием, которые образованы из (переходного) глагола и дополнения» [9, с. 8]; «Свободные места около глагола, которые могут или должны быть заняты твердо установленными по качеству и количеству дополняющими определителями (*Ergänzungsbestimmung*). Число и качество актантов определяется валентностью глагола» [10, с. 25—26]; Эрбен говорит об «обязательном дополнении к глаголу», Бринкман — о «соучастнике» (*Mitspieler*) глагола, а Левандовский — о требуемом глаголом члене предложения, который необходим вследствие распределения мест около глагола [11, с. 24].

К сожалению, приходится отметить, что бывают случаи, когда формально один и тот же термин, на первый взгляд, относящийся к группе, в которую включены обозначения универсальных грамматических феноменов, используется неоднозначно в научных традициях разных стран (или регионов). Приведем два таких случая. Термин *гипотаксис* в русской и немецкой грамматиках обозначает подчинение в пределах сложного предложения [12, с. 100; 15, с. 71; 10, с. 108]; по аналогии *паратаксис* соответствует сочинению предложений. Однако во французской традиции термин *гипотаксис* определяется как «название синтаксического процесса, состоящего в том, чтобы выявить при помощи сочинительного или подчинительного союза отношение зависимости между двумя предложениями,

следующими друг за другом в сложном синтаксическом целом... [гипотаксис] противопоставляется простому соположению предложений,... [т. е.] процессу, именуемому паратаксисом» [9, с. 247]. Сходное определение дает и английский словарь: «Присоединение друг к другу предложений при помощи союзов... противопоставляется паратаксису» [7, с. 106]. Заметим, что при определении последнего дан пример: *He dictated the letter; she wrote it*, который соотносен с примером на гипотаксис: *He dictated the letter and she wrote it* [7, с. 163], что не оставляет сомнения в том, что к гипотаксису отнесено и сочинение при помощи союзов⁵. Следовательно, термины *гипотаксис* и *паратаксис*, несмотря на их «международную внешность» (использован греческий состав морфем), не могут быть отнесены к универсальной группе в противоположность смежным с ними терминам *сочинение* и *подчинение* (англ., франц. *coordination — subordination*, нем. *Koordination, Nebenordnung, Beiordnung — Subordination, Unterordnung*).

В качестве другого примера можно привести термины, обозначающие далее неделимую в плане содержания, т. е. наименьшую значимую часть слова. В русской и в англо-американской традиции за этим референтом закрепился созданный И. А. Бодуэном де Куртенэ термин *морфема*, который соотносим и с корнем, и с аффиксами, т. е. является гиперонимом по отношению к ним. Это, по выражению А. Мейе, «миленькое словечко» (*un joli mot*) прижилось и во Франции, но со суженным смыслом, поскольку обозначает лишь ту из наименьших частей слова, которая является носителем грамматического значения, т. е. морфемами являются прежде всего аффиксы, а также прочие грамматические элементы — артикли, предлоги, союзы. Отсутствие обобщающего термина побудило А. Мартине ввести изобретенный А. Фреем термин *монема* в качестве гиперонима по отношению к терминам *семантема* (носитель лексического значения) и *морфема* [8, с. 324]. В современных итальянских трудах в виде эквивалента к *монеме* выступает термин *ипосема* (*iposema*). Таким образом, термины *морфема* (русск.), *morpheme* (англо-амер.), *Morphem* (нем.), *morpème* (франц.), *iposema* (итал.) представляют собой пример межъязыковой синонимии, т. е. имеют одно и то же значение и могут быть отнесены к универсальной группе терминов. Но этого нельзя сказать про термин *морфема*, взятый безотносительно к научной традиции его использования, т. к. универсальной (интернациональной) является лишь его звуковая оболочка, т. е. внешняя сторона.

Подобные термины со сходным звучанием и разным содержанием напоминают «ложных друзей» переводчика и могут составить особую группу, к которой можно отнести и русский полутермин *фраза*, весьма нечетко определенный как «наименьшая самостоятельная единица речи, актуализованная единица общения» [12, с. 502]. В одном из значений *фраза* приравнивается к *предложению*, но в обиходном употреблении она часто является синонимом *реплики*, поскольку связывается с единицей интонации. Соответствующие по звуковой форме термины в английской и французской грамматиках значат нечто иное. В первой из них термин *phrase* эквивалентен русскому термину *словосочетание* [7, с. 175], а во второй русскому термину *предложение*, причем наиболее распространено использование термина *phrase* для обозначения сложного предложения [см. 9, с. 377]. Полутермин *фраза* в русском языке, таким образом, тоже может быть отнесен к «ложным друзьям» грамматиста и терминоведа.

Некоторым свойством группы универсальных терминов является наличие межъязыковых синонимов, созданных из греческих или латинских компонентов (обратное неверно, например, *юссив*, *сублатив* — не универсальны): *субстантивизация*, *адъективизация*, *прономинализация* и т. п. (переходы слов в другие разряды — существительных, прилагательных, местоимений и т. п.), *префикс* (приставка), *презенс* (настоящее время) и т. п. Подобные синонимы, национальные по внешнему виду,

⁵ Правда, словарь М. Пей определяет гипотаксис только как подчинение в сложном предложении [13, с. 117].

подчеркивают общезыковой характер стоящих за ними явлений. Кроме этого, интернациональные варианты удобны при образовании различных производных: *субстантивный*, *субстантивировать* и т. п.

К числу универсальных по своему статусу относятся и общенаучные термины, используемые в грамматике (категория, структура, система, отношение, уровень) и шире — в лингвистике.

Само собой разумеется, что наиболее важными в группе универсальных терминов являются названия разделов языковедческой науки: *грамматика*, *синтаксис*, *морфология*, а также направлений: *глоссематика*, *младограмматизм* и т. п.

Вторую группу терминов можно назвать уникальными. В эту группу включают термины, обозначающие грамматические явления, которые обнаруживаются в одном или в нескольких или даже в группе языков. Таковы, например, *изафет* — термин, обозначающий тюркский, арабский и иранский феномен; *прогрессив* — недавно вошедший в научный обиход однословный термин, который вытесняет словосочетание *длительный вид* (или *длительное время*, *Continuous*) для обозначения явления английской грамматики; *транслатив*, *сублатив* и т. п. — термины, называющие особые падежные формы в финно-угорских языках⁶.

К примерам этой группы следует отнести и ряд терминов, которые на первый взгляд могут показаться универсальными. Так, хорошо известный термин *управление* как вид синтаксической связи применим лишь к языкам с развитой системой флексий. Недаром иллюстрация значения этого термина в английских и французских словарях, как правило, дается на латинских примерах [см. 6, с. 282; 9, с. 416; 13, с. 107]. Правда, отмечается также, что *управление* (англ. *government*; франц. *rection*) имеет место и при особом введении дополнения к глаголу: либо без предлога, либо при посредстве предлога. Эта уступка веяниям старой классической грамматики в современных словарях, не говоря уже о грамматической теории и практике, вызывает самые серьезные возражения, поскольку в аналитических языках ведущим синтаксическим типом связи является примыкание и позиционное определение частей предложения⁷.

К этой же группе целесообразно отнести термины, сложившиеся в научных традициях какой-либо страны (или региона) и за их пределами не распространенные. Например, термин *clause* обозначает в традиционной английской грамматике предложение, когда оно противопоставляется словосочетанию (*phrase*) по наличию подлежащего и сказуемого и когда оно выделяется в составе сложного предложения (*sentence*). В последнем случае этот термин именует и главное (*main clause*), и придаточное (*subordinate clause*) предложения и части сочиненного предложения (*coordinate clause*). С распространением в Великобритании идей системной грамматики М. Халлидея термин *clause* стал обозначать в ранговой шкале вторую единицу: *sentence*, *clause*, *group/phrase*, *word*, *morpheme* [7, с. 37; 14, с. 7], т. е. он закрепился за обозначением части сложного предложения⁸.

Разбираемый английский термин в известной мере близок к французскому термину традиционной грамматики *proposition*. Однако последний, обозначая часть сложного предложения, как и *clause*, может также именовать любое сочетание слов с внутренне предикативным отношением, в основе которого лежит суждение. В этом последнем значении термин *пропозиция* все чаще стал использоваться в наши дни [15].

⁶ Заметим, что общее название данной грамматической категории *падеж* входит в универсальную группу терминов и, по-видимому, в нее же следует включить и наименования наиболее распространенных падежных форм, т. е. *именительный* (*номинатив*), *винительный* (*аккузатив*), *дательный* (*датив*), *родительный* (*генитив*) и, возможно, некоторые другие термины.

⁷ Обязательность же использования после глагола того или иного предлога находится в компетенции лексики, а не грамматики (ср. англ. *to depend on*, франц. *obéir à*), поскольку, во-первых, наличие его ни в коей мере не меняет форму имени и обуславливается традицией, а, во-вторых, в некоторых случаях приводит к возникновению чисто лексических комплексов типа англ. *to look after*.

⁸ Заметим, что в американском лингвистическом словаре М. Пеп термин *clause* не объясняется, по-видимому, как относящийся к компетенции школьной грамматики.

Удивителен пример термина русской грамматики *парцелляция*, который, хотя и имеет «инострannую внешность» и, как указывают Д. Э. Розенталь и М. А. Теленкова, восходит к французскому *parcelle* (от лат. *particula*), тем не менее ни в одной западной научной традиции не встречается, а явление парцелляции, т. е. отделение части предложения в самостоятельную единицу линейного развертывания речи (типа «У Елены беда тут стряслась. Б о л ь ш а я» [5, с. 273]), не имеет однословного термина и объясняется при помощи развернутого определения (например, *dislocated constructions*).

Универсальные и уникальные термины составляют основу грамматической терминологии в применении к каждому конкретному языку. Подавляющее большинство их вошло в практику преподавания и в тот элементарный курс, который называется «школьной грамматикой».

Углубление научного знания способствует известному обогащению и уточнению терминов, прежде всего универсальной группы. Однако в обе эти группы попадают термины «отстоявшиеся», вошедшие в широкое пользование, хотя порой и имеющие специфику в пределах разных концепций. Именно эти термины должны быть включены в словари специальной терминологии.

Зарождение терминов и их развитие совершается в группе, названной нами концепциальной, или авторской.

Для языкознания роль этой группы терминов нельзя преуменьшать из-за специфики языка, который выступает инструментом анализа самого себя. Языковедческие термины, «ощупывающие», «осматривающие» и «оценивающие» языковые феномены, создаются при подходе к исследованию, в его процессе и служат для закрепления познанного [16].

Особая роль лингвистических терминов заключается в том, что нередко именно они становятся «визитной карточкой» той или другой концепции. Например, термин *нексус* для наименования предикативных отношений в пределах словосочетаний любого типа (необязательно подлежащно-сказуемых) является «собственностью» О. Есперсена, а термин *тагмема*, хотя и был введен Л. Блумфилдом, стал неотъемлемой собственностью тагмематики К. Пайка, войдя в самоназвание этой школы, что отмечено и в словарях [7, 9, 11, 13]. Некоторые термины носят настолько внутриконцепциальный характер, что общие словари лингвистических терминов их, как правило, не отмечают, например, термин *фемема* включен лишь в словарь американской терминологии Э. Хэмпса [17, с. 230], поскольку он входит в научный арсенал блумфилдовской школы.

Терминотворческие «взрывы» отмечают, как правило, периоды творческих исканий отдельных ученых и целых научных школ. И. А. Бодуэн де Куртене писал о терминологической болезни, которая охватила молодых представителей Казанской школы [18, с. 171], Р. Энглер показывает, как Ф. де Соссюр подбирал термины, создавая свою знаковую теорию [19]. Л. Ельмслев заметил, что «терминология — это дело вкуса» [20, с. 57]. Создав глоссематику, он был вынужден приложить к своей книге особый словарь [21], включающий свыше ста терминов, из которых в научную жизнь вошло немногим более пяти, что подчеркивает Ж. Мунен [6, с. XVII].

Какую бы из современных грамматических теорий мы ни взяли, мы везде обнаружим своеобразную авторскую терминологию⁹. Нередко ее новизна заключается в переосмыслении имеющихся терминов, что для дальнейшего продвижения науки вперед имеет, пожалуй, еще более отрицательные последствия, чем неумное терминотворчество. Например, термин Л. Ельмслева *глоссема* трактуется автором как минимальная форма, устанавливаемая теорией в качестве основы объяснения, как неразложимый инвариант [21, с. 386]. Однако тот же термин был использован и

⁹ Не избежала соблазна терминотворчества и автор данной статьи, введя термин *сергема* для однословного именования служебных элементов языка (типа предлогов, союзов, артиклей), являющихся самостоятельными словами, но функционирующих как морфемы, а также термин *сервологический уровень* системы языка, которым было обозначено их место в языковой иерархии [22].

М. Блумфилдом, который указал, что все, имеющее значение, является глоссемой, и что это — мельчайшая значимая единица языковой сигнализации [17, с. 56]. Более того, глоссемой стали называть и основную структурную единицу плана содержания, т. е. кратчайшую единицу языкового смысла [12, с. 108]¹⁰, и даже слово как абстрактную единицу в системе языка [23, с. 10].

Данные наблюдения позволяют уточнить высказанное в свое время А. А. Реформатским положение о том, что, поскольку термины парадигматичны в пределах терминологического поля, они «могут жить вне контекста» и, следовательно, «однозначность термины получают не через условия контекста, а через принадлежность к данной терминологии» [24, с. 10]. Для авторских же терминов таким контекстом является концепция, рамки которой суживают пределы терминологического поля. В начале статьи было показано, что определенная подоснова концепции проявляется и в употреблении универсальных терминов.

Как уже было отмечено, возражать против терминотворчества нельзя, т. к. открытие новых явлений неизбежно требует их именования. Еще К. Маркс отмечал, что «в науке каждая новая точка зрения влечет за собой революцию в ее технических терминах» [25]. После подобного революционного терминологического поворота наступает пора оценки меры новизны и необходимости того, что было открыто и терминировано. Новые термины, проверенные практикой применения к познанному предмету, входят в широкое пользование несмотря на их относительную новизну, как, например, термины *дистрибуция*, *аллоединица*, *денотат* и т. п. [26, с. 330—339]. Другие термины, послужив в качестве инструмента открытия, как всякие инструменты, были отложены в сторону за ненужностью, например, почти вся терминология Л. Ельмслева¹¹.

Следует подчеркнуть, что между универсальными и уникальными терминами, с одной стороны, и концепциально-авторскими, с другой, нельзя провести четкой границы, т. к. последняя группа служит постоянным источником пополнения первых двух, особенно — первой. Это и понятно: раскрывая явления языка и его свойства, исследователь использует термины для обозначения открываемого и не может обойтись без этого.

Вследствие того, что предмет науки, обусловленный свойствами объекта познания, формируется в процессе исследования, а добытое знание закрепляется в терминологии, необходимо очень бережно обходиться с нею.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методологические основы научного знания. М., 1972.
2. Звегинцев В. А. Предложение в его отношении к языку и речи. М., 1976.
3. Meillet A. Linguistique historique et linguistique générale. Т. 2. Paris, 1938.

¹⁰ Термины-омонимы, да еще относящиеся к одной и той же области, создают благоприятные условия для взаимного непонимания или недопонимания, например, *граммемой* именуют и минимальную единицу грамматического уровня (в теории Б. Потье), выступающую в виде синонима к термину *морфема* (по Вандриесу) или *монема* (по Мартине), и минимальную единицу грамматического значения [12, с. 116]. Думается, что омонимы допустимы лишь в тех случаях, когда они относятся к различным областям, например, старый термин *тема*, равный *основе* (отсюда: тематический гласный), и *тема*, равный английскому *topic* как противочлен *ремы*, вряд ли могут встретиться в идентичном контексте.

¹¹ Если бурное терминотворчество свидетельствует о научном поиске и стремлении «открыть» новые свойства объекта, используя термин в качестве инструмента открытия, то еще более осмотрительно следует относиться и к заимствованию терминов. За последние десятилетия наблюдается своеобразная экспансия английской терминологии, против которой уже давно ополчились во Франции [см. 5]. Для хорошо знающих английский язык термин *шифтер* (*shifter*) имеет внутреннюю форму (англ. *to shift* «перемещать, передвигать»), но для русских грамматистов он лишен ее и вместе с многочисленными *коннекторами* и *десигнаторами* создает большие трудности в понимании авторских идей [см. 27]; более внимателен к родному языку оказался В. Н. Топоров, передавший термин *шифтер* как *подвижный определитель*, хотя это, возможно, не было лучшим эквивалентом [см. 28]. Об этом же писала Н. А. Катагощина [см. 29].

4. Кузнецов И. А. О лингвистической терминологии и лингвистических формулировках.— В кн.: Вопросы английского и немецкого языкознания: Материалы научной конференции вузов Урала. Уфа, 1962.
5. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. Пособие для учителей. 2-е изд. М., 1976.
6. Mounin G. Dictionnaire de la linguistique. Paris, 1974.
7. Hartmann R. R. K., Stork F. C. Dictionary of language and linguistics. London, 1973.
8. Об издании энциклопедического труда «Языки мира»: Доклад В. Н. Ярцевой.— Вестник АН СССР, 1979, № 2.
9. Dubois J., Giacomo M., Guespin L. et al. Dictionnaire de linguistique. Paris, 1973.
10. Kleines Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Termini. Hrsg. von Conrad R. Leipzig, 1975.
11. Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 1979.
12. Азманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
13. Pei M. Glossary of linguistic terminology. New York, 1966.
14. Muir J. A modern approach to English grammar. An introduction to systemic grammar. London, 1972.
15. Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М., 1981.
16. Слюсарева Н. А. Терминология лингвистики и метаязыковая функция языка.— ВЯ, 1979, № 4.
17. Хэмп Э. Словарь американской лингвистической терминологии. М., 1964.
18. Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. I. М., 1963.
19. Engler R. Lexique de la terminologie saussurienne. Utrecht — Anvers, 1968.
20. Hjelmslev L. Principes de grammaire générale. Copenhagen, 1928.
21. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960.
22. Слюсарева Н. А. Сервологический уровень системы языка.— Уч. зап. 1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. языков им. М. Горького, 1968, т. 39.
23. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. М., 1975.
24. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. М., 1959.
25. Маркс К. Капитал.— Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 31.
26. Кобузов В. И. Введение в языкознание. М., 1979.
27. Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
28. Топоров В. Н.— Структурно-типологические исследования. М., 1962.— Рец. на кн.: Jakobson R. Shifters, verbal categories and the Russian verb. Harvard, 1957.
29. Катагощина Н. А. О языке лингвистических диссертаций: Письмо в редакцию.— ВЯ, 1981, № 6.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ДОМАШНЕВ А. И., ПОМАЗАН Н. Г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ГЕРМАНИСТИКИ

В советском и зарубежном языкознании весьма актуальными стали вопросы исследования единой системы языка, используемого несколькими нациями одновременно в функции национального и государственного. Они получили фундаментальное освещение в трудах Г. В. Степанова и были предметом работ М. А. Бородиной, А. И. Домашнева, Е. А. Реферовской, А. Д. Швейцера и др.

Говоря о разработке данной проблематики применительно к современному немецкому языку, обслуживающему немецкую нацию ГДР, немецкую нацию ФРГ, австрийскую и большую часть (немецкоязычные кантоны) швейцарской нации, следует отметить, что в нашей стране и за рубежом успешно исследуются национально детерминированный характер основных форм существования языка, своеобразие их социально-функционального статуса и принципы взаимодействия в условиях конкретной речевой общности [1]. Оценивая общее состояние швейцарской германистики в исследовании структуры речи германо-швейцарцев, необходимо подчеркнуть, что она переживает в этом отношении период важных теоретических обобщений и конструктивных усилий, направленных на адекватное описание современного языкового состояния немецкоязычной Швейцарии. Характерно, что швейцарские германисты, подключив в сферу своего рассмотрения фундаментальные достижения современной науки о языке (в том числе и достижения советской школы), предпринимают серьезные шаги в направлении комплексного изучения немецкоязычного ареала страны, предполагающего учет имеющей здесь место диглоссии (диалектно-литературного двуязычия) в собственно лингвистическом, социолингвистическом, психологическом и педагогическом аспектах.

Центральная проблема, на изучение которой обращено внимание швейцарских исследователей, связана с динамикой лингвистической структуры иерархически организованных манифестаций немецкого языка в пределах национальных (швейцарских) границ: немецкого литературного языка с присущей ему швейцарской окрашенностью (Schweizerhochdeutsch) и швейцарско-немецкого (алеманнского) диалекта (Schwyzerdütsch). Нижняя ступень языковой иерархии, представленная, как известно, совокупностью двадцати традиционно выделяемых однородных (алеманнских) швейцарско-немецких поддиалектов с соответствующей кантональной закреплённостью (Baseldeutsch, Berndeutsch, Zürichdeutsch и др.), находится в настоящее время в процессе сложной и многогранной перестройки своей системы. Говоря о горизонтальной (территориальной) дифференциации структуры речи германо-швейцарцев, предполагающей отношения между одноранговыми швейцарско-немецкими поддиалектами, следует заметить, что сегодня вполне определенно намечилось известное перераспределение границ регионов, в рамках которых использовались традиционно выделяемые швейцарские поддиалекты. Тезис «каждому кантону свой диалект», отражающий четкую локальную (кантональную) соотносённость каждой из диалектных микросистем и имеющий многовековую традицию, не соответствует реальной языковой действительности. Поддиалекты ведущих в социально-экономическом, политическом и

культурном отношении кантонов (Базель, Берн и, прежде всего, Цюрих) как бы функционально подчиняют более широкие регионы, выходящие далеко за пределы кантональных границ, что обуславливает, в свою очередь, диффузность диалектного ландшафта. Цюрихско-немецкий диалект, например, занимающий ведущее положение по числу говорящих на нем, функционирует в настоящее время помимо кантона Цюрих во всей северо-восточной части страны, а на западе граница его доходит до Ольтена и Золотурна [2, с. 54].

Подобная перестройка региональных позиций разновидностей швейцарско-немецкого диалекта не может, естественно, не сказаться на структурной характеристике последних. В наше время все более отчетливо проявляется тенденция к нивелированию диалектных микросистем (поддиалектов) в направлении сближения с немецким литературным языком. Процессу выравнивания строевых признаков диалекта в значительной мере способствует собственно лингвистическое обстоятельство: обе основные формы существования немецкого языка Швейцарии (диалекта и литературного языка) при всем своим качественным своеобразием являются разновидностями одного и того же языка, находящимися в условиях взаимодействия и взаимодополнения, подчиняются общим закономерностям в своем функционировании и развитии. В результате взаимодействия и взаимопроникновения диалекта и литературного языка происходит формирование так называемых диалектов выравнивания (*Ausgleichsmundarten*) [2, с. 60], т. е. собственно надтерриториальных образований. Возникающие «выравненные» диалекты (*temperierte Mundarten*) [3] обнаруживают более или менее последовательное устранение примарных (значительных) отклонений от норм немецкого литературного языка, осуществляющееся с разной степенью интенсивности во всех сферах диалектной системы. В области фонетики, например, проявляются преобразования отдельных фонем: *höch* → *hooch*, *Chalhoof* → *Keelhoof*, *scheen* → *schöön*; в области морфологии: *ich will fröoge* → *ich wiirde fröoge*, *zwee Mane*, *zwoo Fraue*, *zwai Chind* → *zwei Mane*, *Fraue*, *Chind*; *de guet Maa* → *de gueti Maa*; *gföörli* → *gföörlich*. О пронизывании швейцарско-немецкого диалекта элементами немецкого литературного языка свидетельствует преимущественное употребление в нем как отдельных лексем, так и устойчивых словосочетаний последнего, ср.: *Putter*, *irgendwoo*, *imer*, *stolpere* (вместо диалектных: *Anke*, *nöimet*, *äisig*, *stüürchle*); *das lyt mer färn*; *öppis in Betracht zie*; *der Hoffnig Uusdruck gee* и др. [4—8].

Характеризуя масштабность процесса выравнивания швейцарско-немецких поддиалектов, следует подчеркнуть, что в пределах немецкоязычных кантонов Швейцарии в наши дни практически не существует так называемых «чистых», «классических» диалектов. Проблема сущностной характеристики феномена «диалект» применительно к германо-швейцарской общности приобретает сейчас особую остроту, о чем свидетельствует широко развернувшаяся по этому поводу дискуссия. Обращает на себя внимание позиция ревнителей чистоты швейцарско-немецких диалектов, которые в известной мере драматизируют естественность процесса структурных изменений и перестройки диалектной системы, квалифицируя его как ярко выраженную «кризисную» ситуацию («*ausgeprägte Umbruchsituation*») [9—12]. Примечательно в этой связи, что лингвистические характеристики швейцарско-немецких поддиалектов, зафиксированные языковедами в целой серии специальных грамматик, лексикографических справочников и словарей, являющихся солидным вкладом в документальный историко-культурный фонд швейцарской нации [13—18], в будущем необходимо дополнить специальными выпусками приложений к ним с учетом оценок реальной речевой коммуникации германо-швейцарцев. Так, например, задаче описания диалекта более адекватным образом подчинены сегодня серьезные усилия редакционной коллегии (Б. Беш, Р. Рис, Р. Трюб и др.) по подготовке к выходу в свет третьего издания цюрихско-немецкого словаря [19]. Богатый фактический материал содержит вышедшее недавно приложение к «Лингвистическому атласу немецкоязычной Швейцарии» [20], отражающее диалектный ландшафт наших дней на пи-

роком документальном материале, в том числе и в виде фонограмм (шестнадцать долгоиграющих пластинок) [21]. Эти ценные материалы, принадлежащие перу более ста пятидесяти авторов и демонстрирующие характер изменчивости швейцарско-немецких поддиалектов за последние шестьдесят лет, бесспорно, ждут глубокого теоретического осмысления со стороны лингвистов.

Другой круг проблем, привлекающий внимание языковедов Швейцарии, связан с интенсификацией исследования взаимодействия лингвистических особенностей диалекта с социальными факторами, т. е. в рамках социальной диалектологии, получившей свое начало в трудах выдающихся швейцарских германистов первой половины XX века: О. фон Грайерца и Г. Баумгартнера [22—24]. Анализ социально обусловленной вариативности языка (диалекта) показывает, что основное содержание процесса перестройки диалектной системы данного национального ареала составляют социально-лингвистические изменения в направлении как конвергенции, так и дивергенции.

Противопоставление «язык — диалект» не охватывает всех типов реально функционирующих форм языка, обслуживающего германо-швейцарцев. На стратификационной оси измерения языковых явлений между «языком» и «диалектом» начинают приобретать сегодня достаточно ощутимый рельеф также и другие промежуточные («переходные») типы речи, которые в большей или меньшей степени тяготеют либо к диалекту, либо к литературному языку и находятся в корреляции с определенными социальными (ситуативными) характеристиками. При этом обращает на себя внимание тот факт, что среди лингвистов нет единства мнений по вопросам вертикальной (социальной) дифференциации конститутивных единиц в направлении от диалекта к литературному языку. Вопрос сущностной характеристики обиходно-разговорного языка (*Umgangssprache*) приобретает сейчас особую остроту. Мнения ученых относительно лингвистического феномена «*Umgangssprache*» диаметрально разделились. Так, с одной стороны, некоторые германисты склонны вычленить в структуре современного немецкого языка Швейцарии наддиалектное койне (*supradialektale Koine*) как сформировавшийся общий (единый) обиходно-разговорный язык, базирующийся на местных (зональных) диалектах («*eine auf Dialekten beruhende mündliche Koine*») и служащий языком-посредником в акте коммуникации между носителями различных швейцарско-немецких поддиалектов [25]. С другой стороны, языковеды, полемизирующие с утверждением относительно обиходно-разговорного языка как автономной подсистемы в социофункциональной структуре немецкого языка Швейцарии, решительно выступают против попыток выделения здесь каких-либо «переходных» формаций языка (обиходно-разговорных типов языка), располагающихся между двумя полюсами: литературным языком и диалектом [26]. На наш взгляд, представляется уместным возразить против таких достаточно категоричных оценок по отношению к обиходно-разговорным типам речи (*Umgangssprache*) в швейцарско-немецком ареале, высказанных лингвистами в ходе развернувшейся дискуссии вокруг статуса «переходных» языковых форм, определяющих собственно структурную часть «*Umgangssprache*» (фонетику, грамматику). Считая положение о наличии в немецкоязычной Швейцарии автономной общей формы обиходно-разговорного языка явно преждевременным, необходимо отметить, что известная иерархия структурно-функциональных свойств, проявляющаяся в диалектном ландшафте швейцарско-немецкого ареала, не представляет собой сложившуюся замкнутую систему, и эта ступень еще не может оцениваться как функциональный слой в ранге «*Umgangssprache*». Одновременно лингвист, по нашему убеждению, не вправе не замечать изменения, прослеживаемые на стратификационной оси измерения языковых явлений [27]. В рамках германо-швейцарской речевой общности единый надтерриториальный обиходно-разговорный язык представляется скорее определенно наметившейся тенденцией или, говоря словами В. М. Жирмунского, сказанными им по другому поводу, «идеальным предельным понятием, чем осуществленной действительностью» [28].

Характеризуя процесс расслоения структуры надтерриториально-диалектных образований (*Ausgleichsmundarten*) и выделения в них разноранговых «переходных» единиц, следует подчеркнуть, что языковые образования наддиалектного типа, бытующие в крупных швейцарских городах и распространяющие свое влияние за пределами кантональных границ, обнаруживают близость своих лингвистических характеристик и сходство в расслоении по социальным ступеням. С одной стороны, здесь прослеживаются обиходно-разговорные типы речи, базирующиеся на диалектной основе и обслуживающие более низкие в социальном отношении группы («eine gefühlsbetonte niedere Verkehrssprache»): в Цюрихе диалектный сленг города носит название «Limmatblütendeutsch»; в Берне — «Mattenenglisch» или «Mattenberndeutsch»; в Базеле — «Höchsprache». С другой стороны, в структуре «выравненных» диалектов выделяется ступень обиходно-разговорного языка, обслуживающего социальные группы более высокого положения в обществе: в Берне — «Patrizierdeutsch» или «Sprache der Altberner»; в Базеле — «Dalbe-Baseldytsch» или «Dalbenesisch» [23—24; 29—32; 3]. Наряду с этим в обиходно-разговорной формации швейцарско-немецкого ареала манифестируется сегодня вполне определенно ее высшая ступень членения, характерной чертой которой является большая близость в лексико-грамматическом плане с литературным языком, при сохранении сильной зависимости в фонетическом отношении от диалектной базы [33—35]. Любопытными в этой связи представляются наблюдения Э. Штрюбина, который показывает, насколько далеко этот тип «переходной» (от диалекта к литературному языку) формации отстоит в своем собственно структурном плане от диалектной основы, и поэтому называет его образно «квазидиалект» [3, с. 108].

Высшая ступень членения обиходно-разговорной формации, переживающая сегодня процесс становления, получает наименование «gebildete, hochdeutsch getönte höhere Verkehrssprache» (Э. Штрюбин). Пользуясь терминологическим аппаратом П. Кречмера и В. М. Жирмунского, этот языковой феномен можно интерпретировать как «обиходно-разговорный язык образованных» в его швейцарской окрашенности [36—37]. Характерно, что за данной ступенью обиходно-разговорной формации, тесно сопрягающейся с литературным языком, в Швейцарии закрепляется частичное обслуживание социальной сферы: при выполнении официально-деловых, производственных функций, использовании как средства публичной, научной, литературно-художественной речи [38].

Характеризуя процесс зарождения «Umgangssprache», этой особо лингвистически выраженной формы проявления языка в швейцарско-немецком узусе, следует подчеркнуть роль цюрихско-немецкого диалекта. Он занимает ведущее положение в переоформлении локальных поддиалектов и претендует на право выступать в рамках германо-швейцарской речевой общности в качестве общенациональной и социальной нормы. Цюрихско-немецкий диалект, будучи интегрирующим центром для данной языковой территории, постоянно перекрещивается с другими диалектными феноменами различной зональной соотнесенности. В результате процесса «сглаживания» их лингвистических характеристик (по этой причине Цюрих образно называют «плавильным котлом» — «Schmelztiegel» или «домной» — «Infiltrationsherd») [39; 8, с. 214] рождается своего рода «выравненная» надтерриториально-диалектная форма, органично объединяющая в себе структурные и узорегиональные особенности диалектных микросистем, но сохраняющая при этом цюрихскую окрашенность и служащая — благодаря приобретению признака экстерриториальности — целям межрегионального общения. Любопытно, что большинство носителей швейцарско-немецких поддиалектов склонно закрепить за цюрихско-немецким статус койне, стандартного (образцового) типа обиходно-разговорного языка («Normalschweizerdeutsch») в рамках немецкоязычной Швейцарии [2, с. 55—56].

При анализе взаимоотношений функционально стратифицированных языковых образований, претерпевающих изменения во времени, а также под воздействием общества и языковой политики внимание швейцарских

лингвистов привлекает в наши дни социально-психологический аспект этой проблемы. Любопытными в этом отношении представляются данные, полученные исследователями экспериментальным путем и направленные на выявление различий в восприятии и прагматическом воздействии нормализованного литературного языка и родного диалекта германо-швейцарцев. Характерно, что родной диалект (Muttersprache) ассоциируется у них с критериями: *vertraut* (близкий), *ansprechend* (приятный), *gemütlich* (уютный), *direkt* (непосредственный), *warm* (симпатичный), *persönlich* (личный), *natürlich* (естественный), *schweizerisch* (швейцарский), *patriotisch* (патриотический). Отношение же к немецкому литературному языку, ограниченному в своем функционировании, как известно, практически сферой письменного общения, отражается в следующих оценочных характеристиках: *das Fremde* (чужой), *das Förmliche* (формальный), *das Offizielle* (официальный), *das Feierliche* (торжественный), *das Rationelle* (рациональный), *das Arrogante* (надменный), *das Zackige* (бравый) [40—41].

С точки зрения социально-психологического аспекта диалектной (алеманнской) вариантности весьма любопытны оценки германо-швейцарцев диалектов разных пространственных координат в пределах данного ареала. Так, в оценке большинства из них бернско-немецкий представлен с комментарием: *heimelig* (родной), *urchig* (местный), *gemütlich* (уютный), *sympatisch* (симпатичный), базельско-немецкий воспринимается ими как *intellektuell* (интеллектуальный), а цюрихско-немецкий — *normal* (нормальный) [9, с. 27].

Помимо выявления социальных установок информантов по отношению к различным поддиалектам усилия швейцарских исследователей направлены на определение места языковых (диалектных) фактов в социально-психологических стереотипах, характерных для различных социальных групп. В настоящее время прослеживается своего рода «переоценка ценностей» (*Umwertung*) в отношениях между поддиалектами на шкале престижности. Сегодня практически каждый диалектный регион (цюрихский, бернский, базельский и т. д.) обнаруживает субординативное распределение городских и сельских разновидностей. Нередко при изменении в социальной ситуации — по соображениям престижного порядка — носитель сельской реализации диалекта вынужден переключаться на городской диалект. Диалект села, теряя постепенно социальную престижность, оказывается нередко в функциональном отношении ограниченным узкобытовой сферой общения, тогда как городская разновидность диалекта сохраняет право на функциональную универсальность [2, с. 53].

Переоценка ценностей в отношениях между поддиалектами на шкале престижности порождает оппозицию: «активные» — «пассивные» диалекты. Одни из них [прежде всего так называемые реликтовые, например, диалектная разновидность Лёченталя (*Lötschental*) в кантоне Валлис] предстают в наши дни в оценке их носителей непрестижными, «ущербными», не способствующими социальному успеху и по этой причине функционально ограниченными узколокальными рамками (ср.: *isolierte, lokale Reliktmundarten*). Другие диалектные разновидности, обнаруживающие «выравненный» характер лингвистической структуры (например, городской бернско-немецкий — *Stadtberndeutsch*), характеризуются большим радиусом функционирования, выходящим далеко за пределы региона первоначального бытования (ср.: *regionale Mundart mit überregionaler Reichweite*), и выступают в качестве средства межрегионального общения. И, наконец, на верхней ступени в иерархическом ряду социальной престижности диалекта находится сегодня цюрихско-немецкий в его городской реализации (*Stadtzürichdeutsch*), претендующий, как отмечалось, на роль общенациональной и социальной нормы в рамках германо-швейцарской общности (ср.: *regionale Ausgleichsmundart mit gesamtschweizerischer Reichweite*) [38, с. 50—56]. Таким образом, в зависимости от условий коммуникативного акта германо-швейцарцы нередко вынуждены, переключаясь с одного диалектного регистра на другой, обнаруживать — помимо своего родного диалекта (*Muttersprache*) — владение несколькими

швейцарско-немецкими региональными разновидностями («Bi- oder Pluridialektie» — Р. Рис) [42], причем диалектная презентация речи коммуникантов предполагает одновременно вариативность ее регистров как в горизонтальной проекции, так и по оси вертикального (социального) членения.

Включая в сферу своего рассмотрения характер языковых (диалектных) фактов в социально-психологических стереотипах, типичных для определенных социальных групп, швейцарские германисты приходят к заключению, что свидетельством подобного языкового расслоения служит прежде всего вокалическая система, в которой — с точки зрения германо-швейцарских информантов — противопоставляются престижные (*Prestigesignale*) и непрестижные (*Stigmasignale*) строевые признаки [43]. Так, в рамках кантона Берн престижность закрепляется за словоупотреблениями *breit*, *Boum*, *Hüüsli* вместо прежних *breet*, *Boom*, *Hiisli*; в кантоне Базель, например, словоформы *Baim*, *gligglig*, *Steere* уступают сейчас место более престижным *Beum*, *glügglig*, *störe* [44—46].

И, наконец, еще один круг проблем, связанных с механизмом восприятия и распространением языковым коллективом результатов внутривидового изменения и взаимодействия поддиалектов и литературного языка, представлен лингводидактическим планом. Следует при этом подчеркнуть, что швейцарская германистика делает в этом направлении серьезные шаги.

Специфика диалектно-литературного двуязычия, обнаруживающего в пределах германо-швейцарской речевой общности сосуществование двух разновидностей одной системы, которые находятся в отношении функциональной дополнительности, накладывает, естественно, свой отпечаток на речевую деятельность коллектива говорящих данного узуса. Повышенная социально-функциональная значимость диалекта (*Schwyzerdütsch*) обуславливает широту канала, по которому основной поток диалектных (алеманнских) особенностей направляется в литературный немецкий язык, что вызывает «диалектизацию» последнего. Наряду с этим ограниченность употребления литературного языка (*Schweizerhochdeutsch*) областью письменного применения сказывается, несомненно, на навыках и умениях, которые обнаруживают швейцарцы при его использовании в устном общении. По причине выработанного автоматизма говорения на родном диалекте коммуниканты не могут не идентифицировать себя при этом с коллективом носителей *Schwyzerdütsch*, невольно облекая осуществляемый ими преднамеренный отбор языкового материала в наиболее привычные, принятые в пределах функционирования швейцарско-немецкого диалекта модели. Характерно, что интерферирующим влиянием особенностей структуры родного диалекта определяются достаточно серьезные отклонения от нормы *Schweizerhochdeutsch*, проявляющиеся в речи как при устной, так и при письменной коммуникации на немецком литературном языке [47—48].

Говоря о назревшей острой необходимости интенсификации культурно-речевой деятельности в рамках немецкоязычной Швейцарии, следует подчеркнуть, что она осознается швейцарскими исследователями как целый комплекс мероприятий. Сюда включается, с одной стороны, выяснение механизма языкового барьера, поддерживаемого автоматизмом говорения на диалекте, и, с другой стороны, исследование путей преодоления известных трудностей, связанных с постоянным балансированием между диалектом и литературным языком в повседневной речевой практике германо-швейцарцев. Примечательно в этой связи, что швейцарские германисты приступили к достаточно углубленному изучению национально детерминированного характера строения языка в его устной реализации. Заслуживает внимания стремление лингвистов Швейцарии разработать — в тесном творческом содружестве с ведущими методическими коллективами — теоретическую базу и практическую платформу, направленные на формирование и дальнейшее совершенствование навыков устной речи на *Schweizerhochdeutsch* у носителей диалекта, причем указанная программа проводится применительно к различным этапам социализации личности: детский сад, школа, гимназия и т. д. [49—54]. Зафиксированная экспери-

ментальным путем реальная языковая практика германо-швейцарцев наших дней, несомненно, представляет большой интерес для специалистов, изучающих проблему взаимодействия и взаимодополнения основных форм проявления немецкого языка Швейцарии.

В заключение важно подчеркнуть, что отмеченные аспекты структуры речи германо-швейцарцев, по необходимости включенные в круг проблем швейцарско-немецкой культуры речи, становятся в наши дни частью национального вопроса. Следует при этом воздать должное швейцарским лингвистам, обращающим серьезное внимание на языковое воспитание и дальнейшее совершенствование языка в рамках данного «коллектива сношений». Руководствуясь в своей деятельности положением, что чистоту немецкого языка необходимо понимать как литературный стандарт швейцарского узуса с присущими ему национально-специфическими чертами, они призывают германо-швейцарцев сознательно поддерживать нормы Schweizerhochdeutsch и пропагандируют необходимость обучения им в школе, гимназии, университете и других учреждениях. Большую ценность в этом отношении представляет издание швейцарского журнала «Sprachspiegel (schweizerische Zeitschrift für die deutsche Muttersprache)», освещающего актуальные проблемы культуры речи. Трудно переоценить значение предназначенных для широкого круга читателей пособий, справочников, учебников, в которых различные языковые факты даются в оценке с точки зрения правильности или неправильности, уместности или неуместности их употребления с учетом особенностей их функционирования в немецкоязычной Швейцарии [55—58].

Вместе с тем швейцарские лингвисты со всей решительностью заявляют о необходимости соблюдения разумных пропорций в отношении использования двух форм проявления немецкого языка в пределах германо-швейцарской речевой общности. Озабоченность языковедов, вызванная существенным расширением функционального базиса диалекта за счет сокращения определенных сфер функционирования литературного языка, вполне обоснована. Одновременно лингвисты, выдвигая требование чистоты как немецкого литературного языка, так и швейцарско-немецкого диалекта в целях сохранения лучших образцов языковой национальной традиции, подвергают достаточно резкой критике несостоятельность концепции относительно возведения диалекта в ранг национального языка (ср.: «die alemannischschweizerische Nationalsprache») [59]. При этом заслуживает внимания тот факт, что задачам интенсификации культурно-речевой деятельности подчинены в настоящее время совместные усилия видных швейцарских лингвистов, писателей, деятелей культуры и просвещения, отдающих себе отчет в том, что им предстоит многое решить в области культуры речи. И они осознают необходимость выполнения этой миссии перед своей нацией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варианты полинациональных литературных языков. Киев, 1981, с. 112—210.
2. *Ris R.* Dialekte und Sprachbarrieren aus Schweizer Sicht. — In: Dialekt als Sprachbarriere? Ergebnisbericht einer Tagung zur alemannischen Dialektforschung. Tübingen, 1973.
3. *Strüblin E.* Zur deutschschweizerischen Umgangssprache. — In: Schweizer Archiv für Volkskunde, 1976, Hf. 3—4, S. 102.
4. *Wolfensberger H.* Mundartwandel im XX Jahrhundert. Frauenfeld, 1967.
5. *Schwarzenbach R.* Die Stellung der Mundart in der deutschsprachigen Schweiz. Frauenfeld, 1969.
6. *Pilch H.* Baseldeutsche Phonologie. — *Phonetica*, 1977, v. 34, № 3.
7. *Haas W.* Sprachwandel und Sprachgeographie. Untersuchungen zur Struktur der Dialektverschiedenheit am Beispiel der schweizerdeutschen Vokalsysteme. Wiesbaden, 1978.
8. *Bigler N.* Mundartwandel im mittleren Aargau. Eine Untersuchung zu den heutigen Sprachverhältnissen im Spannungsfeld zwischen Ost- und Westschweizerdeutsch. Bern — Frankfurt-am-Main, 1979.
9. *Ris R.* Die Mundartwelle — nur eine Modeerscheinung? — *Neue Zürcher Zeitung*, 1977, 25. Nov., S. 27.
10. *Ris R.* Schweizerdeutsch im Umbruch? — *Neue Zürcher Zeitung*, 1977, 25. Nov., S. 30—31.

11. *Nathan-Neher B.* Das diffamierte Schweizerdeutsch.— Neue Zürcher Zeitung, 1981, 22. Aug., S. 28.
12. *Nathan-Neher B.* Bedrohtes Schweizerdeutsch.— Neue Zürcher Zeitung, 1981, 30—31. Aug., S. 26.
13. *Weber A.* Zürichdeutsche Grammatik. 2-te Aufl., Zürich, 1964.
14. *Fischer L.* Luzerndeutsche Grammatik. Zürich, 1960.
15. *Bossard H., Dalcher P.* Zuger Mundartbuch. Grammatik und Wörterverzeichnisse. Zürich, 1962.
16. *Greyerz O. von, Bietenhard R.* Berndeutsches Wörterbuch. Bern, 1976.
17. Schweizerdeutsches Idiotikon. Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache. Begonnen von Staub F. und Tobler L. Bearb. von Bachmann A. Bd. I—XIV. Frauenfeld, 1881—1979.
18. *Suter R.* Baseldeutsch-Grammatik. Basel, 1976.
19. *Trüb R.* Gegenwartssprache im «Zürichdeutschen Wörterbuch». Probleme eines modernen Dialektwörterbuchs.— In: Standard und Dialekt. Hrsg. von Löffler H., Pestalozzi K., Stern M. Bern., 1979, S. 143—149.
20. Sprachatlas der deutschen Schweiz. Begründet von Baumgartner H. und Hotzenköcherle R. Hrsg. von Hotzenköcherle R. Bd. I—IV. Bern, 1962—1975.
21. Sprachatlas der deutschen Schweiz— Phonogramme: 16 Platten. Begleittexte zu den Tonaufnahmen für das Sprachatlas der deutschen Schweiz. Bearb. von Hotzenköcherle R. und Brunner B. Hf. 1—4. Bern, 1972—1976.
22. *Greyerz O. von.* Das Berner Mattenenglisch.— In: Schweizer Archiv für Volkskunde, 1929, Hf. 1—4.
23. *Greyerz O. von, e Ligu Lehm.* Das Berner Mattenenglisch und sein Ausläufer die Berner Bubensprache. Bern, 1979.
24. *Baumgartner H.* Stadtmundart. Stadt- und Landmundart. Bern, 1940.
25. *Zimmer R.* Dialekt — Nationaldialekt — Standardsprache. Vergleichende Betrachtungen zum deutsch-französischen Kontaktbereich in der Schweiz, im Elsaß und in Luxemburg.—Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1977, Hf. 2, S. 145—148.
26. *Haas W.* Wider den Nationaldialekt. Bemerkungen eines Schweizers zu Zimmer R. «Dialekt — Nationaldialekt — Standardsprache».— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1978, Hf. 1, S. 62—67.
27. *Домашнев А. И., Помазан Н. Г.* К понятию Umgangssprache в немецком языке Швейцарии.— ВЯ, 1981, № 3.
28. *Жирмунский В. М.* Марксизм и социальная лингвистика.— В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969, с. 21.
29. *Sommer H.* Bärndütsch.— Sprachspiegel, 1962, Hf. 5, S. 131—142.
30. *Sonderregger S.* Ein Jahrtausend Geschichte der deutschen Sprache in der Schweiz.— In: Sprache, Sprachgeschichte, Sprachpflege in der deutschen Schweiz. Zürich, 1964.
31. *Christ R. B.* U- und Non-U in Basel. Standesunterschiede in der Basler Mundart.— Sprachspiegel, 1963, Hf. 5.
32. *Herdi F.* Limmatblüten und Limmatfalter in einem Band. Aus dem Wortschatz der fünften Landessprache. Zürich, 1966.
33. *Zinsli P.* «Bündner Deutsch». Werden und Wandel. Bern, 1976.
34. *Künzli R. E.* Mundart und Schriftsprache: Der Schweizer und das Schweizerdeutsch.— Muttersprache, 1976, Hf. 5, S. 387.
35. *Schenker W.* Schweizerdeutsch als Modell.— Wirkendes Wort, 1973, Hf. 2, S. 98—99.
36. *Kretschmer P.* Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918.
37. *Жирмунский В. М.* Проблема социальной дифференциации языков.— В кн.: Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976.
38. *Ris R.* Dialekte und Einheitssprache in der deutschen Schweiz.— International journal of the sociology of language, 1979, № 21, p. 44—47.
39. *Pichard A.* Schweizerdeutsch ist nicht Zürichdeutsch, oder wie ein Welschschweizer die sprachliche Lage der deutschen Schweiz sieht.— Sprachspiegel, 1975, Hf. 6, S. 168—169.
40. *Sitta H.* Spracherwerbstheoretische Aspekte des Verhältnisses von Mundart und Hochsprache in der Schule.— In: Standard und Dialekt. Bern, 1979, S. 165.
41. *Ris R.* Sozialpsychologie der Dialekte und ihrer Sprecher.— In: Grundlagen einer dialektorientierten Sprachdidaktik. Hrsg. von Ammon U. Basel, 1978, S. 93—115.
42. *Ris R.* Dialektologie zwischen Linguistik und Sozialpsychologie: Zur Theorie des Dialekts aus schweizer Sicht. In: Dialekt und Dialektologie. Ergebnisse des internationalen Symposiums «Zur Theorie des Dialekts». Marburg/Lahn. 5—10 September 1977. Hrsg. von Göschel J., Ivic P., Kehr K. Wiesbaden, 1980, S. 73—96.
43. *Schenker W.* Die Schweiz. Land mit vielen Sprachen.— In: Literatur aus der Schweiz. Texte und Materialien. Hrsg. von Ammann E. und Faes R. Zürich — Frankfurt-am-Main, 1978, S. 15—16.
44. *Stiefel R.* Sprachpflege der deutschen Schweiz. Bisherige Leistungen, neue Pläne und ihre Realisierbarkeit.— Aarau, 1971.
45. Warum ein Dialekt? Interviews mit zeigenössischen Autoren. Hrsg. von Baur G. W. und Fluck H.-R. Bern — München, 1976, S. 24.
46. *Werlen I.* Das «Staubsche Gesetz» im Schweizerdeutschen.— Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 1977, Hf. 3.
47. *Schäuffele F.* Deutsch, dütisch und andere schwere Sprachen. Ein Vademecum für Mikrofonbenützer der Deutschschweiz. Bern, 1970.

48. *Heuer W.* Deutsch unter der Lupe. Kritisch-vergnügliche Glossen zu unserer Gegenwartssprache. Zürich, 1972.
49. *Zimmermann H.* Zu einer Typologie des spontanen Gesprächs. Syntaktische Studien zur baseldeutschen Umgangssprache. Bern, 1965.
50. *Rohrer C.* Der Konjunktiv im gesprochenen Schweizer Hochdeutschen. Analyse von Radiogesprächen. Frauenfeld — Stuttgart, 1973.
51. *Jecklin A.* Untersuchungen zur den Satzbauplänen der gesprochenen Sprache: Dissertation. I. Bern, 1973.
52. *Joss H.* Sprechverhalten in Mundart und Hochsprache. Ein Vergleich zwischen 7-jährigen Kindern und Erwachsenen: Dissertation. I. Bern, 1974.
53. *Käppeli R.* Zur Soziolinguistik der Kindersprache: Dissertation. I. Zürich, 1974.
54. *Stirnemann K.* Zur Syntax des gesprochenen Schweizer Hochdeutschen. Eine Untersuchung zur Sprache des Deutschunterrichtes an der Luzerner Kantonschule. Frauenfeld — Stuttgart, 1980.
55. *Boesch B.* Die Aussprache des Hochdeutschen in der Schweiz. Eine Wegleitung. Zürich, 1957.
56. *Heuer W.* Richtiges Deutsch. Eine Sprachschule für Jedermann. Zürich, 1960.
57. *Rutishauser H., Winkler W.* Keine Angst vor Wort und Satz! Der vergnügliche Sprachführer für jedes Büro. Zürich, 1973.
58. *Sommer H.* Lebendiges Deutsch. Bern, 1973.
59. *Teucher E.* Rückblick auf das Jahr 2015. Eine Satire.— Sprachspiegel, 1979, Hf. 2, S. 33—35.

ЩЕРБАК А. М.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОРФЕМ В СЛОВОФОРМЕ КАК ПРЕДМЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде чем говорить о возможных аспектах изучения последовательности морфем, сделаем несколько общих замечаний, касающихся порядкового членения словоформ, так как последовательность морфем устанавливается путем выделения порядков.

Выделение порядков не является универсальным приемом исследования и описания морфологии. Границы применения данного приема определены характером языкового материала. Там, где происходит наложение одного морфологического показателя на другой, или, иными словами, где господствует флексия и сильны фузионные процессы, выделение порядков лишено смысла, попросту говоря, оно неосуществимо. Порядковое членение целесообразно применять в тех случаях, когда принцип построения словоформ является линейным, когда каждая элементарная единица плана выражения более или менее строго соотносена с элементарной единицей плана содержания, т. е. когда исследуются агглютинативные языки.

Задачи порядкового членения морфем не совпадают полностью с задачами их упорядочения. Упорядочение имеет прямое отношение к прикладному языкознанию, и порядковое членение соотносится с ним как один из этапов формализованного описания, конечная цель которого — составление программ машинного перевода [см. 1—4]. Однако этим не исчерпываются задачи порядкового членения. Имеются и собственно лингвистические аспекты его использования. С точки зрения лингвиста в словоформах ничего упорядочивать не надо: морфологические элементы располагаются в них в определенном и устойчивом порядке.

Ошибочно считать, что порядковое членение подсказано, в первую очередь, прагматическими соображениями. Удобство описания морфем в той последовательности, в которой они выступают в словоформе, — мотив, не лишенный здравого смысла, но не имеющий принципиального значения. Основная причина выделения порядков — в постановке и решении ряда лингвистических проблем. Последовательность аффиксов — явление объективное, исторически обусловленное, отражающее своеобразие процесса развития словоформы в отдельных языках или группах родственных языков, и именно поэтому оно может быть объектом специального лингвистического исследования.

Несколько отвлекаясь от темы своего сообщения, мы хотели бы сделать также замечание особого рода. Никак нельзя согласиться с тем, что применение порядкового членения целиком связано с зарождением и развитием американского дескриптивизма. Представители американской дескриптивной лингвистики разработали методику порядкового членения, придали ему характер неукоснительно соблюдаемой процедуры [см., например, 5], возникновение же самой идеи выделения порядков не было достижением какой-либо одной лингвистической школы. В советском языкознании целесообразность разграничения порядков и установления последовательности морфем подчеркивалась начиная с 20-х годов в трудах Г. Алпарова, Н. Ф. Яковлева и Д. Ашхамафа, В. И. Цинциус и других языковедов. Чтобы глубже и полнее осветить позицию тюркологов в этом вопросе, достаточно сослаться на опубликованную в 1927 г. статью татарского языковеда Г. Алпарова. «Приставки (аффиксы. — Ш. А.), —

пишет он, — обязательно нанизываются в строго механическом порядке, так что перемещать их бывает невозможно. При этом обыкновенно, когда один из рядов занят одной какой-нибудь приставкой из определенной группы по значению, то другие из них не могут быть втиснуты никуда и они могут только занимать место своего товарища по очереди, когда нужно, а когда их вовсе не нужно, тогда их место остается вакантным» [6]. Здесь дано исчерпывающе ясное определение специфики линейной словоформы и, более того, разграничены понятия квазипорядка и порядка. Ср.: «тогда их место остается вакантным».

О собственно лингвистических задачах применения порядкового членения высказывались разные мнения. Н. Ф. Яковлев и Д. Ашхамаф указывали на необходимость учета последовательности аффиксальных морфем в целях различения внешние совпадающих морфологических элементов и, следовательно, для правильного понимания структуры слова [7]. В. И. Цинциус считает, что изучение порядка расположения морфем важно «не только для правильного понимания структуры слова и его значения, но, в особенности, для этимологических изысканий, для истории языка, истории возникновения и формирования различных грамматических категорий» [8, с. 149]. А. П. Володин пользуется порядковым членением как одним из приемов научного описания агглютинативных языков и подчеркивает необходимость и полезность его для выяснения вопроса о межъязыковых связях [9].

Очень важно подчеркнуть, что в собственно лингвистическом аспекте применения порядкового членения есть задачи реальные, разрешимые, и такие, сама постановка которых не является в достаточной мере оправданной. Например, использование порядкового членения и изучение порядка аффиксов в словоформе для решения вопросов исторического синтаксиса, опирающееся на гипотезу об изоморфизме структуры слова и предложения, едва ли даст какие-нибудь положительные результаты, так как упомянутая гипотеза не имеет надежной опоры в фактическом положении вещей. Об этом с предельной ясностью говорится в статье В. И. Цинциус, подчеркивающей, что в тунгусо-маньчжурских языках «в подавляющем большинстве случаев порядок расположения морфем прямо противоположен расположению членов предложения» [8, с. 150]. Почти то же самое можно сказать и о тюркских языках.

Необходимо также иметь в виду, что степень кодификации порядка следования аффиксальных морфем в разных языковых семьях и группах языков неодинакова и что поэтому любые выводы, связанные с изучением порядков, должны делаться на основе учета особенностей конкретного материала. Приведем по этому поводу высказывание К. Е. Майтинской. «В прибалтийско-финских, саамском, волжских языках, — отмечает она, — в сфере существительных активно употребляемые падежные форманты предшествуют лично-притяжательным, в угорских языках, наоборот, лично-притяжательные предшествуют падежным. В пермских языках выявляются оба порядка» [10]. В тюркских же языках, в отличие от финно-угорских, расположение упоминаемых К. Е. Майтинской морфологических показателей существительных строго фиксированное и не подвержено вариациям ни в масштабе семьи в целом, ни в пределах каких-либо регионов или отдельных языков: повсеместно падежные аффиксы замыкают словоформу, а лично-притяжательные предшествуют им.

Анализ материалов тюркских языков приводит к выводу, что установление последовательности аффиксальных морфем в словоформе¹, с одной стороны, способствует разграничению продуктивных и омертвевших форм, например: кирг. *kıştın tıñıñdö* «в зимнюю ночь» и *tıñdösü* «ночью». В *tıñdösü*, вопреки существующим правилам, аффикс принадлежности не предшествует падежному аффиксу, а следует за ним. Нарушение правил порядка наблюдается в разных тюркских языках, ср.: ст.-узб. *анда-лар* «там» [12]. Аффикс местного падежа *-да* находится не в конце слово-

¹ Здесь и ниже речь идет главным образом об аффиксах словоизменения. О порядке следования словообразовательных аффиксов см. [11].

формы, после всех других словоизменительных аффиксов, а перед аффиксом мн. числа. Аффикс принадлежности 3-го лица иногда выступает и до, и после падежного аффикса, ср.: кирг. *kīšīndasī* (*kīš-in-da-sī*) «зимой», *jaīīndasī* (*jaī-in-da-sī*) «летом». В виде исключения после падежных аффиксов употребляется аффикс неполноты признака *-rak* ~ *-rək*: карач.-балк. *артдарақ* «немного позади», *артхарақ* «немного назад» [13]; татар. *арткарақ* «немного назад», *баштарак* «раньше», *јақынтыңрак* «поближе»; узб. *чэтдарэк* «немного в стороне» [14]. Здесь мы имеем дело с наречными формами. Однако необычный порядок аффиксальных морфем наблюдается не только у наречий.

Знание правил последовательности аффиксальных морфем обеспечивает возможность объяснения природы некоторых утративших этимологическую прозрачность форм. Можно привести такие примеры: тур. *žedžki*, узб. *ujdağı* «находящийся в доме, домашний»; тур. *sizin ki*, узб. *siniki* «ваш». В приведенных примерах наше внимание привлекает элемент *-ki*. Почему он присоединяется к падежным аффиксам в нарушение общепринятых правил? Почему наличие *-ki* делает возможным повторное присоединение к словоформе всех словоизменительных аффиксов, ср.: тур. *žedžkilär imdä*, узб. *ujdagilar imda* «у моих домашних»? Наконец, является ли *-ki* на самом деле обычным морфологическим показателем? Прежде чем ответить на все эти вопросы, напомним, что в некоторых тюркских языках *-ki* не подчиняется закону гармонии гласных, ср.: кар. *aninki*, карач.-балк. *aniki*, кум. *onuki*, тур. *onunki*, узб. *uniki* «его, принадлежащий ему, относящийся к нему»; кар. *bundagi*, тоф. *mindaki*, тур. *buradaki*, узб. *bundagi*, якут. *mannai* «здесь, находящийся здесь». Таким образом, хотя рассматриваемый элемент и выступает в современных тюркских языках в качестве аффикса, он обнаруживает черты иной грамматической природы [15, с. 96—98]. Неподчинение закону гармонии гласных дает основание предположить, что первоначально *-ki* являлся относительной частицей, или частицей-союзом, выполнявшей разные синтаксические функции, а затем приобрел, кроме того, черты словообразовательного аффикса, стал показателем относительной формы имен [16—18]. Этим объясняется возможность присоединения к нему падежных аффиксов и аффикса мн. числа, например: тур. *bänimki jē*, *bänimki dēn*, *bänimkilär dēn*; узб. *mäniki ga*, *mäniki dan*, *mänikilar dan*. В качестве дополнительного аргумента здесь может фигурировать также то, что в тюркских языках лишь частицы обладают некоторой свободой перемещения в словоформе, не влияющей, кстати сказать, на смысл, ср.: узб. *kətiŋiz-chi*, карач.-балк. *kətiŋiz* [19] «идите-ка»; узб. *olasan-mi*, хакас. *alarzīŋ-ma*, гаг. *alarmisan*, тур. *alrmişin* «берешь ли?»; хакас. *pirgəjökniŋ* (*pirgəj-ök-niŋ*), *pirərökniŋ* (*pirər-ök-niŋ*) «дам ведь» [20].

Далее, знание кодифицированной последовательности аффиксальных морфем позволяет полнее учитывать то, в какой мере изменение ее связано с передачей иного содержания. Следует при этом еще раз подчеркнуть, что изменение установленного порядка происходит чрезвычайно редко, например, в именных словоформах — преимущественно в терминах родства: тур. *təjzälrim* «мои тети» и *təjzälmr* «тетя» (с выражением почтительности); узб. *enalrim* «мои старшие сестры» и *enamlar* — почтительное наименование старшей по возрасту женщины, *akalarim* «мои старшие братья», *akamlar* — почтительное наименование старшего по возрасту мужчины. Итак, при обычном порядке аффиксы лица и числа передают свойственные им значения, при перестановке же они вместе выражают вежливость, почтительность. Ср. также: узб. *əjmlar*, *dadamlar* (о матери и отце) [15, с. 75—76].

С изменением обычного порядка расположения аффиксальных морфем связано выражение и других значений, ср.: крым.-татар. *babamlara*, тур. *babamgillär* «к отцу, в семью отца, в дом отца» [21, 22].

В форме 2-го лица мн. числа повелительного наклонения в узбекском языке афф. *-lar*, как правило, занимает крайнюю позицию, что согласуется с общетюркскими нормами, однако допустимо присоединение афф. *-lar* непосредственно к глагольной основе: *bəriŋlar* и *bərlariŋ* «идите».

Налицо частный случай распространенного в узбекском языке явления смещения аффиксов лица и числа в глагольных формах, ср.: *бординлар* и *бординларин* «вы пошли», *бурсаңлар* и *бурсаларин* «если пойдете». По мнению Я. Гулямова, инвертированный порядок аффиксов *-ин* и *-лар* в глагольных формах служит целям выражения пренебрежительного отношения к собеседнику. Так, *кэллерин* означает «ну идите сюда» (свысока) [23]. Аналогичные суждения высказаны авторами академической грамматики узбекского языка [24].

Наконец, знание общепринятой, исторически сложившейся в пределах тюркской языковой семьи последовательности аффиксальных морфем облегчает определение характера связей тюркских языков с нетюркскими. Как указывалось выше, аффиксы принадлежности в тюркских языках предшествуют падежным аффиксам, в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках они занимают место непременно после падежных аффиксов², ср.: тур. *эв-иниз-э* (-э — афф. дат. падежа), калм. *гер-түр-тани* (-түр — афф. дат.-местн. падежа), эвенк. *дү-лā-сун* (-лā — афф. дат. падежа) «в ваш дом».

Учитывая принципиальную значимость последовательности присоединения аффиксальных морфем в названных языках, можно с уверенностью сказать, что даже этого единственного случая структурно-морфологических расхождений достаточно, чтобы подвергнуть сомнению правомерность восстановления алтайских праформ. Дело в том, что взаиморасположение падежных аффиксов и аффиксов принадлежности в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках — важнейшая особенность их морфологической структуры, своего рода дифференциальный признак, возникновение которого никак нельзя отнести к недавнему прошлому.

Структурно-морфологические расхождения, учет которых способствует определению характера связей тюркских языков с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, не ограничиваются именными словоформами. Они прослеживаются и в глаголе. Правда, в глаголе эти различия нередко выходят за пределы синтетических форм. Самое примечательное из них связано с выражением отрицания.

Основное средство передачи глагольного отрицания в тюркских языках — афф. *-ма* ~ *-ба* ~ *-па...*, употребляемый со всеми глагольными формами и присоединяемый непосредственно к основе, первичной или вторичной (залоговой), например: алт., кирг. *бар* «иди» — *барба* «не ходи»; кирг. *жазат* «пишет» — *жазбайт* «не пишет», *жазди* «писал» — *жаздади* «не писал», *жазди*р «заставь писать» — *жазди*рба «не заставляй писать», *жазил-бан* «написано» — *жазилбазан* «не написано». Этот способ в равной мере типичен для всех древних и современных тюркских языков. Общетюркским является и место расположения аффикса отрицания в словоформе.

В монгольских языках отрицание выражают частицы, различающиеся по составу глагольных форм и находящиеся в препозиции [25—27], ср.: монг.-письм. *иде* «есть» — *bidegei ide* «не ешь», *bü idegdün* «не ешьте», *čidabai* «он смог» — *ese čidabai* «он не смог», *čidasu* «если сможет» — *ese čidaci* «если не сможет», *oluqi či* «найдешь» — *ülü oluqi či* «не найдешь».

В тунгусо-маньчжурских языках отрицательные глагольные формы представляют собой сочетания морфологически изменяемого вспомогательного глагола (*э-*) с неизменяемым причастием, передающим лексическое значение [28]. Примеры из эвенкийского языка: *бакаран* «он нашел» — *ээн бакара* «он не нашел», *баканйрэ* «наверно, они нашли» — *энйрэ бакара* «наверно, они не нашли», *бакадям* «найду» — *этэм бакара* «не найду», *бакадыраз* «найдем» — *этэрэв бакара* «не найдем», *бакадяңн* «найдет» — *эдеңн бакара* «не найдет» [29]. Принципиальным в плане расхождения с тюркскими языками, помимо самого способа выражения, является порядок компонентов аналитической формы: на первом месте оказывается вспомогательный компонент, тогда как в тюркских языках это место занимает компонент, несущий основную смысловую нагрузку и выступающий в форме «слитного» или «соединительного» деепричастия.

² В отдельных монгольских и тунгусо-маньчжурских языках значение принадлежности выражается аналитически.

Вывод, вытекающий из сказанного выше относительно важности учета структурно-морфологических расхождений в целях определения характера межъязыковых связей, таков, что поиски алтайского пласта в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках, если не отрицать вообще их целесообразности, логично вести лишь на уровне, предшествующем возникновению морфологии, так как материалы указанных языков свидетельствуют о различии некоторых основополагающих тенденций их морфологического развития.

Последовательность аффиксальных морфем может быть предметом специального лингвистического исследования и в других целях. Мы сознательно ограничиваем свою задачу лишь обоснованием правомерности такого подхода к изучению последовательности аффиксальных морфем в агглютинативных языках, который расширяет возможности понимания их структуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ревзин И. И., Юлдашева Г. Д. Грамматика порядков и ее использования. — ВЯ, 1969, № 1.
2. Пинес В. Я. Моделирование структуры азербайджанских глагольных форм в связи с проблемой автоматического словаря: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1970, с. 4 и сл.
3. Велиева К. Формальное описание синтеза азербайджанского слова: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971, с. 3 и сл.
4. Якубова Н. К. Расстановка аффиксов в узбекских словоформах. Ташкент, 1979, с. 3 и сл.
5. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
6. Алпаров Г. Об агглютинативной особенности татарского языка. — Вестник научного общества татароведения, 1927, № 7, с. 123.
7. Яковлев Н. Ф., Ашхамаф Д. Грамматика адыгейского литературного языка. М. — Л., 1941, с. 352 и сл.
8. Цинциус В. И. Порядок и иерархия аффиксов в агглютинативных языках (На материале языков тунгусо-маньчжурской группы). — В кн.: Морфологическая типология и проблема классификации языков. М. — Л., 1965.
9. Володин А. П. Ительменский язык (фонология, морфология, диалектология, проблема генетической принадлежности): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1979, с. 4.
10. Майтинская К. Е. Образование и классификация суффиксов в агглютинативных языках. (На материале финно-угорских языков). — В кн.: Морфологическая типология и проблема классификации языков. М. — Л., 1965, с. 162.
11. Азымов П. Түркмен дилинде аффикслериң өзара тиркешип гелиш дүзгүнлери. Ашгабат, 1944.
12. Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. М. — Л., 1962, с. 182.
13. Хабичев М. А. Карачаево-балкарское именное формообразование и словоизменение (Опыт сравнительно-исторического изучения). Черкесск, 1977, с. 28.
14. Гуломов А. Ф. Ўзбек тилида сифатнинг чоғиштирма даражалари. Ўзбек тили ва адабиёти масалалари, 1959, № 2, с. 54.
15. Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Имя). Л., 1977.
16. Грунин Г. И. Предложения с *ki* в турецком языке. — Учебно-методический бюллетень. М., 1951, № 2, с. 4, 10.
17. Ergin M. Türk dil bilgisi. Sofya, 1967, s. 153.
18. Абдуллаев Э. З. Азәрбајҹан дилинде ишленән ки бағлајычысынын мәншәји хагғында. — Тр. Ин-та литературы и языка АН Азербайджанской ССР, 1963.
19. Алиев У. Б. Наклонение и время глагола карачаево-балкарского языка. — В кн.: Вопросы категорий времени и наклонения глагола в тюркских языках. Баку, 1968, с. 109.
20. Катанов Н. Ф. Хакассский фольклор. Абакан, 1963, с. 22, 24.
21. Севортян Э. В. Крымско-татарский язык. — В кн.: Языки народов СССР. II. М., 1966, с. 240.
22. Севортян Э. В. Морфологическое строение слова в связи с другими его характеристиками (по данным тюркских языков). — Тюркологический сборник. 1971. М., 1972, с. 137.
23. Гулямов Я. Г. Грамматика ташкентского говора. I. Ташкент, 1968, с. 113.
24. Ўзбек тили грамматикаси. I. Тошкент, 1975, с. 106.
25. Владимирцов Б. Я. О частицах отрицания при повелительном наклонении в монгольском языке. — Изв. АН, 1916, с. 349—358.
26. Ramstedt G. J. Die Verneinung in den altaischen Sprachen. — MSFOu, 1924, LII, с. 198—199.
27. Санжеев Г. Д. К вопросу об отрицании в монгольских языках. — АОН, 1962, XV, № 1—3.
28. Горцеская В. А. Формы отрицания в эвенкийском языке. Л., 1941.
29. Константинова О. А. Эвенкийский язык. М. — Л., 1964, с. 192—193.

КОЛШАНСКИЙ Г. В.

О ЯЗЫКОВОМ МЕХАНИЗМЕ ПОРОЖДЕНИЯ ТЕКСТА

Мыслительная деятельность человека, направленная на познание окружающей действительности и реализуемая в социальном плане в пределах того или иного языкового коллектива, представляет собою непрерывный процесс адаптации человека к окружающему миру, т. е. овладение объективными закономерностями и использование их в процессе оптимальной организации жизненных условий человека. «Психическое как процесс, — пишет А. В. Брушлинский, — изначально и всегда является непрерывным в самом точном и глубоком смысле слова. Непрерывность психического объективно обусловлена его ведущей ролью в регуляции и саморегуляции деятельности людей (и поведения животных). Психическое изначально включено в непрерывное взаимодействие человека с миром, т. е. прежде всего в непрерывное взаимодействие субъекта с объектом, каковым в конечном счете потенциально является вся Вселенная» [1, с. 29].

Социальная направленность мыслительной деятельности реализуется прежде всего в языковой материи, которая является своеобразной средой, переносящей индивидуальные знания в коллективе и «переключающей», таким образом, мыслительную и производственную деятельность человека в общественную плоскость. Это положение является исходным как для психологического, так и для лингвистического описания речевого механизма.

Мышление, являющееся одновременно индивидуальным и общественным, закрепляется в языковой материи в виде результатов познания, осуществляемого путем формирования дискретных промежуточных единиц, которые образуют определенную формальную логическую структуру, адекватно воплощающую в себе акты бесконечного процесса познания. В индивидуальном плане речевой процесс представляет собой потенциально-бесконечную, но дискретно непрерывную форму воплощения мыслительного процесса человека, основанного на постоянной физиологической активности мозга. Речемыслительный процесс является одной из важнейших форм реакции человека на окружающий мир, причем такой реакцией, которая опирается не только на биологическую, но и на нейропсихологическую субстанцию, что обеспечивает переход от материального взаимодействия человека с миром к осознанно-психологическому.

Мышление как высшая форма отражения действительности в этом смысле может интерпретироваться как свойственная только человеку, т. е. форма опосредованного — идеального — взаимодействия с реальными объектами. Эта опосредованность проявляется в формировании чисто человеческих форм мышления в виде понятий, суждений и всех видов умозаключений, которые дают возможность человеку перерабатывать постоянно поступающую от мира информацию (первоначально в биологической и физиологической субстанции, а затем в нейропсихологической, однако в их неразрывном единстве). Согласно определению А. В. Брушлинского: «...на всех стадиях мышления (даже в случае ошибок) последнее закономерно формируется как непрерывный психический процесс именно в силу непрерывности познавательного взаимодействия человека с миром» [1, с. 33].

Говоря об особенностях мыслительной деятельности человека как высшей формы отражения действительности, в отличие от психических форм отражения действительности у животных, необходимо иметь в виду его принципиально качественное отличие, которое характеризуется образова-

нием абстрактных форм мышления в виде понятий, суждений и умозаключений, ни в коей мере не свойственных отражению действительности на уровне представления и образов у животных. Опосредованное взаимодействие человека и мира через мыслительные формы есть качественно иное взаимодействие, нежели психолого-физиологические формы взаимодействия рефлекторного порядка, свойственные животным. Высшая — понятийная — форма отражения действительности свойственна человеку и непосредственно связана с речевой деятельностью. Это создает особый ряд отношений человека и мира: «объект — деятельность — мысль — язык» в отличие от отношения, характеризующего взаимодействие высших животных с материальными предметами в ряду: «объект — действие — представление (образ)».

Непрерывность биологического и психологического взаимодействия человека с реальным миром может быть представлена как постоянный, но дискретный процесс языковой манифестации того или иного способа освоения мира, причем такой формы языковой реализации мышления, которая представляет собой постоянный и дискретный процесс речеобразования (как внутреннего, так и внешнего).

Характеристика человека не может быть дана только в биологическом (материальном) аспекте, но должна содержать в себе признак его духовной природы как свойства высшего биологического существа, способного в своем взаимодействии с окружающим миром создавать отражательный (идеальный), абстрактный (понятийный) образ этого мира.

С таких позиций представляется целесообразным рассматривать вопрос о том, как формируется непосредственно тот или иной «языковой блок», с помощью которого организуется речевое общение людей. Можно предполагать, что непрерывность и прерывность речемыслительного процесса есть не что иное, как процесс фиксирования и оценки соответствующего языкового феномена в плане адекватности выражения той или иной языковой конструкцией идеи (смысла), регулирующей человеческое поведение и ориентирующей на правильное (истинное) познание той или иной конкретной ситуации.

Жизнедеятельность человека, как уже говорилось, представляет собой постоянное взаимодействие человека с окружающей его средой. Это взаимодействие является источником познания и формирования плана действий, обеспечивающего человеку достижение той или иной практической (теоретической) цели на каждый данный момент его действий.

Формирование плана действий в конечном счете приобретает языковую форму (речь), которая как бы обнажает саму деятельность личности, приобщая таким образом личность к определенному обществу. С точки зрения языковой структуры образования адекватной речевой формы может мыслиться как непрерывный процесс порождения высказываний из структурно релевантных единиц более низкого порядка и их соединения в более крупные блоки, с помощью которых человек способен закрепить и выразить свои мысли, заключающие в себе в качестве компонентов интенции и цели действий. Решающим вопросом в описании такого механизма речеобразования является, безусловно, вопрос о формировании правильных высказываний как в грамматическом, так и в смысловом отношениях.

Каким образом формируются высказывания, выражающие определенную мысль человека, имея в виду чисто линейный характер развертывания речевой структуры? Существует ли парадокс, заключающийся в том, что речь выражает уже сформированный мыслительный акт, в котором скрывается сама загадка порождения мыслительного акта вне речи? Существует ли предварительная или даже другая форма реализации мысли, помимо вербальной формы? Ниже мы кратко изложим гипотезу о порождении текста, основывающуюся на том, что абстрактное мышление человека как высшая форма познания, свойственная в животном мире лишь Homo sapiens, неразрывно связана со словесным языком, присущим только человеку, осуществляется и реализуется в вербальной форме по правилам непрерывно дискретного движения речемыслительных единиц (понятий — слов, мыслей — высказываний, рассуждений — текстов).

На основе имеющихся данных можно полагать, что дискретный процесс текстообразования в вербальной коммуникации строится на принципе обратной связи, что и служит гарантией осуществления интенции говорящего и однозначности его восприятия в коммуникации. Можно себе представить этот процесс (моделируемый также и ЭВМ) как поиск по программе, сложившейся в человеческом мозгу на основе субъективно-социального опыта (в основе которого, возможно, лежит многослойный ассоциативный процесс), т. е. как процесс, построенный на принципе обратной связи, в котором выбор последующего элемента (слова, словосочетания, высказывания, его грамматической формы) детерминируется не жесткой цепью следования языковых единиц, а осмысленным выбором из ряда возможных элементов, из совокупности форм (системно организованной), которые по закону обратной связи признаются оптимальными в корреляции с реальной ситуацией. Например, фраза *Я сегодня иду в театр* может быть представлена в модели как результат многочисленных речемыслительных операций, начиная от первичного элемента субъекта я, выбор которого может быть определен как рефлексия на ситуацию, в которой действующее начало относится к отправителю текста, и последующим выбором на основе обратной связи таких элементов, как временное наречие *сегодня*, предикатный элемент *иду* и, наконец, обстоятельный признак *в театр*. Можно предполагать, что речевой акт является действительно речемыслительным, в котором каждая языковая единица выстраивается в мыслительный ряд, конституирующий цепь отражательных моментов сознания.

Известно, что принцип обратной связи получил свое обоснование первоначально в области нейрофизиологии животных и человека (П. К. Анохин) и промоделирован затем в электронно-вычислительных устройствах. Сравните высказывание А. Братко: «Введение П. К. Анохиным понятий „обратная афферентация“, „афферентный синтез“, „акцептор действия“, „универсальная модель интегративной деятельности мозга“ облегчило изучение деятельности мозга как замкнутой системы циркуляции информации» [2; ср. также 3—14].

Представляется целесообразным распространить понятие обратной связи и на способ речемыслительного процесса. Этот принцип нуждается в дальнейшей экспериментальной проверке в психологических наблюдениях речевых актов как в норме, так и в патологии, но он может рассматриваться уже сейчас как вариант материалистического обоснования процесса речеобразования.

Можно предполагать, что механизм обратной связи является частью или деталью всеобщей структуры сознательной деятельности человека, выступающей в виде процессов синтеза и анализа, которые характеризует вообще взаимодействие человека с миром. Как пишет А. В. Брушлинский: «Непрерывность мышления как процесса, обусловленная непрерывностью взаимодействия человека с познаваемым миром, обеспечивается специфическим психологическим механизмом мыслительной деятельности — анализом через синтез. Его суть, раскрываемая теорией психического как процесса, состоит в следующем: объект в процессе мышления включается во все новые связи и отношения и в силу этого выступает (объективно!) во все новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях и понятийных характеристиках» [1, с. 31]. Анализ и синтез, на наш взгляд, и определяют как раз механизм обратной связи, действующий на уровне непосредственного формирования познавательных актов и речевых структур.

Этот принцип может разъяснить не только процесс речеобразования, который до сих пор рассматривался в виде кибернетического «черного ящика», но и в значительной степени может подкрепить положение об общественном характере языка.

Использование понятия «обратная связь» в речетворческом механизме не может рассматриваться в настоящее время как общепринятое положение на том основании, что перенос этого принципа из области биологии и психофизиологии в область абстрактной понятийной деятельности чело-

века не представляется бесспорным. Более того, мыслительная творческая деятельность человека вряд ли в целом может быть описана только на основе принципа механизма обратной связи, имея в виду, что такие виды деятельности, как интуиция, эвристические неосознаваемые и другие факторы, еще не поддаются строгому научному описанию. Именно на этом основании идея о приложимости способа обратной связи (как явления психологического порядка для животного мира) к речетворческой деятельности должна считаться предварительной гипотезой.

Принцип обратной связи соотносится и с деятельностью памяти, ибо фиксация какой-либо формы в этом процессе является непременным условием развертывания единиц языка. Такое явление особенно характерно для сложных единиц, т. е. для высказывания (предложения) и текста. Например, дистантность расположения членов глагольного сказуемого (вспомогательной формы и основного глагола), отстоящих друг от друга на значительном расстоянии во времени или пространстве, требует постоянного удерживания в памяти исходной формы, вокруг которой организуется синтагма. Показательным в этом плане является сложное предложение, в котором между главными членами предложения вклиниваются пространные подчиненные предложения.

Какой бы сложной ни была программа работы мозга по формированию речевого высказывания, она, видимо, базируется на постоянном поиске и проверке выбора той или иной единицы или той или иной грамматической формы из резервов оперативной или длительной памяти, в которой определенным образом (прежде всего по способу ассоциации) размещены лексические единицы и грамматические парадигмы. Интересно свидетельство А. Р. Лурия о нейрофизиологической стороне этого механизма: «Парадигматическая и синтагматическая организация речевого процесса, — пишет он, — обеспечивается различными мозговыми системами» [15, с. 15]. Разнообразие случаев афазии, детально исследованных в современной медицине [16], говорит именно о том, что речевой резерв человека находится всегда в упорядоченном состоянии по определенным группам (конкретное слово, абстрактное слово, собственное имя, глагол и т. д.), что делает возможным запрограммированный опытом человека выбор той или иной единицы в процессе образования высказывания, а также реализацию замысла говорящего адекватно условиям коммуникативной ситуации (мотив, цель, ситуация).

Действие программы формирования конкретного высказывания обеспечивается одновременно работой памяти, в которой параллельно откладываются уже найденные и отобранные единицы, включаемые в процесс речепроизводства в определенное время и в определенное место в линейной цепи речевых единиц.

Естественно, что место каждой единицы фиксируется благодаря непрерывному процессу обратной связи, управляющему построением корректного речевого акта. Механизм обратной связи с одновременным действием памяти наиболее наглядно может быть продемонстрирован типом структурирования тех языков, которые имеют аналитические формы (например, глаголы в немецком языке или сравнительно свободный порядок слов в русском и т. д.). Возьмем типичную фразу немецкого языка: «Mit den Ehrenbannern werden Betriebe, Institutionen und Einrichtungen, mit Ehrenurkunden und staatlichen Auszeichnungen Werk tätige und Arbeitskollektive aus der Industrie, dem Verkehrs, Nachrichten- und Bauwesen, dem Handel, den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, den Institutionen und Einrichtungen der Wissenschaft, Kultur, Volksbildung und des Gesundheitswesens geehrt» (Neues Deutschland, 1981, 15. Juni). Дистанция между начальными словами, в которых помещается и вспомогательный глагол, и формой основного глагола (перфекта) исчисляется десятками словесных знаков. Тем не менее подобные фразы формируются и воспринимаются всегда однозначно, поскольку у коммуникантов удерживается в памяти весь набор конструкций.

Эти условия действительны для всех тех случаев, когда одно языко-

вое значение выражается аналитически группой слов, дистантно расположенных в рамках простого или сложного высказывания. Имеются в виду прежде всего такие случаи, как сложные формы глаголов, например, в немецком языке (перфект — футурум). Можно полагать, что выбор глагольной формы является одноразовым, несмотря на то, что во фразе сначала появляется, скажем, вспомогательный глагол, а перфектная форма через определенное количество слов. Дело в том, что форма *habe gesagt* при употреблении *habe* выносит в память форму *gesagt*, выбранную уже одновременно со вспомогательным глаголом. Обратная связь вряд ли действительна для *habe* и для *gesagt* отдельно. Нельзя считать возможным процесс, при котором значимая форма *gesagt* будет выбираться отдельно от вспомогательного глагола *habe*. Это обстоятельство еще раз говорит о том, что сложная форма глагола является единой, разнесенной лишь дистантно, но не формально и содержательно.

Взаимодействие механизма обратной связи и памяти является предпосылкой не просто создания корректных высказываний, но и однозначного смыслового наполнения каждой из них. В данном случае речь должна идти о неразрывной связи семантики (смысла) и языковой формы, ибо на основе обратной связи воспроизводится адекватно условиям вербальной коммуникации не сама по себе языковая форма, а форма, адекватно выражающая семантическую интенцию говорящего.

Возьмем русское предложение: «Современное производство требует, чтобы каждый работник ясно представлял себе свое место в трудовом процессе, знал, что и зачем он делает, что от него зависит, чувствовал, что его труд — необходимая часть общей работы» (Правда, 1981, 25 мая). Выбор предмета высказывания (в данном случае свойство, детерминированное предыдущей ситуацией в коммуникации), конкретизированного через определение *современное* и предварительно полученного через обратную связь, зафиксировано в памяти и создает начальное словосочетание в роли субъекта высказывания. Это по определению ведет к необходимости дальнейшего развертывания структуры через глагол *требует*, найденный для данной ситуации в результате некоторого перебора единиц из соответствующего глагольного поля и удерживаемый в качестве начала фразы в памяти. Постановка в качестве конечного элемента формы *работы* следует далее из всей синтагмы. Здесь важно напомнить, что взаимодействие памяти и механизма обратной связи имеет свои нейропсихологические закономерности и описано в соответствующей литературе в качестве гипотезы Ингве о глубине построения фраз с объемом 7 ± 2 узла. Биологические закономерности накладывают, разумеется, свои ограничения на способ организации речевой коммуникации в соответствии с возможностями восприятия мозга. Важно также подчеркнуть, что своеобразным детонатором речевого акта выступает потребность общения как элемент предметной деятельности человека, а само речеобразование поддерживается и стимулируется необходимостью передачи сообщения конкретному члену социума.

Обратная связь в логическом аспекте настраивается на информативное сообщение о соответствующем объекте — предмете коммуникации (предмете текста), психологическая же сторона коммуникации обращена к поведению партнеров в плане установления взаимопонимания. На основе взаимопонимания строится уже структура коммуникации как логически обоснованное рассуждение об определенном предмете (логическая обоснованность в данном случае является более широким понятием, чем такие его виды, как доказательство, объяснение и т. д.).

Непрерывный перебор языковых единиц как из класса номинантов (слов и словосочетаний), так и из класса коммуникативных единиц (высказываний) не может происходить нераздельно по уровням, например, путем сложения слов в словосочетания с последующим построением из них высказывания. Такой механизм процесса мало вероятен, потому что он лишен объединяющего начала — интенции, которая путем постоянной проверки на адекватность ситуации формируется человеком одновременно с учетом адекватности выбора номинативных единиц для достижения

основной цели общения — информации и взаимопонимания. Это обстоятельство может говорить также о том, что полноценной единицей общения, в пределах которой происходит заполнение элементами-кирпичиками цельного блока общения, является высказывание. Сам по себе замысел в виде определенной мысли формируется в процессе взаимодействия конкретного человека с конкретной ситуацией также по принципу обратной связи, поскольку адекватность формирования замысла определяет успех не только речевого общения, но и деятельности человека применительно каждый раз к конкретной ситуации. Более того, конкретная ситуация, в которой взаимодействует человек с окружающей средой (время, люди, события), в речевой трансформации представляет собой не что иное, как тот реальный контекст, в котором значащие единицы приобретают точное значение в их соотношении с отражаемыми объектами и ситуациями. Контекст в процессе речевого общения состоит соответственно из двух уровней — контекст материальный (совокупность объективных условий общения, включая всю предысторию — пресуппозицию соответствующей ситуации, объективно сохраняемую в памяти человека) и контекст языковой (речевой), который определяет выбор той или иной языковой единицы в тексте (высказывании). Нельзя упускать из виду именно это важнейшее обстоятельство, которое полностью соответствует характеру взаимодействия человека с миром и является предпосылкой адекватности отражения в речемыслительной деятельности объективных событий. А. В. Брушлинский считает, что «в ходе непрерывного взаимодействия с объектом человек в процессе мышления оперирует не с самими по себе понятиями, словами, знаками, символами, значениями, смыслами и т. д., а именно с объектом, определяемым в понятиях, т. е. выступающим в разных качествах по мере его включения в разные системы связей и отношений» [1, с. 36].

Например, простейшая фраза *Я болен* в реальном контексте общения (например, при ответе на вопрос *Будете ли Вы сегодня на работе?*) вмещает в себе, во-первых, информацию о физическом состоянии человека, что является результатом образования данной фразы на основе элементарного выбора языковой единицы, которая адекватно выражает некоторую реальную ситуацию (болезнь человека), и, во-вторых, результатом перебора всех условий, которые связаны с информацией, заключенной в этой фразе (по принятым в данном коллективе нормам болезнь является категорическим условием, разрешающим отсутствовать на работе). Все эти моменты, вместе взятые, составляют ту необходимую совокупность объективных и субъективных условий, которые в процессе непрерывной проверки через обратную связь на адекватность взаимодействия человека с реальной ситуацией обеспечивают содержательно-полноценное и в идеале адекватное взаимодействие человека с реальным миром, с одной стороны, и взаимопонимание людей с помощью вербального общения — с другой.

Корректность языковых единиц в самом речевом процессе устанавливается, как и вся речемыслительная деятельность, на основе проверки через обратную связь правильности выбора той или иной языковой формы (слово, падеж, морфема, грамматическая форма и т. д.). Можно предположить, что этот выбор при линейном развертывании самого высказывания целиком опирается на парадигматическую основу языка. В линейном процессе, т. е. в синтаксической структуре, сцепляются языковые формы, которые говорящим выверяются и выбираются на основе определенного запаса языковых знаний (компетентности), что обеспечивает ему владение языком. Например, пометка в каком-либо месте высказывания (в начале, в середине или в конце) имени в именительном падеже в русском языке требует неизбежно такой личной формы глагола, которая соответствовала бы формам лица и числа исходного имени — подлежащего. Использование глагола в такой форме возможно лишь при условии, что коммуникант, имея в запасе весь парадигматический набор глагольных форм, присоединяет к подлежащему глагол именно в той форме, которая диктуется его парадигматическим статусом в данном синтагмати-

ческом контексте. Совершенно очевидно, что такой процесс протекает почти синхронно и не поддается в настоящее время какому-либо психологическому анализу. Тем не менее одновременное участие синтагматики и парадигматики в лексико-грамматическом оформлении высказывания подтверждается самим характером постоянной обратной связи языка, действующей в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Пересечение синтагматики и парадигматики в структуре высказывания порождает и многоуровневость самого высказывания, в котором, наряду с линейной зависимостью форм, образуется такая иерархия, в которой отдельные члены обладают зависимостью объектного характера (например, отношение атрибутивных членов группы субъекта и опосредованное отношение через субъект с предикатом обособленной конструкции, отношения предикаций в структуре сложноподчиненного предложения и т. д.) и создают картину многоуровневого синтаксиса языка.

Сложное взаимодействие синтагматических и парадигматических отношений, восходящих к системно-структурной организации языка, каждый раз находят отражение в образовании конкретного высказывания. Оно является для коммуникантов определенной языковой базой, благодаря которой осуществляется как индивидуальный акт общения, так и весь многозвенный акт общения в коллективе в целом.

К изложенной гипотезе имеет прямое отношение и положение об опережающем отражении действительности, разработанное в советской науке главным образом Д. Н. Узнадзе и П. К. Анохиным [17]. Согласно этой концепции предполагается, что человек (вообще все виды живых существ) обладает способностью на основе врожденного и приобретенного опыта предвидеть развитие ситуативных обстоятельств и настраиваться на определенную реакцию с некоторым упреждением вероятностного хода событий [18, 19].

При переходе к речевой деятельности эта общая установка реализуется в виде предварительного программирования, составления некоторой общей схемы развития мысли, а следовательно, и ее речевого оформления. Предполагается в этом случае, что говорящий имеет план построения определенной смысловой линии, которая обязывает к выбору определенных языковых средств. Другими словами, «смысловое предвосхищение подчиняет себе все языковые гипотезы, ограничивая число их вариантов и облегчая предвосхищение на вербальном уровне» [19, с. 26].

Если и соглашаться с психологами в том, что первоначально человек имеет уже представление о будущей конкретной мысли, облакаемой в конкретное высказывание (хотя это представление можно назвать еще только общей или предварительной программой, причем эта программа предусматривает развертывание соответствующего высказывания тем способом, который был уже предвосхищен), то и в данном случае остается открытым вопрос о полной реализации опережающего замысла в речевой форме. Предполагать, что предвосхищение определяет целиком конкретное высказывание, значит снимать сам процесс рационального мышления и вербального механизма осуществления данного процесса в коммуникации.¹ Дело в том, что именно построение самой фразы, другими словами, корректное языковое оформление соответствующей мысли, может строиться на той базе, которая была изложена нами выше, а именно, на базе обратной связи [постоянной динамической проверки соответствия запрограммированной (предвосхищенной) мысли ее адекватной языковой организации]. Именно снятие всевозможных вероятностей выбора тех или иных языковых средств и составляет процесс речевой деятельности и он может протекать как развертывание текста на основе обратной связи.

Когда говорят, что «еще до начала предложения есть представление о некоторой структуре будущего предложения, о его сочетательной схеме, и она в не меньшей степени „обязывает“ его к произнесению определенных слов еще до того, как произнесено первое из них» [19, с. 26], то это надо понимать так, что развертывание этой схемы, например, построение сложного предложения или простого, выбор словосочетания составляет творческий процесс, а не простую выдачу готовых языковых блоков.

Даже простая мысль с предвосхищенной общей схемой *Я пойду сегодня в театр* в соответствии с обстоятельствами может быть развернута за счет различных дополнительных членов предложения и типов связи внутри его (*Я пойду сегодня в театр на новую оперу; Я пойду сегодня в театр на новую оперу, так как хочу послушать нового певца* и т. д.).

В этом плане положение об опережающем отражении действительности или, более конкретно, о предвосхищении каждый раз смысла и языковой формы текста как первый этап или первая фаза мыслительной деятельности должно быть дополнено вторым этапом, а именно, этапом непосредственного вербального развертывания мысли, которое не уместается в общую схему предвосхищения, а реализуется в непрерывной динамике, проверке на адекватность выбора языковых средств и выражаемой мысли.

Действие механизма обратной связи в речетворчестве опирается на законы, свойственные всему материальному объективному миру, поскольку непрерывный отражательный процесс, участвующий в создании осмысленной и адекватной реальной ситуации текстов, проходит в постоянном взаимодействии говорящего субъекта с объективными условиями, определяющими характер вербальной коммуникации. Это взаимодействие есть непрерывный процесс регулирования и проверки языковой организации текста (сообщения) с целью правильности отражения в речевой структуре объективных фактов, явлений, событий. Именно этот процесс дает возможность избежать интерпретации речевой деятельности человека как имманентно заданной особой духовной силы человека (в диапазоне от мистической спонтанности речи до понятия врожденных идей).

Изложенная в данной статье гипотеза о языковом механизме порождения речи в какой-то степени может объяснять сам процесс образования конкретных языковых единиц (высказываний, текста), однако в связи с тем, что при исследовании языка наука имеет дело, как правило, лишь с результатами речевой деятельности (произнесенный или записанный текст), возникшая в истории языкознания и психологии идея «черного ящика» (свидетельствующая скорее о пессимизме, нежели о надежде в ближайшее время раскрыть внутренний механизм речеобразования) может долго оставаться гипотезой, пока объективные исследования, включая экспериментальные и инструментальные, не приоткроют завесы над механизмом творческой речемыслительной деятельности человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брушлинский А. В. Мышление как процесс и проблема деятельности. — Вопросы психологии, 1982, № 2.
2. Братко А. А., Кочергин А. Н. Информация и психика. Новосибирск, 1977.
3. Анохин П. К. Методологическое значение кибернетических закономерностей. — В кн.: Материалистическая диалектика и методы естественных наук. М., 1968.
4. Анохин П. К. Кибернетика и интегративная деятельность мозга. — Вопросы психологии, 1966, № 3.
5. Амосов Н. М. Мышление и информация. — В кн.: Проблемы мышления в современной науке. М., 1964.
6. Вулдридж Д. Механизмы мозга. М., 1965.
7. Давыдов В. В. Анализ структуры мыслительного акта. Сообщение I. — Доклады АПН РСФСР, 1960, № 2.
8. Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М., 1971.
9. Земан И. Познание и информация. Гносеологические проблемы кибернетики. М., 1966.
10. Земан И. Проблемы мышления в современной науке. М., 1964.
11. Радченко А. Н. Моделирование основных механизмов мозга. Л., 1968.
12. Рейман У. Познание и мышление. Моделирование на уровне информационных процессов. М., 1968.
13. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
14. Тихомиров О. К. Структура мыслительной деятельности человека. М., 1969.
15. Лурия А. Р. О двух основных классах афазических нарушений речи. — В кн.: Проблемы афазии и восстановительного обучения. М., 1975.
16. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975.
17. Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980.
18. Зимняя И. А. Опережающее отражение в речевом поведении. — ИЯВШ, 1974, вып. 8.
19. Левашов А. С. Предвосхищение в речевой деятельности. — ИЯВШ, 1982, вып. 17.

ОЛЬШАНСКИЙ И. Г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМАНТИКИ СЛОВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При всей лингвистической неопределенности слово и предложение являются центральными понятиями языка и основными его единицами, обеспечивающими отражательную, номинативно-классификационную и коммуникативную деятельность. Эти категории исторически изменчивы и во всякой живой языковой системе соотносительны и дифференциальны [1, с. 12]. Некоторые аспекты семантического и функционального взаимодействия этих единиц, а также пути их исследования в лингвистике составляют предмет рассмотрения в данной статье.

Анализ взаимоотношений между словом и предложением важен не только для грамматики. Он необходим также и для решения актуальных вопросов лексикологии, разработки теории номинации, синтаксической семантики, теоретической и практической лексикографии.

Корреляция слова и предложения — один из лингвистически существенных факторов, определяющих типологическую классификацию языков [2]. Именно в слове и в предложении воплощаются основные компоненты нашего мышления [3].

Функционально-семантические корреляции слова и предложения-высказывания определяются четырьмя факторами. Этими координатами являются: компоненты семиозиса, совокупность основных функций языка, специфика языкового знака, уровни лингвистического анализа. Попробуем на этой основе установить характерные черты сходства и различия в семантике двух основных единиц языка.

Факторы семиотической ситуации (познающий субъект, язык, мышление, объективный мир) определяют аспекты языкового знака: а) материальную сторону (его звучание, написание), в) объект (референт, денотат), с) мыслительный образ, отражение объекта в сознании. Каждый знак соотносится с другими знаками языковой системы (структурно-функциональный аспект).

В соответствии с различными аспектами знака можно выделить три направления в изучении лексического значения. 1) При узко денотативном подходе к семантике сторонники реляционной теории языка исходят из того, что «значений как особых сущностей не существует. Объектами, представляющими смысловую сторону языка, могут быть (и обычно являются) денотаты» [4]. Ориентация плана содержания исключительно на внелингвистические факторы приводит к тому, что значение выносится за пределы языка, объективность существования слова подвергается сомнению, а лексика рассматривается как «неформализуемый остаток», как «привесок» к грамматике. 2) Сторонники сигнификативной (логической) концепции семантики приравнивают значение слова к понятию, которое закреплено в слове. Вместо «лексического значения» предлагается термин «лексическое понятие» [5]. Это обозначение относится скорее к метаязыку науки. Сводя лексическое значение к понятию, мы невольно отождествляем язык и мышление, отрицаем национально-историческую специфику естественного языка. 3) Представители функционально-структурного подхода к языку, характерного для Пражской школы, уделяют основное внимание плану выражения и технике соединения единиц, категориальному (грамматическому) значению классов слов. Лексическое значение понимается в рамках этого направления лишь как функция коммуникативного значения слова [6, с. 400]. Как известно, абсолютизация

одного из аспектов словесного знака (или какой-либо одной функции языка) тормозит развитие семантических исследований [7].

В советской лингвистике последних десятилетий утвердилось комплексное, системно-функциональное понимание лексического значения, основанное на изучении парадигматических отношений и синтагматических связей слов. Комплексный подход к семантике слова находит подтверждение в современной теории текста и коммуникативной лингвистике, в которых особую актуальность приобретают коммуникативно-прагматические аспекты лексической семантики.

По аналогии с различными подходами к значению слова выделяются следующие направления, изучающие семантику предложения.

1) Широко известна денотативная (референтная) концепция значения предложения, определяющая отношения между высказыванием и обозначаемой им ситуацией (В. Г. Гак, В. С. Храковский). Элементы ситуации соответствуют членам предложения — предикату и актантам, коррелирующим с ролевыми функциями «участников» события. При этом в соответствии с компонентами семиозиса ситуация трактуется по-разному: как экстралингвистическая, как семантическая (языковая) или же как психическая.

2) В логико-семантической теории значение предложения исследуется во взаимодействии с теорией референции, с отношениями экзистенции и идентификации [8]. В рамках этой теории выявлены закономерности формирования семантической структуры предложения, показана зависимость семантики слова от его коммуникативной функции. Ключевым понятием является понятие пропозиции, которую Н. Д. Арутюнова определяет как семантическую структуру предложения, объединяющую его денотативное и сигнификативное значения, причем последнему принадлежит центральная позиция [8, с. 37].

3) Функционально-грамматические теории предложения ставят своей целью выявить соотношенность в предложении его структурно-грамматических и семантических признаков. Г. А. Золотова выделяет типовые значения моделей предложения («предмет и его качество», «субъект и его действие/состояние» и т.п.) [9]. Н. Ю. Шведова объясняет семантику формально-синтаксических моделей предложения через взаимодействие категориального и конкретного значений и определяет семантическую структуру предложения как закрепленное в языковой системе соотношение типизированных элементов смысла [10].

Еще одним базовым понятием, которое выводится из структуры семиотической ситуации и отражает полифункциональность языка, является совокупность языковых функций. В этот набор входят: коммуникативная, номинативная, когнитивная (познавательно-обобщающая) и прагматическая функции. В слове и предложении эти функции преломляются по-разному. Перераспределение языковых функций в слове и предложении можно представить следующим образом (знаки +/— символизируют наличие / отсутствие, ++ особую активность данной функции): коммуникативная: (С) +/—; (П) ++; номинативная: (С) ++; (П) +; когнитивная: (С) +; (П) +/—; прагматическая: (С) +/—; (П) ++.

Данная схема помогает прояснить соотношение семантики знаков языка и знаков речи. А. А. Уфимцева считает, что означаемые номинативных и предикативных знаков различаются не столько по объему, сколько по содержанию и асимметричной конфигурации семных составов [11]. В слове и предложении совпадают в большой мере функция наименования и денотативная отнесенность, т. е. указание на предмет, ситуацию, событие. Основу семантики предложения составляют коммуникативно-прагматические компоненты: речевое намерение, модальность высказывания, соотношенность сообщения с моментом речевого акта, пресуппозиция.

Нельзя не отметить различную степень изученности отдельных аспектов значения слова и предложения, а также ориентацию этих единиц на те или иные языковые функции. Как полагает Н. Д. Арутюнова, самым большим местом семантических теорий предложения является проблема денотации (референции), т. к. референтом предложения считают

мир, факт, событие, психическую ситуацию, истинностное значение [8, с. 36]. Камнем преткновения в лексической семантике является с и г н и ф и к а т слова, отражение в нем результатов познавательно-обобщающей деятельности. Значения многих слов постоянно углубляются и обогащаются новыми понятийными признаками (например, по данным современных словарей, в значение слова *самолет* включен новый содержательный признак «наличие турбовинтового или реактивного двигателя»). Содержательная характеристика одного и того же слова (при практически одинаковом объеме понятия) оказывается различной у взрослых и детей, специалистов и дилетантов, у носителей литературной нормы и диалекта. Становится актуальным вопрос о «социально обусловленной поливариантности» слова и его значения.

С различными функциями языка коррелируют обобщенные логико-грамматические категории, выделяемые в семантике предложения: отношения экзистенции, отношения идентификации (тождества), отношения номинации и отношения характеристики (предикации в узком смысле) [8, с. 18]. Функциональную ориентацию обнаруживает семиологическая классификация слов, включающая характеризующие (называющие) знаки, индивидуализирующие знаки (имена собственные), квантитативные и дейктические знаки [12]. Количественно и качественно преобладают в языке характеризующие классы слов и предложения характеристики.

Следующим фактором, воздействующим на семантику слова и предложения, является закон асимметричного дуализма языкового знака, констатирующий отсутствие взаимно-однозначного соответствия между означающим и означаемым. Различаются три вида асимметрии знака: 1) парадигматическая (полисемия, синонимия), 2) синтагматическая (во фразеологии); 3) семиотическая (лексические и грамматические лакуны в одном языке по сравнению с другим) [13]. Все три вида асимметрии проявляются и на уровне предложения. Так, высказывания могут быть многозначными (предложение *Этот человек интересен всем* двузначно) и синонимичными (*Он зашел — Он начал/стал петь; Его знобит — У него озноб*); могут включать фразеологизмы, аналитические конструкции (*Он оказал ей помощь = помог*); содержать слова и словоформы, которым нет соответствий в других языках (*er ist gekommen* «он пришел», *willkommen!* «добро пожаловать», *seine scharfe Art erregt bei vielen Anstoß* «его резкость многих шокирует»).

Но и здесь сказывается принадлежность сравниваемых единиц к разным уровням. «Асимметрия языкового знака, столь ярко проявляющаяся на уровне слова и грамматических категорий частей речи, чрезвычайно возрастает на уровне словосочетания и еще более на уровне предложения» [14, с. 13]. По мнению О. И. Москальской, асимметрия на синтаксическом уровне выражается в отсутствии взаимно-однозначных соответствий между разными видами синтаксических значений; в совмещении в одной синтаксической форме комбинаторных операций одного или разных уровней; в совместном участии нескольких языковых средств в одной комбинаторной операции [14, с. 13—14].

Опираясь на положение об асимметричном дуализме знака, одни лингвисты постулируют автономность синтаксической и семантической структур предложения, другие же заняты поиском взаимообусловленных связей между обоими уровнями [15, с. 50]. Считая более плодотворным второе направление, Г. А. Золотова при анализе русского синтаксиса исходит из того, что «основные модели предложений отличаются простейшей организацией, т. е. симметрией в синтаксическом, морфологическом и семантическом строении, а также экспрессивной нейтральностью» [15, с. 58]. Модификации и варьирование структурных схем предложения, таящие в себе большие экспрессивные возможности языковых единиц и синтаксических структур, приводят к «рецидиву» асимметрии. Если же сравнивать «вход» и «выход» коммуникации, т. е. интенцию и коммуникативный эффект, то здесь следует констатировать наличие соответствия между обоими планами. Механизм снятия асимметрии в высказывании и тексте требует специального исследования.

Тезис об асимметрии сторон знака имеет ряд следствий, объясняющих специфику слова и предложения и уточняющих их языковой статус (относительность языкового значения, понятие формально-семантического инварианта, категория эксплицитности/имплицитности, понятие лексико-семантической микросистемы и др. — подробнее об этом [16]).

Важным фактором, определяющим семантику слова и предложения, являются уровни лингвистического анализа [17]. Вопреки точке зрения Э. Бенвениста, считавшего предложение высшим уровнем, «венцом» языка, уровневая концепция была расширена за счет включения в нее текста как уровня речи, интегрирующего предложения и сверхфразовые единства.

Анализ языковой системы может осуществляться в двух направлениях: «снизу» (от различительных признаков фонем через фонему и слово к предложению и тексту) и «сверху» (от текста и предложения к слову и ниже). Его эффективность обеспечивается синтезом «восходящих» и «нисходящих» операций [18]. Утверждается, что разложение языковых единиц дает нам их формальное строение; интеграция же дает значимые единицы. Двунправленный анализ приводит к выявлению либо формы, либо значения в одних и тех же языковых единицах [17, с. 136].

Следует постоянно учитывать, что одна и та же языковая единица подчиняется в системе языка и речи разным закономерностям. Если в системе преобладают оппозитивные и иерархические отношения единиц и уровней, то в речи действуют вероятностно-статистические закономерности, которые могут проявляться в относительном функциональном равноправии единиц разных уровней.

Наличие формы и содержания у языковых единиц определило два подхода к изучению слова и предложения. Традиционные области лексикологии — семасиология (движение от формы к значению) и ономасиология (от понятия, значения к языковой форме) — пересекаются со словоцентрической и текстоцентрической концепциями [19].

Сочетание двух линий исследования определило структуру грамматической теории языка О. Есперсена, в которой морфология по направлению анализа соответствует семасиологии, а синтаксис — ономасиологии [20]. В последнее десятилетие «лексическая» ономасиология, усиленная за счет функциональных аспектов синтаксиса и словообразования, трансформировалась в современную теорию языковой номинации. Эффективность синтеза обоих подходов к изучению языковых фактов подтверждается целым рядом исследований, в которых слово и предложение рассматриваются в единстве их форм и функций [21, 22].

Поскольку слово и предложение образуют разные (соседние в иерархии) уровни, отношения между ними определяются как интегративные. При этом взаимодействуют и форма, и значение обеих единиц. У слов, включенных в предложение, как правило, наблюдается «приращение смысла».

Значение слова и семантика (смысл) предложения различаются по своим характеристикам. Словесное значение понятийно и «полисемично» (не обязательно многозначно), оно содержит несколько семантических признаков. Н. Д. Арутюнова указывает: «Предложение... моносемично и не выражает понятия, которое бы участвовало в процессе расчленения действительности носителями языка. Смысл предложения не закреплен языковым кодом» [6, с. 308]. Слово в системе языка обладает потенциальным значением, слово в речи (синтаксическое слово, член предложения) имеет потенциальный смысл.

В слове как языковом знаке проявляется единство языка и мышления. В предложении устанавливается, по словам Н. Д. Арутюновой, связь между миром и человеком [8, с. 378]. В отличие от слова предложение представляет собой не единый, а расчлененный, комбинированный знак события. Движение от слова к предложению — это процесс неизбежного разделения денотата и сигнификата. Глагол как потенциально предикативный знак также обладает этой особенностью предложения: в отличие от имени денотат и сигнификат в глаголе разделены.

Слово и предложение — единицы полифункциональные. Многослойность и негомогенность слова проявляется в том, что оно выступает по меньшей мере в трех разновидностях: как знак, как единица лексической и лексико-семантической систем и как элемент грамматического строя языка. Модусы существования слова — лексема, лексико-семантический вариант и словоупотребление в речи (тексте). «Структура слова, рассматриваемого с точки зрения соотношения означающего и означаемого, довольно проста, структура слова как элемента строя и семантической структуры языка — сложна» [23]. В силу знаковой природы слово стремится к сохранению единства сторон знака и устранению их асимметрии. Этому способствуют морфологическое опрощение, универбация, омонимическое расщепление многозначного слова.

В функциональном отношении слово отличается известной неопределенностью. В. В. Виноградов писал, что в системе языка слово есть только форма отношений между морфемами и предложениями, которые являются основными функциональными единицами речи [1, с. 15]. Двойственное положение слова дает некоторым лингвистам основание относить его — при нисходящем анализе от предложения к слову — к второстепенным уровням языка [24].

Еще большую сложность структуры и семантики обнаруживает предложение. «Сложный знаковый характер предложения и как единицы номинативной, и как единицы когнитивной и коммуникативной, делает его центром пересечения целого ряда денотативных, сигнификативных, семантико-синтаксических, коммуникативно-грамматических и структурных значений» [14, с. 9].

С точки зрения номинативного аспекта предложения эта единица предстает как сложный (полный) знак по отношению к простым (частичным) знакам — словам. Если в плане номинации предложение является высшей единицей, то по своей коммуникативной и когнитивной функции предложение оказывается минимальной синтаксической единицей — компонентом текста [14, с. 10]. В структуре предложения выявляются четыре слоя категорий: семантико-синтаксические (агентивность, процессуальность, адресат и др.), структурно-синтаксические (подчинение, сочинение), коммуникативно-грамматические (предикативность), категории актуального членения (тема, рема и т.п.) [14, с. 12]. Как единица языка предложение сводится к структурной схеме (модели, пропозициональной функции) [21, с. 355], как единица речи актуализованное предложение образует высказывание.

Функционирование слова и предложения/высказывания в коммуникации основано, очевидно, на принципе контрапункта. Текст строится таким образом, что тематические ведущие слова и ключевые предложения как бы поочередно дают «всплески» информации, вступая в отношения гармонии и контраста, взаимно усиливая или нейтрализуя друг друга. В рамках текста слово и предложение утрачивают автономность, передавая сообщению свой информационный потенциал и способствуя тем самым выполнению общего коммуникативного задания. Роль отдельных слов (словоформ) возрастает в высказываниях, не соответствующих структурным схемам предложения (например, в диалогических репликах, при парцелляции и т. п.).

В слове и предложении выделяются различные уровни языковой абстракции. Как показывает исследование семантики существительных, значения полисемантических слов в системе стремятся к сохранению одинакового уровня обобщения, реализация слов в тексте основана на принципе чередования различных уровней языковой абстракции [16, с. 76].

Суммируя изложенное, сопоставим обе единицы по некоторым важным параметрам: слово — единица номинации, закрепляет понятие, оно абстрактно, полисемично, ориентировано на единство «язык — мышление», имеет значение; предложение — единица коммуникации, выражает суждение, оно конкретно (отвлекаясь от высказываний с квантором всеобщности), моносемично, соединяет язык и действительность, имеет смысл.

При порождении высказывания переход от слова к предложению происходит поэтапно, интегральным способом. «Посредником» между ними является член предложения — категория, опосредствующая связь слова и предложения [25, с. 21]. Проекция указанной триады в функционально-семантическую область дает сочетание: номинация — формы слова (ЛСВ) — коммуникация. На эту общность со всей определенностью указывал В. В. Виноградов, связывавший переход от номинативной функции словесного знака к семантическим формам самого слова с коммуникативной функцией речи [1, с. 17].

Развитие теории номинации и теории коммуникации (вместе с лингвистикой текста) должно подкрепляться опосредствующим звеном — современной теорией семантической структуры слова и семантико-функциональной теорией полисемии [16, с. 8].

Необходимо отметить, что на смену аналитической концепции построения предложения приходит синтезирующий, интегральный подход, в соответствии с которым механизм языкового порождения нацелен прежде всего на порождение целых высказываний, а не на алгоритм простого сложения слов [26, с. 53].

Дифференциальная характеристика слова и предложения помогает обнаружить общие черты в их семантике и функциях. С этой целью используется понятие изоморфизма. В математике под изоморфизмом понимают соответствие (отношение) между объектами, выражающее тождество их структуры. Применительно к слову и предложению изоморфизм проявляется в наличии аналогичных признаков в их семантике, структуре и функциях, а также в аналогичных отношениях между элементами структуры. В логике такой корреляции слова и предложения соответствуют изоморфные отношения между понятием и суждением. Понятие — это свернутое суждение, суждение — определенное сочетание понятий.

Семантический изоморфизм (изосемантизм) слова и предложения подтверждается тем, что семантические трансформации наименования и в том, и в другом случае следуют единой для человеческого мышления логической классификации понятий [27].

В функциональном плане общим признаком слова и предложения является возможность их регулярных взаимопереходов. В грамматике слово рассматривается как предельный минимум предложения (Э. Сепир, Л. В. Щерба). Межуровневое взаимодействие языковых единиц подчиняется определенным закономерностям. При «восходящем» переходе языковая единица повышает свой функциональный ранг, приобретает функции, свойственные более высокому уровню (слово приравнивается функционально к предложению). При обратном движении «верхняя» единица уравнивается с нижестоящими в формально-структурном отношении (предложение получает цельнооформленность слова; превращаясь в морфему, слово теряет отдельность).

Положение об изменении функции или формы языковой единицы при «смене» уровня согласуется с тезисом Е. Куриловича о соотношении между первичными и вторичными формами и функциями [28]. Из этого следует, что такие, казалось бы, разноплановые явления, как взаимодействие лингвистических уровней, процессы прямой и косвенной номинации, соотносительность полисемии и синонимии, регулируются одним языковым механизмом. Как считает Э. Бенвенист, «отношение интеграции» (т. е. взаимные отношения между элементами разных уровней) построено по той же модели, что и пропозициональная функция Б. Рассела [17, с. 135].

Категория предикативности является, как известно, конституирующим признаком предложения. Потенциально, в виде коммуникативной предназначенности она присутствует также в слове. Еще Аристотель считал свои десять категорий, которые соответствовали частям речи современного ему греческого языка, потенциальными предикатами любого объекта [17, с. 106].

В языке существуют классы слов, которые обладают ярко выраженными предикативными признаками. Это прежде всего глаголы и прилагательные. Категории лица, наклонения и времени, включающие глагольное

слово в механизм актуализации, характеризуют предложение/высказывание в целом. Благодаря указанным категориям глагол (сравнительно с другими классами слов) стоит ближе всего к предложению. Среди существительных особое место занимают абстрактные имена (отглагольные и отадъективные). Словосочетания с этими именами, эквивалентные предложению (*satzwertige Wortgruppen*), служат, подобно предложению, знаком целой ситуации (*писатель получил премию — получение премии писателем*). В некоторых логических теориях предложения наречия, прилагательные и числительные, выступающие в функции обстоятельств, определений, квантификаторов, относятся ко всему высказыванию и рассматриваются как предикаты второй ступени (предикаты от предикатов) [29].

Если рассматривать предикацию как процесс отнесения содержания высказывания к действительности, а предикативность — как выражение языковыми средствами установленного отношения (т. е. как результат процесса и свойство предложения, его категорию), то эти понятия можно соотнести с мотивированностью языковой единицы. Мотивированность проявляется в приписывании (предипировании) какого-либо характерного признака данному предмету (понятию). Иначе говоря, мотивированность — это предикативность (предикация) в диахронии, ставшая фактом языковой системы. Очевидна также аналогия между такими явлениями, как актуализация слова (перевод слова из языка в речь) и предикативность как «поворот» предложения к действительности. Общим параметром слова и предложения (равно как и других языковых единиц) является понятие «инвариант — варианты» [25, с. 213].

Изосемантизм слова и предложения, как можно предполагать, в определенной степени компенсирует асимметрию формы и содержания единиц обоих уровней. Но если контекст — это синтагматическое средство снятия асимметрии, то изосемантизм слова и предложения следует отнести к парадигматическому аспекту лингвистического анализа.

Тезис об изоморфизме центральных единиц языка получает поддержку в современных направлениях лингвистических исследований. Коммуникативная лингвистика, разрабатываемая как теория высказывания и теория текста, исходит из того, что структура высказывания должна вскрывать весь механизм функционирования языка, в том числе и семантическую организацию слова [26, с. 52].

На основе корреляций между предложением и словом строится семиологическая грамматика. В контексте этой теории также доказывается глубокая аналогия между семантическим строением имени (отдельного слова) и семантическим строением предложения [21, с. 10].

Взаимное влияние теории слова и теории предложения проявляется в переносе понятий и категорий одного исследовательского объекта на другой, в своеобразном «круговороте терминов и идей» (Р. Якобсон). Перечислим основные понятия и подходы, заимствованные из теории слова и успешно применяемые в современных концепциях предложения (формула $C \rightarrow P$):

а) Семантическая структура предложения (смысл предложения) — это абстрактное языковое значение предложения, способ представления действительности в мышлении и языке («предмет мысли + признак», «деятель + действие + объект действия» и др.) [30]. Понятие семантической структуры предложения, возводимое к идее асимметричного дуализма знака, способствует раскрытию содержательной стороны единицы сообщения [31, с. 24]. Исследователь при этом отвлекается от синтаксической («поверхностной») структуры предложения и его коммуникативных свойств, сосредоточивая внимание на соотношении предложения и обозначаемой им ситуации, на пропозитивной номинации. По аналогии с содержательной стороной слова в семантике предложения различают денотат и сигнификат.

б) С точки зрения номинативного аспекта предложения, противопоставляемого его коммуникативному аспекту, предложение соотносится со словом (например, с названиями событий) и некоторыми типами слово-

«сочетаний». Семантическая структура предложения, взятого в номинативном аспекте, изоморфна структуре отражаемой им реальной ситуации [31, с. 26]. Компонентам смысловой структуры предложения приписываются функции, выполняемые «участниками» ситуации по отношению к действию, состоянию, свойству. Эти «участники» называются по-разному — актанты, партиципанты, семантические аргументы, «глубинные падежи». Число актантов не может быть установлено точно, оно варьируется в зависимости от степени дробности при членении логико-семантического континуума. Обращает на себя внимание следующая зависимость: количество актантов («семантических падежей») в разных концепциях каждый раз примерно удваивается: три (Л. Теньер) и четыре (А. Греймас), семь (Ч. Филлмор, В. Г. Гак, Т. П. Ломтев); тринадцать (В. Кюршнер) и четырнадцать (Т. Б. Алисова, В. В. Богданов) и, наконец, пятьдесят (Н. Н. Леонтьева) [31, с. 27].

с) Понятие «глубинного падежа» стало одним из основных в семантических теориях предложения благодаря разысканиям лингвистов, вскрывших логико-семантический характер грамматических падежей (А. Марти, Э. Кассирер, Л. Ельмслев, Р. Якобсон, О. Есперсен). Ч. Филлмор понимает «глубинный падеж» как обобщенное отношение между содержанием глагола и содержанием именной группы.

d) Понятие валентности переносится со слов на предложение (в особенности на различные типы придаточных). Связанные с валентностью явления автосемантии и синсемантии характеризуют не только смысловую структуру слова, но и семантику предложения в гипотаксисе [32].

е) Содержание традиционного термина «парадигма» вышло за рамки теории частей речи. Применительно к предложению парадигма понимается как многомерная система грамматических форм предложения, противопоставленных по цели высказывания, по утвердительности/отрицательности, по модальности [14, с. 8].

f) Интегральный подход к порождению речи делает возможным перенос понятия «внутренней формы», традиционно связанного со словом и природой языка, на предложение-высказывание [33]. В отличие от слова высказывание обладает явной и подвижной внутренней формой, основанной не на одном (как у слова), а на ряде признаков, отражающих элементы ситуации и отношения между ними.

g) Семантические категории лексики (полисемия/омонимия, синонимия, антонимия и др.) транспонируются в современных исследованиях и в область фразеологии [34], и в сферу грамматики, включая теорию предложения [35]. Полисемия слова и полифункциональность синтаксической конструкции приводят к многозначности высказывания. Эти характеристики слова и высказывания учитываются в современных концепциях (художественного) текста, которые исходят из множественности смысла текста при его восприятии и интерпретации.

h) Парадигматические и синтагматические отношения, свойственные слову и другим языковым единицам, экстраполируются на предложение как элемент текста и на сам текст. Парадигматика художественного текста, лежащая за его пределами, представляет особые трудности при анализе [36].

i) Идея семантического треугольника, отражающего соотношение слова, понятия (значения) и действительности, сохраняет свою объяснительную силу и для теории предложения. В этом случае «углы» занимают три величины: форма (синтаксическая структура) предложения, его смысл (семантическая структура) и стоящая за предложением ситуация.

Еще одно направление взаимодействия двух разделов лингвистической теории — от предложения к слову (формула $\Pi \rightarrow C$). Параллельно с разработкой проблем номинативного аспекта предложения идет процесс углубленного познания коммуникативной природы слова и его значения, изучается прагматическая предназначенность основной номинативной единицы. Как отмечает в этой связи Н. Д. Арутюнова, значение слов более, чем какая-либо другая категория языка, функционально обусловлено [37].

В лексической семантике и словообразовании успешно применяются понятия и методы коммуникативно-синтаксического плана (модальность, оценочность, «глубинные падежи», ролевые функции, теория графов, грамматика зависимостей и др.).

Анализ коммуникативного аспекта слова показывает, что элементы семантической микросистемы слова (прежде всего многозначного) и отношения между ними отражают структуру и компоненты высказывания. Этот аспект семантического взаимодействия предложения и слова должен стать предметом специального исследования [16].

Семантический изоморфизм слова и предложения проявляется в том, что в этих единицах воплощаются наиболее обобщенные речемыслительные (логико-семантические, понятийные) категории. Остановимся подробнее на этом вопросе. Выявлением данных категорий занимались О. Есперсен, Ф. Брюно, И. И. Мещанинов, С. Д. Кацнельсон, Б. А. Серебренников и другие лингвисты. Эти категории играют посредствующую роль между языком и мышлением [17, с. 106] и помогают раскрыть диалектику универсального, общего (в мышлении, логике) и отдельного, особенного (в конкретном языке). По мнению О. Есперсена, понятийные категории обращены и к действительности, и к языку. Нельзя, однако, согласиться с датским ученым, когда он приписывает этим понятиям внеязыковой характер.

Понятийные категории — это логические, мыслительные формы отражения и постижения действительности, выраженные языковыми средствами. Сходными по объему и содержанию являются термины: «функционально-семантические категории» (А. В. Бондарко), «ономасиологические категории» (М. Докулил, Е. С. Кубрякова), семантические оси (У. Чейф), а также «семантико-синтаксические категории» (О. И. Москальская), «глубинные (семантические) падежи» (Ч. Филлмор). Содержательное разграничение указанных терминов — специальная задача.

В широком смысле понятийные категории универсальны и формируются для того, чтобы показать различия в передаче определенных понятий в разных языках. В более узком смысле, оставаясь в рамках одного языка, они показывают разные средства выражения того или иного понятия в конкретном языке, например, функционально-семантические категории, грамматико-лексические поля (Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс). К выделению понятийных категорий ведут два подхода: дедуктивно-ономасиологический (ср. идеографическую систематизацию Р. Халлига — В. Вартбурга) и индуктивно-семасиологический. Более целесообразно, как считает Б. А. Серебренников, выводить понятийные категории не из логических понятий, а из материала конкретных языков и из опыта. Индуктивным является редукционный метод выделения речемыслительных категорий путем сведения многообразия языковых явлений (вариантов) к ограниченному числу абстрактных сущностей (инвариантов) [38].

Индуктивным путем, с помощью логико-семантического анализа четырехсот многозначных существительных немецкого языка, нами выявлен ограниченный набор семантических параметров-классификаторов (около сорока наиболее частотных: лицо, действие, результат, предмет, свойство, состояние, причина и др.). «Пучки» семем многозначных слов представляют собой комбинации классификаторов, которые могут быть сведены к ограниченному числу формул (моделей) регулярной полисемии. Среди классификаторов находим прежде всего частотные семантические падежи: агентив, результатив, инструментатив, темпоратив, локатив и др. В данном фрагменте лексико-семантической системы немецкого языка наиболее частотными оказались наборы семем, которые отражают семантические отношения: действие — результат, действие — место, действие 1 — действие 2, действие — совокупность, действие — инструмент, лицо 1 — лицо 2 (в широком и узком значении), действие — время, часть — целое и др.

Установлено, что среди субстантивных полисемантов со средним уровнем полисемии количественно преобладают абстрактные отглагольные существительные. Эти имена сочетаются с определенным набором семанти-

ческих падежей (пропозитивных значений) в синтагматике, «по горизонтали» и обнаруживают сходный набор семем в парадигматике, «по вертикали». В этом нельзя не видеть проявления семантического изоморфизма предложения и слова. Отметим, что еще М. М. Покровский установил закономерность семантического развития имен действия [39].

Философская категория объективного и субъективного получает в языке особое преломление. Синтаксис может рассматриваться как «субъективная» грамматика предложений, противопоставляемая «объективной» грамматике слов [6, с. 226]. Между предложением и словом возможна следующая параллель. Предложению свойственна объективная и субъективная модальность. По аналогичному признаку разграничиваются идентифицирующие слова (они объективны как имена вещей) и предикатная лексика, для которой в большей степени характерна субъективность. Коннотативно-стилистический аспект значения слова рассматривается иногда как его «лексическая модальность», которая вместе с понятийной и предметной отнесенностью слова образует его лексическое значение.

Основные виды синтаксической связи, реализуемые в предложении и словосочетании, — подчинение и сочинение — находят соответствие в лексике и семантической структуре слова. Все многообразие отношений в лексике (внутри лексем и между лексемами) может быть сведено к двум основным типам — это включение (гипонимические отношения) в парадигматике и семантическое согласование в синтагматике. В семантической микросистеме многозначных слов чаще представлены иерархические отношения подчинения при радиальной полисемии (производные ЛСВ подчинены прямому номинативному значению). В многозначных словах, стоящих на грани омонимии, имеется два или несколько центров семантической производности (аналог сочинительной связи). При характерной для многих слов радиально-цепочечной полисемии микросистема слов представляет собой сложное переплетение различных видов межсемемных отношений.

По аналогии с синтаксическими трансформациями производно-переносные значения слова-полисеманта можно рассматривать как «семантические трансформы» (Д. Н. Шмелев) прямого номинативного значения. Прямое значение является своеобразной «пресуппозицией» при осмыслении производных значений слова.

Подобно тому как при актуальном членении предложения различают тему — рему (данное — новое), так и в микросистеме слова при наличии новых значений (ЛСВ-неологизмов) можно выделить эти два компонента. Реализуясь в высказывании, новые значения сопровождаются эмфатическим ударением и обладают «эффектом новизны», например, *озадачить кого-л.*, «дать кому-л. задание, поручить кому-л. сделать что-л.» или в каламбуре *Езда в авто-машине стала обременительной* (т. е. необходимо пристегивать ремни). Связь лексики с актуальным членением высказывания проявляется также в том, что отглагольные и отадективные существительные (часто с развитой полисемией) выступают в тексте как способ тематизации ремы, ее перевода в сферу данного, известного.

Влияние теории предложения сказывается в области категориальной семантики (анализ семантической структуры глагола как отражение его валентных связей, установление соответствий между типами ситуаций и классами глаголов), а также в теории словообразования (представление словообразовательной модели как результата конденсации синтаксических отношений).

Интонация как важнейший признак высказывания, как компонент его плана содержания используется при анализе семантической структуры многозначного слова. Установлено, что производно-переносные значения различаются не только контекстом, но и — при определенных условиях — интонационным рисунком [40].

Встречное движение теории слова и теории предложения, их взаимное обогащение новыми идеями и концепциями плодотворно для науки о языке в целом. Лингвистические концепции, согласно которым действитель-

ная жизнь слова совершается в речи (А. А. Потебня) и язык — это анатомия предложения (В. А. Звегинцев), дополняют друг друга.

Дифференциация и интеграция знания — объективные тенденции развития науки. Риторический вопрос Г. А. Золотовой, «не увлекаемся ли мы дифференцирующим подходом к изучаемому объекту в ущерб интегрирующему, не переусложняем ли мы свои представления о нем, видя противоборство формы и содержания и недооценивая их гармонию» [15, с. 61], звучит как призыв к соблюдению равновесия этих двух тенденций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1972.
2. Солнцев В. М. Типология и тип языка. — ВЯ, 1978, № 2, с. 41.
3. Аракин В. Д. Об основных типологических единицах языка. — В кн.: Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965, с. 290.
4. Пелевина Н. Ф. Теория значения и опыт построения семантических полей (значения света и цвета). — Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1971, с. 8.
5. Вережагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980.
6. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
7. Филин Ф. П. О некоторых философских вопросах языкознания. — В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.
8. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
9. Золотова Г. А. Очерки функционального синтаксиса русского языка. М., 1973, с. 17.
10. Шведова Н. Ю. О соотношении грамматической и семантической структуры предложения. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 461.
11. Уфимцева А. А. Семантический аспект языковых знаков. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 41.
12. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974, с. 203.
13. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языка. М., 1977, с. 255.
14. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981.
15. Золотова Г. А. К типологии простого предложения. — ВЯ, 1978, № 3.
16. Ольшанский И. Г. Полисемия существительных в языке и тексте. М., 1982.
17. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
18. Якобсон Р. Итоги девятого конгресса лингвистов. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965, с. 586.
19. Медникова Э. М. Значение слова и методы его описания. М., 1974, с. 6.
20. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958, с. 33, 46.
21. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения (Семиологическая грамматика). М., 1981.
22. Kühn P. Der Grundwortschatz. Bestimmung und Systematisierung. Tübingen, 1979.
23. Аспекты семантических исследований. М., 1980, с. 10.
24. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976, с. 88.
25. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1977.
26. Колишанский Г. В. Проблемы коммуникативной лингвистики. — ВЯ, 1979, № 6.
27. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания. — В кн.: Семантическая структура слова. М., 1977, с. 83.
28. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962, с. 250.
29. Москальская О. И. Вопросы синтаксической семантики. — ВЯ, 1977, № 2, с. 50.
30. Москальская О. И. Семантическая структура предложения. — В кн.: Русский язык. Энциклопедия. М., 1979, с. 282.
31. Распопов И. П. О так называемой семантической структуре предложения. — ВЯ, 1981, № 4.
32. Гулыга Е. В. Автосемантия и синсемантия как признаки смысловой структуры слова. — ФН, 1967, № 2.
33. Гак В. Г. Высказывание и ситуация. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973, с. 371.
34. Stepanova M. D., Černyševa I. I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. М., 1975, S. 226.
35. Шендельс Е. И. Многозначность и синонимия в грамматике. М., 1970.
36. Лескис Г. А. Синтагматика и парадигматика художественного текста. — ИАН СЛЯ, 1982, № 5, с. 440.
37. Арутюнова Н. Д. Референция имени и структура предложения. — ВЯ, 1976, № 2, с. 35.
38. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 17.
39. Покровский М. М. Несколько вопросов в области семасиологии. — Филологическое обозрение. Т. XII. Кн. 1. М., 1897, с. 64.
40. Minaeva L. The semasiological analysis of a word in terms of lexicological phonetics. — In: Abstracts of section papers and working groups. The XIII-th International Congress of linguists. Tokyo, 1982.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

СТАРИЧЕНОК В. Д.

К ПРОБЛЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ ПОЛИСЕМАНТОВ

(На материале белорусских говоров)

Одним из существенных факторов, влияющих на организацию и развитие семантической структуры слова, является территориальное распространение отдельных лексико-семантических вариантов (в дальнейшем — ЛСВ). Этим фактором (и другими причинами, так или иначе с ним связанными) в сущности и определяется основное отличие семантики слова в народных говорах от литературного языка. Внимание к семантическому варьированию полисемантов в диалектной речи в последнее время все более возрастает. Этому способствует создание ряда национальных и региональных лингвистических атласов, работа над составлением ОЛА и ЛАЕ, значительное количество карт в которых посвящено семантике¹, а также интерпретация картографируемых явлений [6—11]. В работах теоретического и описательного плана (их не так много) вопросы полисемии в народных говорах чаще всего рассматриваются наряду с другими проблемами диалектной лексики или частными вопросами лексической семантики [12—20]. При этом материалом для описания полисемантов служит, как правило, какой-либо определенный говор или несколько смежных диалектов [19—23], где по существу отсутствует территориальная характеристика ЛСВ. А ведь уже было замечено, что ареальное изучение семантики слова является одним из самых актуальных вопросов лингвистической географии [24].

Вслед за Ф. П. Филиным и другими исследователями [15, с. 127; 25, с. 187—189] мы допускаем квалификацию ЛСВ, засвидетельствованных в различных, часто территориально не связанных говорах, как компонентов единой семантической структуры, ибо в каждом диалектном континууме наблюдается не только типологическое подобие, обусловленное общностью происхождения и общими тенденциями развития в условиях взаимодействия друг с другом и литературным языком, но и сходство конкретных реализаций на различных языковых уровнях [25, с. 189; 26]².

Границы распространения отдельных ЛСВ довольно динамичны и не всегда очерчиваются выразительной линией. Как правило, уже в пограничных диалектных массивах (при сохранении общего очертания ареала) обнаруживается некоторое семантическое варьирование отдельных компонентов семантической структуры слова, заключающееся в частичном изменении денотативной (предметной) соотносительности, эмоционально-экспрессивной окраске, а также дистрибутивной характеристике. На последующих участках эти изменения становятся все более ощутимыми, переходящими от качественных изменений отдельных ЛСВ к преобразо-

¹ Если, к примеру, в Диалектологическом атласе белорусского языка семантике посвящена одна карта [1], то уже в проекте Лексикологического атласа этого же языка семантическому варьированию отводится более 200 карт [2]. Целые серии семантических карт нашли свое отражение в Малом атласе польских говоров, атласе Кашубщины, Атласе литовского языка, которые в ряде случаев представляют собой отражение довольно сложных лексико-семантических явлений [3—5].

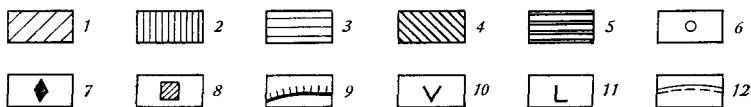
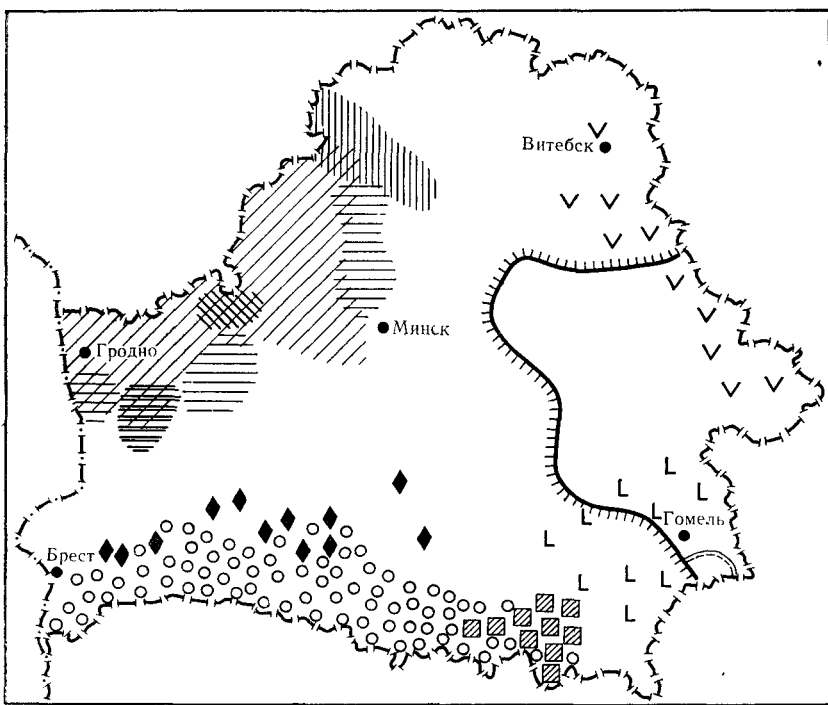
² Правда, лексический материал одного говора дает большую возможность отражения семантической структуры слова, всего многообразия функционирования ЛСВ в речи, характера взаимодействия литературного языка и говора [25, с. 187; 27, с. 7, 13; 28].

ваниям семантической структуры в целом, в ряде случаев сопровождаемых фонетико-морфологическими изменениями (см. карту³). Фонетико-морфологические преобразования слова могут осуществляться без изменений семантического плана [*асцё* (*вóсць*) → *асцёўе*, *асцюкі*, *асцюлькі* «ость», *ру́я* (*ру́я*) → *ру́на* *ру́йка*, «стадо волков»], классифицируясь в этом случае как фонетические (*вóсць*, *ру́я*) или морфологические (*асцёўе*, *асцюкі*, *асцюлькі*, *ру́на*, *ру́йка*) варианты слов. Фонетические варианты, обусловленные регулярными фонетическими изменениями (например, особенностями брестских говоров) и не приводящие к нарушению семантического тождества слова, при анализе семантических явлений, как правило, не учитываются. В случае одновременной дифференциации фонетического или морфологического облика слова и его семантики (*ро́йста* «заболоченное место в лесу», *ро́йставіна* «непригодное для обработки поле, земля», *сўкаратка* «петля или узел на полотне», *сўкрак* «кривое бревно, дерево») вновь образованные единицы классифицируются как различные слова. В отдельных случаях семантические преобразования морфологических (фонетических) вариантов тождественны семантическим трансформациям исходных слов, ср.: *сліж* «мелкая рыба; изделие из муки» → *сліжык* «то же», *друз* «мусор, всплывающий поверх воды; студенистое месиво» → *друза́* «то же», *лёк* «сила; разум; сок» → *клёк* «то же» и др. Аналогичный путь семантического развития исходной формы и ее морфологического (фонетического) варианта (в различных говорах он имеет своеобразное преломление) зависит от степени влияния семантики производящей единицы на производную, заключающегося не только в сохранении определенного смыслового центра производящего, но и в заимствовании производным потенции к тому же преобразовательному акту.

Территория распространения отдельных ЛСВ может охватывать все исследуемые говоры, в результате чего образуется своего рода общий фон, на котором рельефно выделяются компоненты семантической структуры слова. Эти компоненты как бы накладываются на определенные участки общего фона, тем самым создавая в них условия для усложнения семантической структуры слова и развития многозначности, ср.: *сўткі* «промежуток времени, равный 24 часам» (общеизвестный ЛСВ, в дальнейшем — общ.), «узкий промежуток между строениями» (гродн., брест., гом., мин.), «промежуток между печью и стеной» (южн.-мин., брест., зап.-гом); *гаспадар* «глава семьи, хозяин» (общ.), «первый ржаной сноп в начале жатвы» (гродн., южн.-полоц.); *куль*, *кулёк* «куль соломы» (общ.), «мужская верхняя одежда» (вит., мог.), «сеть для ловли рыбы» (гродн.), «задняя часть невода» (гом., мог.); *дрыгва́* «трясина» (общ.), «холодец» (гродн., брест.).

В случае контактирования двух неблизкородственных ареалов (например, белорусско-литовского, белорусско-польского) направленность изоглосс, их конфигурация, характер трансформаций семантической структуры слова не всегда поддаются четкому определению. Значительное влияние на это оказывает расширение объема слов, вызванное звуковым и семантическим сходством отдельных ингредиентов слов. В результате иерархического перераспределения внутри семантической структуры слова отдельные ЛСВ, которые имели статус второстепенных, периферийных, могут актуализироваться, выдвигаться на передний план. Исходное, номинативное значение может отодвигаться на второй план, а с течением времени уже восприниматься как устарелое. При этом по-особому преломляется действие формулы метафорического и метонимического переносов, причем при метафоризации на первый план могут выдвигаться признаки, ранее находившиеся на периферии смысловой структуры слова [29]. Изменяется количественное соотношение ЛСВ в структуре слова, более заметными становятся преобразования денотативного характера, ср.: гродн., мин. *бóрць* «толстое дерево; дерево с дуплом; дупло; улей на дереве; улей», польск. *barć* «дупло с гнездом пчел; выдолбленное в расту-

³ На карте показаны ареалы распространения отдельных ЛСВ слов (а не всей совокупности значений на исследуемой территории), а также взаимодействие различных ЛСВ одного и того же слова на периферии ареала и его фонетико-морфологические преобразования.



Условные обозначения: 1 — *рум* (< польск. *gum*) «несколько строений, построенных под одной крышей»; 2 — *рум* «бревна, сложенные в лесу или на берегу реки»; 3 — *рум* «берег реки, откуда сплавляют лес»; 4 — *рум* «неоконченное строение (без крыши)»; 5 — *рум* «длина постройки»; 6 — *лѣх* (укр. *льох*) «подвал, погреб»; 7 — *лѣх* «пещера, нора»; 8 — *алѣх* «подвал, погреб»; 9 — *падбл* (10 — *пбдал*, 11 — *падблак*) «нижняя часть одежды»; «низкое место у реки, где моют белье, берут воду, поят лошадей»; 12 — *падбл* «пристань».

щем дереве дупло; отверстие в улье»; *кўльша* «бедро» (гродн., брест., вит.), «окорок» (зап.-гродн.), «способ укладки сена на телеге» (брест.), «один из крайних сеновалов в гумне; угол в стогу» (сев.-гродн., брест.), «конечная часть телеги» (гродн.), «головка полоза саней» (брест.), «кривая палка; хромой человек» (вост.-гродн.), литов. *kūlsė, kūlsis* «бедро, поясница; угловой сеновал в гумне; боковая часть ткацкого станка»; гродн., полоц. *рбѣст, рбѣста* «заросшее болото, обычно в лесу; заросли в лесу; низкое место, поросшее деревьями; небольшой водоем; беспорядок» (< литов. *raištas* «то же»).

Исследование полисемантов в народных говорах невозможно без учета стратификационной вариативности, обнаруживаемой даже в пределах одного говора и детерминируемой различного рода факторами (возрастом, полом, образованием, социальным положением, видом деятельности или профессией информатора) [30, с. 145; 31]. Эта вариативность, как было показано экспериментально, влияет и на позицию смыслового центра [32], и на интерпретацию семантических связей между значениями полисемантов [33]. Коннотативные мотивации, а также виды вторичной номинации преломляются в говоре чаще всего в зависимости от социальной актуализации, понимаемой как частный случай стратификационной вариативности. Эта актуализация обусловлена в основном действием социального фактора — видом деятельности информатора [30, с. 146] — и выражается в образовании целого ряда индивидуальных (окациональных) номинаций, которые с течением времени и по разным причинам могут приобретать статус узусальных. Правда, в говорах чаще всего наблюдается обрат-

ная тенденция, выражающаяся в специализации (конкретизации) значений общеупотребительных слов, что приводит к образованию терминологических единиц и является следствием отражения общего процесса лексической дифференциации диалектной лексики. Как правило, наиболее специализированные значения являются менее употребительными с точки зрения их частотности, а менее специализированные ЛСВ являются более употребительными [34, с. 57], частотными в народной речи. На лингвогеографической карте не всегда удается передать этот момент, ибо варианты слова могут активно использоваться в довольно узком регионе и образовывать наполненный тип ареала и, наоборот, быть распространенными на относительно широкой территории, но употребляться лишь в ограниченных контекстах, образуя тем самым ненаполненный тип ареала, ср.: *сўжрак* брест., южн.-мин., гом., мог., вит. «скрученная петля или узел на нитях полотна», брест., гом. «кривое суковатое дерево», брест., гом., южн.-мин., вит. «смолистый сосновый корч», гом. «гнутой кусок бревна» (ареалы в этих случаях носят характер ненаполненных, ЛСВ отмечаются не во всех населенных пунктах занимаемого вариантом ареала), гродн., южн.-полоц., зап.-мин. *канцёр* «короткая поперечная борозда; неоконченная грядка; конец бревна, веревки; недогорелое полено; недокурная сигарета» (ареалы ЛСВ в этих случаях занимают довольно компактную территорию, примыкающую к литовским говорам, характеризуются достаточной наполненностью).

Употребительность слова играет важную роль в развитии многозначности. Чем чаще употребляется слово, тем больше у него возможностей стать многозначным [35]. Степень многозначности слова, зависящая от частоты употребления, обусловлена и контекстной реализацией его ЛСВ. Особенно тесно связана с контекстными условиями вторичная номинация — «неисчерпаемый резервуар развития значения слова», т. е. по сути дела ресурсы контекстообразования неисчерпаемы [36]. Учет достаточно большого числа контекстов или дистрибутивных свойств, т. е. применение дистрибутивно-статистического метода [34; 37; 38] вместе с лингвогеографическим анализом полисемантов позволяет определить не только всю совокупность ЛСВ слова и силу семантических связей между ними, но и произвести классификацию ЛСВ. В этом случае основным критерием разграничения ЛСВ является частота их употребления в определенных контекстах, а также отдельных микро- (макро-) участках (диалектах). Такой подход к анализу полисемантов позволяет также определить степень близости и меру специфичности лексико-семантических систем различных говоров, ибо конечные результаты исследования разных языковых уровней (например, фонетического и семантического, морфологического и семантического) могут не совпадать.

Процессы семантической дифференциации и интеграции диалектной лексики расширили свои возможности в связи с притоком в народные говоры большого числа слов литературного языка, а также широким распространением белорусско-русского билингвизма. В системе диалекта происходит своеобразное столкновение нескольких семантически неоднородных (или подобных) структур, следствием которого является четкая (особенно на первом этапе) дифференциация элементов литературного языка и говоров, постепенно стирающаяся и переходящая в размежевание денотативной соотнесенности, где уже на первый план выдвигаются различия в характеристике реалий (размерах, форме, наличии или отсутствии дополнительных деталей, функциональных особенностях и пр.). В отдельных случаях вновь образованный (или модифицированный) ЛСВ теряет инвариантную общность с литературным языком и отражает неожиданные психологические ассоциации, часто необъяснимые для исследователя. Такие явления, получившие наименования «семантических отлетов», по мнению Т. С. Коготковой, носят универсальный характер при межъязыковых и литературно-диалектных взаимодействиях [12, с. 150—151; 39].

Факультативность, ситуативная прикрепленность отдельных ЛСВ в разговорной речи вызывает часто неточность или приблизительность

употребления, что порождает яркое своеобразие диалектного слова — «диффузию его семантики» [13, с. 303]. В этом случае границы между отдельными ЛСВ порой невозможно определить из-за тесной спаянности и взаимопроникновения отдельных частных смыслов слова, общности отдельных семантических элементов для всех его значений [13, с. 303; 15, с. 11; 37, с. 132; 40, с. 78—80; 41; 42]. Мотивируясь, как правило, общим признаком, все ЛСВ не являются производными по отношению друг к другу и в то же время не могут быть сведены к некоему общему инвариантному значению, хотя такие попытки имеются ⁴.

Диффузность семантики слова определенным образом связана с пространственной диффузией, когда неопределенность, нечеткость объема ЛСВ дополняется расплывчатостью, размытостью его территориальных границ и взаимопроникновением отдельных семантических особенностей ЛСВ различных говоров. Семантическая и пространственная диффузии могут быть совместимы в пределах небольшого ареала, но уже в последующих территориальных звеньях наблюдается четкая дифференциация значений, т. е. утрата семантической диффузии. Сохранению пространственной диффузии в этих же звеньях способствует неодинаковое количественное соотношение ЛСВ в каждом отдельном говоре [на лингвогеографической карте это бы отразилось в передаче различного рода знаков (иногда нескольких, соответствующих каждому из значений), указывающих на объем семантической структуры слова], а также различия качественного, смыслового порядка (при этом количественное соотношение ЛСВ в различных говорах может совпадать). В отдельных случаях семантическая и пространственная диффузии совмещаются на всех участках (изменение территориального распространения ЛСВ и смысловых границ между ними может осуществляться и одновременно), на всей территории говоров, ср.: *бясёда* «гости, компания; разговор в гостях; свадьба; родственники жениха или невесты» (ЛСВ не имеют четкого распространения, известны большинству белорусских говоров, образуют спорадический, ненаполненный ареал). На характер пространственной диффузии значительное влияние оказывают и территориальные границы полисеманта в целом. Различная степень взаимопроникновения значений слова на различных территориальных участках, диффузный, нечеткий ареал распространения отдельных ЛСВ дополняется в этих случаях размытостью (или вообще отсутствием) ареала распространения самого полисеманта.

Пространственный фактор оказывает огромное влияние на организацию семантической структуры слова и внутреннее соотношение ЛСВ в ней. В каждом из говоров смысловая структура слова трансформируется в зависимости от его структурно-системной организации, в результате чего даже в близко расположенных диалектах трудно обнаружить совершенно одинаковые модификации (при этом, конечно, нельзя отрицать общих семантических закономерностей). Разница здесь может быть качественной и количественной. Качественная сторона проявляется прежде всего в изменениях денотативного характера, которые вначале носят частный характер (в этом случае еще не фиксируется образование нового ЛСВ, а отмечается его оттенок). Но уже в говорах, не связанных территориально, ЛСВ приобретает новые признаки и характеристики, называя в конечном итоге иной денотат (здесь уже фиксируется новый ЛСВ). Различная денотативная соотнесенность влияет определенным образом на направление изоглосс, которые в ряде случаев не совпадают с изопрагмами. Качественные изменения семантической структуры слова преломляются и в хронологическо-территориальной характеристике ЛСВ (наличии или отсутствии преемственности в семантическом развитии, фиксации реликтовых ЛСВ наряду с новыми, чаще всего пришедшими из литературного языка и соседних говоров), стилистической и эмоционально-экспрессивной

⁴ Среди отечественных исследователей попытки выделения общего значения не получили достаточно широкой поддержки, а наоборот, подверглись серьезной критике [см. 34, с. 152—153; 40, с. 72; 43; 44—47]. Мы разделяем взгляды на понимание общего значения как широкой понятийной соотнесенности, широкой сферы употребления, широко развитой смысловой структуры.

характеристиках ЛСВ (различиях коннотативного характера), дистрибутивных свойствах, особенностях метафорического и метонимического переносов и мн. др. В качественном и количественном отношении в различных говорах происходит преобразование семантических связей ЛСВ, выражающееся не только в частичной трансформации схем и моделей, но и полной их перестройке. Фактор включения (или выпадения) некоторых звеньев семантической структуры слова на определенных территориальных участках способствует замене радиальной схемы семантической связи цепочечной и наоборот, разнообразным модификациям этих связей, а также преобразованию эпидигматических связей (связей семантической производности, по Д. Н. Шмелеву) в параллельные (этот процесс наименее активен) и затемнению гипонимических (родо-видовых) отношений, ср.: *зѣлле* «лекарственные травы» → «настой из них» (общ.), «лекарственные травы» ↔ «сорняки» (общ.), «сорняки» → «семена сорняков» (вит.), «сорняки» → «мусор, отходы при веянии зерна» (вост.-вит.); *луг* «сенокосное угодье» (общ.) → «заливной луг» (общ.) → «низкое заболоченное место» (брест., вост.-мог., южн.-мин.) → «болото» (гродн., зап.-мин., брест.) → «небольшой природный водоем» (полоц., гродн., брест.) → «яма с водой, которая не высыхает летом» (южн.-мин., гом.): «едкий щелочный раствор» (зап.-белорусск.), но ср.: «небольшой природный водоем: суходольный луг» (мог.).

Количественное соотношение ЛСВ у полисемантов непосредственным образом связано с территориальным фактором, ибо большой перечень ЛСВ слова еще не говорит о сложности его структуры (не все ЛСВ могут функционировать в единой коммуникативной общности). Объединяясь многообразными семантическими связями, ЛСВ в говорах, по существу, образуют некую пространственную структуру, где на отдельных участках этого лингвистического пространства реализуются определенные ее компоненты. Семантическая связь между ЛСВ на ближайших участках очевидна в силу территориальной контактности диалектных систем, но уже на последующих участках она становится менее ощутимой. Момент территориальной связи не всегда учитывается при классификации ЛСВ в диалектной лексике, где за основу берется их производность, контекст, валентность и другие факторы (по сути дела те же, что и в полисемантах литературного языка). На наш взгляд, целесообразно выделение группы междиалектных ЛСВ, считая критерием их разграничения отсутствие пространственных точек соприкосновения при наличии семантической связи. Такие ЛСВ в народных говорах преобладают. Однако отнесение их в эту группу относительно по двум причинам: неполной (частичной) фиксации элементов семантической структуры слова и исчезновения отдельных звеньев структуры слова (с синхронной точки зрения) в народных говорах.

Таким образом, варьирование полисемантов и их компонентов в народных говорах находится в непосредственной зависимости от универсальных семантических закономерностей (они вытекают из общности происхождения диалектов и общности их развития в современных условиях), а также от специфических, локальных особенностей каждого из говоров, которые обуславливают специфику диалектной лексики вообще. В каждом отдельном говоре происходит своеобразное сплетение частных, локальных особенностей с общими семантическими закономерностями, которые преломляются и трансформируются в зависимости от характера и сложности ареальной ситуации (наличия контактов с соседними диалектными массивами и пограничными говорами, полилингвизма, субстратных и реликтовых явлений, географических особенностей местности, административно-территориального деления), расположения элементов полисеманта относительно ареала (на периферии ареала ЛСВ менее четки, факультативны, семантическая структура слова более открыта, незамкнута, в центре ареала полисеманты более стабильны), стратификационной вариативности, денотативной соотнесенности, направления изограмм, влияния литературного языка, а также от взаимодействия семантических особенностей слова с его фонетико-морфологическими особенностями.

1. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963, карта 337.
2. Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для лексічнага атласа беларускай мовы. Мінск, 1971.
3. Mały atlas gwar polskich. T. I—XII. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1957—1969.
4. Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. I—XIII. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1962—1980.
5. Lietuvių kalbos atlasas. I. Leksika. Vilnius, 1977.
6. Урбанчик С. Замечания о семантике в Общеславянском лингвистическом атласе. — В кн.: Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968.
7. Утешены С. К изучению семантики слова в рамках ОЛА. — В кн.: Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968.
8. Коннова В. Ф. Об одной лексико-семантической группе в ОЛА (слова со значением «имущество», «скот», «хлеб»). — В кн.: Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968.
9. Клепикова Г. П. Из опыта картографирования славянской лексики (в связи с проблемой семантического микрополя). — В кн.: Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968.
10. Клепикова Г. П., Усачева В. В. Лингвогеографические аспекты семантики слова *žito в славянских языках. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас (Материалы и исследования). М., 1965.
11. Чумакова Ю. П. К вопросу о семантическом варьировании слова *krosna/krosno у славян. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 1972.
12. Козоткова Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы). М., 1979.
13. Козоткова Т. С. О некоторых особенностях диалектной лексики в связи с устной формой ее существования. — В кн.: Славянская лексикография и лексикология. М., 1966.
14. Лужанова Н. А. Некоторые вопросы диалектной лексикологии. Новосибирск, 1979.
15. Блинова О. И. Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973.
16. Блинова О. И., Арьянова В. Г. К вопросу о лексико-семантическом варьировании слова и омонимии в говорах. В кн.: Вопросы русского языка. Томск, 1965.
17. Корованенко Т. А. Особенности многозначности и омонимии в лексической системе диалекта. — В кн.: Вопросы межкурвеневого анализа языков различных типов. М., 1979.
18. Демидова К. И. К проблеме выделения лексико-семантической парадигмы в языке диалектного типа. — Научн. тр. Свердловского гос. пед. ин-та, 1975, сб. 1, 253.
19. Черепанина Л. И. К проблеме семантики оронимических терминов (на материале Тамбовской области). — В кн.: Вопросы семантики русского языка. М., 1976.
20. Чайкина Ю. И. Эмоционально-оценочная лексика со вторичными значениями в череповецких говорах. — Уч. зап. Вологодского пед. ин-та, 1967, т. 33, вып. 2.
21. Орлов Л. М. Семантические варианты в диалектной лексической системе (на материале говоров Волгоградской области). — ФН, 1969, № 6.
22. Сими́на Г. Я. К характеристике лексико-семантической системы диалекта (по материалам пинежского говора). — В кн.: Вопросы семантики. Л., 1974.
23. Сердюкова О. К. Об особенностях диалектной семантики (на материале некрассовского говора). — В кн.: Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж, 1976.
24. Павел В. К. Семантические различия слова в территориальном и хронологическом аспектах. — Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов. М., 1975.
25. Сороколетов Ф. П. Семантическая структура слова в диалектных словарях. — В кн.: Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Л., 1972.
26. Назарова Т. В. Из наблюдений над междиалектными контактами (к понятию сопротивления системы). — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и сообщения. 1973. М., 1975, с. 98.
27. Словарь современного русского народного говора. М., 1969.
28. Осовецкий И. А. Словарь говора деревни Деулино Рязанского района Рязанской области. — В кн.: Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М., 1964, с. 178.
29. Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. О компонентном анализе значимых единиц языка. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 299.
30. Трифо́нов А. С. Явление социальной дифференциации диалектной лексики в островном говоре. — В кн.: Проблемы внутренней и внешней лингвистики. М., 1978.
31. Стернин А. И. Проблема анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979, с. 83.
32. Левицкий В. В. Экспериментальные данные к проблеме смысловой структуры слова. — В кн.: Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. М., 1971, с. 158.
33. Жордания С. Д. Семантическая структура полнзначных слов (на материале русского, грузинского и английского языков). Тбилиси, 1979, с. 25.

34. Апресян Ю. Д. Дистрибутивный анализ значений и структурные семантические поля. — В кн.: Лексикографический сборник. Вып. V. М., 1962.
35. Морковин В. В. Лексическая многозначность и некоторые вопросы ее лексикографической интерпретации. — В кн.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. М., 1981, с. 155.
36. Кошанский Г. В. Контекстная семантика. М., 1980, с. 107.
37. Плотников Б. А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений. Минск, 1979.
38. Шайкевич А. Я. Дистрибутивно-статистический анализ в семантике. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.
39. Коготкова Т. С. Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы): Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук М., 1979, с. 30.
40. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973, с. 78—80.
41. Баранникова Л. И. Специфика многозначности слова в диалектной речи. — В кн.: Лексика, терминология, стили. Вып. 6. Горький, 1977, с. 11.
42. Жельская О. С. О семантическом своеобразии слова в устной народной речи. — В кн.: Вопросы теории и истории языка. Л., 1969, с. 272.
43. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.—Л., 1965, с. 45—54.
44. Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968, с. 104.
45. Степанова Г. В. Семантика многозначного слова. Калининград, 1978.
46. Васильев Л. М. Полисемия. — В кн.: Исследования по семантике. Вып. I. Уфа, 1975, с. 3—4.
47. Жукова Т. В. Об оправданности выделения широкого значения как особого типа лексических значений слова. — В кн.: Исследования по семантике русского языка (Лексическая и словообразовательная семантика). Уфа, 1979, с. 23—30.

ВАСИЛЬЕВА Н. В.

К СЕМАНТИЧЕСКОМУ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ОПИСАНИЮ ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Возникшая во второй половине XX в. тенденция к интернационализации языка науки обусловила возрастание роли классических языков как источника создания новых терминов и унификации старых. Поэтому специальное изучение греческих и латинских терминоэлементов стало одной из актуальных задач общего и частного терминоведения.

Преобладавший в практике терминологических исследований описательный подход позволил сделать лишь простую каталогизацию греко-латинских терминоэлементов. При этом обычно оставались вне поля зрения вопросы лингвистического (не науковедческого) анализа семантики этих специфических единиц языка. Не подлежит сомнению, что в чисто практическом плане индекс терминоэлементов, построенный с учетом их семантических особенностей (парадигматических и синтагматических), намного больше может дать терминологам-практикам, нежели простой алфавитный перечень. Ниже на материале лингвистической терминологии делается попытка определить и проанализировать греко-латинские терминоэлементы с точки зрения выражаемого ими смысла.

В терминоведческой литературе компоненты, выделяемые в составе термина, принято называть, вслед за Д. С. Лотте [1, с. 15], терминоэлементами. Существуют разные определения терминоэлемента, исходящие из анализа смыслового содержания термина и его составляющих. Каждое из них в той или иной мере испытало влияние определения Д. С. Лотте: терминоэлемент — это минимальная составная часть термина, имеющая явно выраженное терминологическое значение. К сожалению, в работах Д. С. Лотте нет четкого разъяснения того, что понимается под «явно выраженным терминологическим значением». В результате статус терминоэлемента в равной мере приписывается таким разнородным компонентам термина, как корневые морфемы, действительно служащие базой номинации, и деривационные морфемы, характерные для русского словообразования вообще (так, в термине *магнитность* выделяются, по Лотте, два терминоэлемента — *магнит-* и *-ность*). По-видимому, определение терминоэлемента через терминологическое значение следует считать *definitio per definiendum*. Не говоря уже о том, что проблема значения — одна из самых спорных в лингвистике (и поэтому понятие терминологического значения само требует строгого определения), мы можем говорить о явно выраженном терминологическом значении только в составе целого термина. Терминоэлемент, в отличие от целого термина, не выражает понятия, а только указывает на определенное терминологическое поле. Такое указание может осуществляться посредством выделения тех или иных признаков содержания понятия. Именно такова внутренняя логика определения терминоэлемента у Т. Л. Канделаки, которое сам автор считает уточнением определения Д. С. Лотте, но которое в сущности может рассматриваться как определение, исходящее из других оснований. Терминоэлементы, по Т. Л. Канделаки, — «это значащие части терминов, обусловленные признаками выражаемого термином понятия» [2].

Обращаясь к терминоэлементам греко-латинского происхождения, отметим, что определение их семантического содержания существенно об-

легчается в случаях, когда серия структурно однотипных терминов обозначает взаимосвязанные понятия одного онтологического уровня (ср. *префикс, суффикс, конфикс, инфикс, трансфикс*). Такая совокупность терминов образует терминологический ряд, изоморфизм членов которого придает большую смысловую конкретность компонентам термина. Именно в связи с такими цепочками структурно и семантически сопряженных терминов может возникнуть иллюзия семантической независимости терминологического элемента (явно выраженного терминологического значения, по Лотте). Но достаточно обратиться к одиночным или парадигматически не сопряженным терминам, как смысловая неопределенность вычленяемых из них терминологических элементов становится очевидной. Сравнивая, например, термины *флексия* и *циркумфлекс*, мы можем вычленить из них терминологический элемент *флекс*, но не можем приписать ему никакого «явно выраженного терминологического значения», кроме самого общего указания на некоторое терминологическое поле. Только соотнеся данные термины с их парадигмами (*циркумфлекс* — *акут* — *гравис*; *флексия* — *основа*, *флексия* — *агглютинация* — *фузия*), мы можем точнее очертить круг значений, связанный с терминологическим элементом *флекс*, и одновременно констатировать омонимичность элемента *флекс* в акцентологической и морфологической терминологии.

Итак, терминологический элемент можно определить как двустороннюю языковую единицу, обладающую в плане содержания не функцией номинации (точнее, не номинативно-дефинитивной функцией, которой обладает целый термин), а дейктической функцией: значение терминологического элемента сводится к указанию на определенное терминологическое поле. Поэтому мы вправе назвать соотносимую с терминологическим элементом семантическую единицу дейктической. В связи с этим меняется сам принцип описания семантики греко-латинских терминологических элементов. Ведь для практических целей не всегда существенно значение греческого или латинского корня или аффикса, к которым восходит терминологический элемент, но важен тот смысл, который они заключают в себе в качестве строевых компонентов терминов. А терминологизированную единицу и исходный корень-этимон античных языков порой разделяет значительная семантическая дистанция. Так, элемент *-фикс*, характеризующийся дейктической «указание на морфологическую структуру слова» (ср. *суффикс, аффикс, конфикс* и др.), существенно отличается от исходного латинского *fixus*, производного от глагола *figo* «вбивать, закреплять», или терминологический элемент *алло-* «указание на вариативность» — от греческого прилагательного *ἄλλο*: «иной, другой». Элемент *морф*, обыкновенно определяемый терминологами как «форма» < греч. *μορφή*, при рассмотрении в плане дейктичности перестает быть полидисциплинарным и разлагается на ряд междисциплинарных омонимов, не имеющих — на терминологическом уровне — ничего общего друг с другом, кроме греческого происхождения (ср. *морф* «указание на морфологический уровень» в лингвистике и *морф*, например, в биологии, характеризующийся дейктической «указание на внутреннее строение»).

Семантическая неоднородность терминологических элементов даже внутри метаязыка одной дисциплины — лингвистики — очевидна. Прежде всего, дейктичность терминологических элементов может колебаться от предельно конкретного указания, исключающего варианты, например, *ди-, уни-, три-, а-, ретро-, пан-, интер-* (такие элементы, как правило, междисциплинарны), до самого общего указания на языковой уровень (элемент *морф, лекс*) или раздел языковедческой науки (ср. элемент *-ия*: *пассив, делатив, бенедиктив*, характеризующийся лишь обобщенной дейктической «грамматические категории и формы»).

Кроме того, один и тот же элемент может указывать на разные терминологические ряды; назовем это свойство терминологического элемента полидейктичностью. Источник полидейктичности терминологического элемента может быть различен: 1) происхождение от исконно многозначного слова; например, от лат. *verbum* «слово» (1), «глагол» (2) имеем, соответственно, *верб₁* «указание на словесное выражение, связанность со словом» (ср. *универб*) и *верб₂* «связанность с глаголом» (ср. *девербатив*); 2) подверженность элемента семан-

тического трансформации уже в языке современной науки, как это произошло, например, с элементом *мета*, получившим в языке логики значение «построение высшего порядка» (ср. *метаязык, метатеория*), но не потерявшим — в частности, в лингвистической терминологии — и значения «указание на перенос, переход» (ср.: *метатония, метасемия*).

Наконец, если обратиться к целым терминам, построенным из греко-латинских терминологических элементов — а это необходимо, т. к. элементы интересуют нас не сами по себе, а как конститuenty терминов, — то окажется возможной еще одна классификация, связанная с понятием дейктичности. В опубликованной более двадцати лет назад статье В. П. Григорьева [3] говорилось об «обратном калькировании». При таком способе образования сложных терминов из греко-латинских терминологических элементов происходит своеобразный перевод («калькирование») исходных сочетаний русских слов, обозначающих признаки, представляющиеся авторам новых терминов наиболее показательными в новых предметах и явлениях, с последующим стяжением цепочки полученных «традуктем» в цельнооформленную лексическую единицу [3, с. 70—71]. Создание термина, пока еще не имеющего структурных аналогий, неизбежно сопряжено с использованием элемента в его собственном значении, т. е. прямо вытекающем из лексического значения слова-этимона в греческом или в латыни (назовем это свойство терминологического идиодейктичностью). Так, термин *топоним* в момент своего введения в терминологический обиход, безусловно, был ориентирован на понятия «имя» и «место». Как показывает история метаязыка лингвистики (и не только лингвистики), удачно созданный термин порождает модель, по которой образуются другие термины, и в этом случае мы констатируем утрату идиодейктичности у терминологического элемента, образующего каркас этой модели, и развитие у него собственно терминогенной дейктичности. Это проявляется в определенной с т а н д а р т и з а ц и и з н а ч е н и я м о д е л и, конструируемой данным элементом (ср. модели на *-оним*, *-ика*, *-делия*, *-гlossия*, *-ема*). Идиодейктичностью здесь обладает лишь элемент, заполняющий готовую модель. Процедура «обратного калькирования» сокращена вдвое; свобода терминирования сводится лишь к заполнению пустой клетки модели при наличии готового каркаса, который и определяет структурную мотивированность целого термина. Такие термины обычно признаются наиболее отвечающими системному принципу в терминологии («зная место в системе, знаешь термин; зная термин, знаешь место в системе»). Иллюстрацией сказанного может служить ситуация в ономастике: в силу сложившегося терминологического узуса ономаст уже не может избежать модели на *-оним* для обозначения разновидности собственного имени, но имеет полную свободу выбрать, скажем, вариант *несоним* < греч. νῆσος «остров» или *инсулоним* < лат. *insula* «то же». Иначе говоря, если оформитель модели задан как обязательный компонент, то ее заполнение зависит в значительной мере от собственного вкуса лингвиста и его восприимчивости к терминологической ситуации в своей области.

В том, что терминообразовательная модель служит ключом к пониманию термина, убеждает простое наблюдение: встречаясь с новым для него термином, лингвист обычно руководствуется в расшифровке его не столько денотативным значением компонентов, выводимым из семантики соответствующих лексем в классических языках, сколько сигнификативными отношениями этого термина (и его составляющих) к другим, уже известным терминам (и элементам). И это объясняется не только тем, что человек может быть недостаточно сведущ в классических языках, чтобы воспринимать новый термин сквозь этимологическую призму, а прежде всего тем, что всякая терминология действительно образует систему, существующую в виде автономной подсистемы в общем лексиконе языка.

В связи с этим возникает вопрос о лингвистическом статусе терминологического элемента среди прочих единиц языка. Поскольку сам термин, с лексикограмматической точки зрения, функционирует как слово (хотя и ограниченное сферой употребления в специальном подязыке) и поскольку терминологический элемент существует как значимый компонент термина, есть, ка-

залось бы, все основания считать терминологические элементы обычными морфемами. Но это не так: морфемы всегда — принадлежность определенного языка, и в этом смысле они уникальны, терминологические же — достояние всех языков, и поэтому они универсальны. Кроме того, морфологическая членимость термина в большинстве случаев — иллюзия, если подходить к ней с позиций русского языка, ибо то, что мы получаем в результате такого членения, не поддается ясному морфологическому определению. Это особенно отчетливо проявляется в тех случаях, когда имеются синонимичные пары терминов русского и греко-латинского происхождения (ср. термин *приставка* с его прозрачной морфемной структурой, отражающей типичные модели русского словообразования, и его латинский прототип и эквивалент *префикс*, который при рассмотрении как слово русского языка неразложим на корневую и аффиксальную части). И если мы, вопреки морфологической логике русского языка, пожелаем видеть в терминах типа *аллофон*, *диалект*, *фонема* своего рода «нормальные» морфемы *алло-*, *-фон*, *диа-*, *-лект*, *-ема*, мы все равно встанем в тупик при попытке точного определения их морфемного статуса: какие из них и почему следует считать корневыми, а какие аффиксальными? У нас может сложиться обманчивое впечатление, будто такие слова, как *ксеногlossия* и *сенокос* построены по одному и тому же правилу современного русского словосложения (хотя в русском языке и нет корней *ксен-* и *-гloss*), однако в действительности перед нами случайное совпадение, и в первом слове — социолингвистическом термине — представлены не только греческие корни, но и типичная модель греческих *composita*. Ни то, ни другое не имеет прямого отношения к русской грамматике. Перед нами интернациональные элементы и интернациональная модель сложного термина. Английский язык, например, которому неизвестно словосложение русского типа с интерфиксом *-о-*, широко пользуется этой моделью в сфере терминологии на базе классических языков.

Таким образом, говорить о греко-латинских терминологических элементах как равноправных морфемах русского языка нельзя. С точки зрения русской грамматики это «морфемоиды» без ясного морфемного статуса и без строгой языковой прикрепленности, и название «терминологические элементы» указывает именно на их интернациональный характер. Семантические, структурно-комбинационные и функциональные свойства таких «морфемоидов» проявляются не в стихии русского языка вообще, а в пределах специального метаязыка; деривационные возможности терминологии регулируются правилами, отличными от правил «нормального» русского словообразования. Не случайно Н. В. Юшманов считал необходимым говорить об особой «грамматике иностранных слов» именно в связи с изучением международной терминологии¹.

И все-таки при всей своей лексико-грамматической специфичности терминологические элементы остаются единицами языка, и им свойственны те же типы отношений, что и прочим языковым единицам — парадигматические и синтагматические. Если отношения линейной сочетаемости (комбинации) образуют синтагматику терминологических элементов, то отношения нелинейной заменяемости (альтернатики) образуют их парадигматику. Эти отношения наиболее явно выступают в терминологических рядах. Например, ряд терминов, построенных на элементе *-лект*, позволяет выделить совокупность элементов, выступающих по отношению к *-лект* в качестве антецедентов (т. е. заполнителей модели «некоторый элемент + *лект*»), таких, как *диа-*, *социо-*, *этно-* и т. д. Каждый из них связан с элементом *-лект* синтагматическим отношением комбинации, а в совокупности они образуют синтагматическое поле терминологического элемента *-лект*. С другой стороны, эти элементы-заполнители находятся друг с другом в парадигматическом отношении альтернатики, т. е. образуют ассоциативную парадигму. Сам элемент *-лект* в свою очередь

¹ Это общее положение не меняется от того, что некоторые греко-латинские терминологические элементы благодаря широкой известности и употребительности построенных на их основе терминов получили условные права гражданства в «Русской грамматике» 1981 г. (ср. элементы типа *-графия*, *-логия*, *-метр*).

входит, например, в синтагматическое поле элемента *диа-*, где представлены также элементы *-фон* и *-хрония*, образующие вместе с *-лект* другую ассоциативную парадигму.

Исходя из изложенных выше общих положений, рассмотрим на основе дейктемного анализа некоторые терминологические элементы, функционирующие в качестве оформителей продуктивных терминообразовательных моделей. Привлекаемые при этом данные античных языков позволяют показать как известную семантическую преемственность терминологических элементов по отношению к их прототипам, так и ту заметную дистанцию, которая отделяет современный термин от его греческого или латинского этимона.

Терминологический элемент *-логия*. Лингвистические термины, построенные с помощью этого элемента, отчетливо разбиваются на две группы. В первой группе терминов элемент *-логия* характеризуется дейктемой «указание на раздел или область лингвистики» (*морфология*, *фразеология*, *тюркология*, *эсперантология*), и в этом случае мы имеем дело со стандартной общенаучной моделью терминов, семантически немаркированной в пределах метаязыка лингвистики (ср. *антропология*, *историология*, *лимнология*, *токсикология*). Сравнение различных словарей лингвистических терминов показывает неоднородность этой группы терминов, в которой, помимо устоявшихся, выделяются устаревшие термины (*историология*, *пасимология*); термины, неупотребительные в русском языкознании [*глоттология* = *лингвистика*] < итал. *glottologia*; *фонемология* = *фонология* < нем. *Phonetologie*; *фономорфология* = *морфофонология* < англ. (амер.) *phonomorphology*²]; термины, которые условно можно назвать паронимами; некоторые варианты таких терминов со временем вышли из употребления (*сематология* → *семасиология*, *ономатология* → *ономасиология*).

Вторая группа терминов с элементом *-логия* представляет собой тупиковые терминологические образования, в готовом виде заимствованные из древнегреческого языка (*баттология*, *дилогия*, *какология*, *периссология*, *брахиллогия*, *тавтология*, *гистерология*)³. По словам В. П. Григорьева, подобные элементы образуют «замкнутую группу, со стороны значения не представляющую единства» [3, с. 69]. Это действительно так; дейктичность элемента *-логия*₂ можно определить лишь в самом общем плане как «указание на связанность со словом, речью». Однако многое проясняется, если обратиться к древнегреческому материалу — к *composita* со вторым компонентом *-λογία*, деривационно и семантически соотносимым с существительным *λόγος* и глаголом *λέγω* и унаследовавшим их полисемантическую [ср., например, *οἶνολογία* «налог на вино», *ἄνθολογία* «собрание цветов» (соотнесенность с *λέγω* «собирать»); *δογματολογία* «изложение доктрины» (соотнесенность с *λέγω* «пересказывать» и *λόγος* «повествование»); *ἱερολογία* «сакральная речь», *κακολογία* «дурной стиль» (соотнесенность с *λέγω* «высказывать, говорить» и *λόγος* в значении «слово»). Последнее значение компонента *-λογία* «слово, речь, стиль» вполне соотносимо с указанием на фигуры речи и речевые процессы, т. е. с той дейктемой, которой характеризуется *-логия*₂. Обращение к древнегреческому материалу позволяет не только выделить особую группу терминов, лишь структурно, а не семантически совпадающую с терминами на *-логия* в значении «наука», но и проследить процесс терминологизации модели, который можно представить в виде семантических шагов от значения «слово, речь» к значениям «знание, связанное со словом», затем «знание», «исследование» и, наконец, «учение, наука». Последнее значение представлено лишь в трех из двухсот *composita* с компонентом *-λογία*, приведенных в словаре К. Д. Бака [4]: *ἀστρολογία*, *θεολογία*, *φυσιολογία*, причем, как правило, в качестве вторичного (ср. *θεολογία*: 1) «слово к Богу», т. е. «молитва», 2) «теология»). В древнегреческом языке можно обнаружить лишь семантические предпосылки для

² Термин *фономорфология* в отечественной лингвистике иногда употребляется как копулятивное образование, имеющее значение «фонология + морфология».

³ Можно назвать только один искусственный термин в этой группе: *гаплоглогия* < греч. *ἀπλοῦς* «простой» и *λόγος* «слово».

терминологизации модели, но не саму терминологизацию, возникшую в языке науки нового времени. Поэтому элементы *-логия*₁ и *-логия*₂ только в настоящее время превратились в элементы-омонимы, конституирующие термины разных терминологических рядов (ср. *интонология* vs. *гаплоглогия*).

Терминоэлемент *-ика*. В метаязыке лингвистики этот элемент полидейтивен: он содержит указание на 1) «совокупность однородных явлений, единиц, отношений» (*фоника, лексика, графика*) и 2) «область, раздел лингвистики» (*фонетика, русистика, ономастика*). Прототипами данных образований послужили древнегреческие субстантивированные прилагательные, выделившиеся из устойчивых словосочетаний посредством эллипсиса *τέχνη*, ср. *γραμματική* из *γραμματικὴ τέχνη* «искусство букв», «грамматика», *ὀνομαστική τέχνη* «искусство давать имена» (первые термины на *-ика*, обозначающие науки и умения, были заимствованы русским языком в XV—XVII вв. [см. 5], часто через латинское или польское посредство, на что указывает их акцентуация, ср. *грамматика* (лексикон Ф. Поликарпова) < польск. *gramatyka*; *грамматика* (грамматика И. Копиевского) < лат. *grammatica*).

В настоящее время по модели «элемент *+ика*» создано и продолжает создаваться большое количество терминов. Очень продуктивна данная модель, в частности, в славистике для обозначения ее разделов (ср. *русистика, словакистика, сорабистика*), причем, как правило, первая основа такого термина латинизирована (ср. *полонистика* < *Polonia*, *богемистика* < *Bohemia*). Прототипом терминов — названий разделов лингвистики с элементом *-ика* можно считать сам термин *лингвистика* (лат. *lingua* + греч. *-ιστική*) — искусственное наименование, возникшее во французском языке в начале XX в. (*linguistique*) [6] и повлекшее за собой такие образования, как *англистика, арабистика, германистика, африканистика* и т. п. В терминах с элементом *-тика/-ика* выбор одного из этих вариантов обусловлен частично наличием греческого прилагательного-этимона с суф. *-τικός/τική* (ср. *ономастика* < *ὀνομαστικός*, *фонетика* < *φωνητικός*). При отсутствии такового обычно появляются формы на *-ика* (ср. *просодика, антропонимика*). Часто, однако, выбор варианта структурно непредсказуем, особенно это касается производных от эмических терминов. Так, с одной стороны, мы имеем термины *госсематика* = *госсема + тика*, *плерематика* = *плерема + тика*, а с другой — *графемика* = *графем(а) + ика*, *фонемика* = *фонем(а) + ика*.

Регулярность модели «элемент *+ика*» уменьшается под влиянием полисемии (на уровне целого термина, а не на уровне терминоэлементов). Этот факт сам по себе не приводит к терминологическим недоразумениям в силу разного для каждого из терминов терминологического контекста или, по А. А. Реформатскому, особой семантической парадигматичности [7]. Тем не менее наблюдается тенденция к устранению полисемии путем введения нового термина: так, *ономастика* в значении «собственные имена как объект науки» все чаще заменяется термином *онимия* [8].

Терминоэлемент *-графия*. В лингвистической терминологии этот элемент полидейтивен. Термины, образованные с его помощью, входят в разные терминологические ряды. Первый ряд терминов (*графия*₁) включает в себя названия лингвистических дисциплин, большей частью описательных и соотносимых с терминами на *-логия*, обозначающими дисциплины более общего порядка, ср. *лексикология* — *лексикография*, *диалектология* — *диалектография*, *терминология* — *терминография* (окказ.). Другую группу терминов (*графия*₂) составляют названия различных систем, типов и способов письма, например, *брахиграфия, идеография, пазиграфия, пиктография*, имеющие структурно-семантический прототип в древнегреческом языке, ср. *καλλιγραφία* «красивый почерк». Несколько особняком стоит термин *орфография* (*ὀρθογραφία* «правильное письмо»), т. к. уже в античной науке это наименование закрепилось за разделом грамматики и в таком виде было заимствовано русским языкознанием (см. подробнее [9]).

Семантические отношения, возникающие в лингвистической терминологии между полидейктивными элементами *-логия_{1,2}*, *-ика_{1,2}*, и *-графия_{1,2}* можно представить в виде следующей схемы, где знак = обозначает синонимию, ↔ — корреляцию, × — омонимию на уровне дейктем.



Терминоэлемент + *гlossия*. Модели с этим элементом положил начало термин Ч. Фергюсона *дигlossия* [10], обозначавший наличие в обществе по крайней мере двух вариантов коммуникативных средств, соотносенных с определенными сферами социально-экономической и культурной жизни и по-разному оцениваемых данным речевым коллективом («высокий — низкий»). Отчетливая структурная мотивированность модели (элемент *-гlossия* характеризуется дейктемой «указание на наличие разных коммуникативных вариантов языка», а первый элемент специфицирует характер употребления или существования этих вариантов) обеспечила ей большую продуктивность в терминологии социолингвистики, ср., например, термины *эндогlossия* vs. *экзогlossия* [11], *церогlossия*, *ойкогlossия*, *агорагlossия* и др. [12]. Обилие окказионализмов с элементом *-гlossия* показывает, помимо популярности этой новой модели, заметную индифферентность в выборе первого компонента (то, что мы называли реализацией идиодейктивности терминоэлемента). Так, например, термин *церогlossия*, созданный Б. Бренном для обозначения наличия культового идиома [12, с. 12], у другого автора мог бы не в ущерб модели принять другую форму, предположим, **эклесиогlossия*; термин *академогlossия* [12, с. 15] мог бы возникнуть в форме **схोलигlossия*.

Терминоэлемент *-лект*. Модель с элементом *-лект*, который характеризуется дейктемой «языковое образование в пределах одного языка», сформировалась на основе заимствованного из древнегреческого языка термина *диалект* (слово *ἡ διάλεκτος* уже в греческом имело, наряду со значением «речевая манера», более специальное значение «язык местности, диалект») и приобрела популярность в современных социолингвистических исследованиях. Наряду со ставшими уже традиционными терминами *социолект* и *идиолект* при описании языковых ситуаций используются образования типа *демолект*, *этнолект*, *металект* [13]. По этой модели создан термин *технолект* в общей теории терминологии для обозначения разновидностей языка для специальных целей [14].

Начало популярному в современной лингвистической терминологии эмическому ряду (англ. *etic*, по удачному выражению К. Пайка) было положено термином *фонема* < греч. *φώνημα* «голос, звук» (об истории этого термина см. [15]), в котором в результате неэтимологического членения был выделен комплекс *-ема*, характеризующийся дейктемой «указание на инвариантный характер обозначаемой единицы». Терминологическая самостоятельность терминоэлемента *-ема* проявилась, помимо семантической специализации, в полном отрыве от терминов на *-ма*, генетически сходных с термином *фонема* (*агма*, *зевгма*, *парадигма*, *синтагма*, *тема*, *рема*, *эпифонема*), и в приобретении собственно терминологической корреляции — элемента *алло-* (лингвистические термины с этим элементом впервые появились в 40-е гг. XX в. в работах американских дескриптивистов — см. [15, с. 15]). Дейктема терминоэлемента *алло-* «вариант, конкретная манифестация *эмы*» представляет собой трансфор-

мацию значения древнегреческого прилагательного ἄλλος «иной, другой» (ср. composita с первым компонентом ἄλλο-: ἄλλοεθνής, «чужеземец», ἀλλήγορία «иносказание», ἀλλοπάθεια «чужое воздействие»). И если до выхода модели за пределы фонологии и грамматики каждый эмический термин имплицировал алловариант, то после 60-х гг., когда возникла своеобразная гиперэмизация лингвистической терминологии, принцип терминологической номинации нарушился или, скорее, расширился. Это произошло за счет того, что элемент *-ема* стал конституировать синкретический термин, обозначающий одновременно и инвариант, и его реализацию, например, *таггема*, *таксема*, *граммема*. Поэтому ушли в прошлое требования наличия у *бихевиоремы аллобихевиоры*, у *эптеремы аллоэптеры* и т. п. [16]. Сказанное не означает, что гиперэмизация лингвистической терминологии представляет собой нормальный процесс; несмотря на расширение значения эмической модели и даже выход ее за пределы лингвистики (ср. *мифологема*, *философема*), *-ема* все-таки остается сигнализатором структурной единицы языка, поэтому образования типа *стиллема*, *функцема*, *социалема*, *экспрессема*, *эмотема* напоминают скорее образные терминоподобные наименования, нежели строгие, системно мотивированные термины.

Мы рассмотрели один аспект функционирования терминологических элементов — внутренний, т. е. с точки зрения самих процессов терминологического образования, приводящих к появлению терминологических рядов, которые представляют собой семантические корреляции терминов и тем самым образуют ядро всякой терминологической системы. Смысловая коррелятивность терминов в пределах терминологических рядов становится особенно ощутимой, если она находит и формальное выражение в структуре терминов (что бывает не всегда, ср. ряд *акут* — *циркумфлекс* — *гравис*, где семантическая коррелятивность терминов не отражена в их форме). Именно такие терминологические ряды возникают на базе рассмотренных моделей, в которых элемент-оформитель модели обеспечивает формальное и смысловое единство терминологического ряда, а элементы-заполнители создают собственно оппозиции (корреляции) членов этого ряда.

В заключение отметим еще один аспект функционального изучения терминологических элементов, который можно назвать внешним. Он предполагает анализ относительной продуктивности греко-латинских терминологических элементов не по отношению друг к другу (внутренний аспект), а по отношению к другим способам создания терминов в зависимости от научной парадигмы лингвистики в целом (в разные периоды ее истории) и в зависимости от конкретных парадигм отдельных лингвистических дисциплин и направлений (имеется в виду понятие научной парадигмы, введенное Т. Куном [17]). Этот вопрос заслуживает рассмотрения в отдельной работе, а здесь мы коротко изложим основные терминологические тенденции в некоторых областях современной лингвистики.

Ярким примером лингвистической дисциплины, строящей свою терминологию на греко-латинской основе, служит ономастика: из числа однословных терминов, приведенных в словаре Н. В. Подольской [18], 90% составляют термины на базе греко-латинизмов. Одним из главных принципов ономастической терминологии является построение термина по определенной модели с выделением типовых формантов, из числа которых можно назвать модели «элемент + *-оним*» (*гидроним*), «элемент + *-икон*» (*гидронимикон*), «элемент + *-ика*» (*гидронимика*) и т. д. [18, с. 9]. К отличительным особенностям ономастической терминологии принадлежит использование в ней маркированных элементов-квалитативов, с помощью которых в терминологическое поле ономастики вводятся общелингвистические термины в специализированном ономастическом значении (ср., например, *топооснова*, *антропоформант*).

Напротив, в генеративной лингвистике прослеживается противоположная тенденция, которую можно обозначить как тенденцию к созданию термина-метафоры на базе родного языка без привлечения греко-латинизмов (ср. англ. *target*, *victim*, *vine*), что отражается и в русской терминологии этого направления (ср. такие термины из словаря В. З. Демьянкова

[19], как *вбрасывание, дыры, затычки, кольцо, упаковка, обескровленный*). Терминообразование на базе греко-латинизмов в сфере указанного направления представлено в значительно меньшей степени, чем метафоризация; из продуктивных моделей можно выделить, пожалуй, только одну: «элемент + дейксис» (*аподейксис, парадейксис, продейксис* и др.).

Эти примеры показывают, что облик терминологии нового лингвистического направления или лингвистической дисциплины во многом определяется отношением к понятийному аппарату традиционной лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961.
2. Кандаки Т. Л. Об одном типе словаря международных терминологических элементов. — ФН, 1967, № 2, с. 38.
3. Григорьев В. П. Так называемые интернациональные сложные слова в современном русском языке. — ВЯ, 1959, № 1.
4. Buck C. D., Petersen W. A reverse index of Greek nouns and adjectives. Chicago, 1939, p. 124—125.
5. Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVII в. М. — Л., 1964, с. 199—200.
6. Bloch O., Wartburg W. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, 1950, p. 535.
7. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология. М., 1959, с. 7.
8. Супранская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1978, с. 5.
9. Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. — В кн.: Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб., 1885—1895.
10. Ferguson C. A. Diglossia. — Word. 1959, v. 15, № 4.
11. Kloss N. Notes concerning a language — nation typology. — In: Language problems of developing nations. New York, 1968, p. 7.
12. Brann C. M. B. Language influences on pre-adolescent Nigerian children: a typology. — Linguistics, 1975, № 158.
13. Brann C. M. B. Trilingualism in language planning for education in Sub-Saharan Africa. — UNESCO. Paris, 1981, p. 27.
14. Lurquin J. La néonymie scientifique et technique. — Infoterm, 1982, ser. 7, p. 291.
15. Jones D. The history and meaning of the term «phoneme». London, 1957.
16. Ахманова О. С. К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики. — ВЯ, 1961, № 5, с. 119.
17. Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
18. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1978.
19. Демьянков В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста. Порождающая грамматика. — Тетради новых терминов, 1979, № 23.

ВИНОГРАДОВА В. Л.

ОБ ОПИСАНИИ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Л. В. Щерба в свое время писал: «Правила словаря даются обыкновенно в виде „значений слов“. Всем, однако, известно, как трудно формулировать эти значения в толковых словарях: это издавна составляло самое слабое их место, и издавна ведутся споры о наилучших методах определения значений» [1]. Это высказывание известного лингвиста и сейчас в полной мере сохраняет свою актуальность в лексикографии.

Компонентный тип описания значений слов в настоящее время очень широко применяется специалистами при составлении исторических и современных словарей. В данной статье делается попытка теоретического и практического анализа основных видов компонентного типа определения значений на материале имен существительных Словаря-справочника «Слова о полку Игореве», составленного автором этих строк [2]. Существительные в основу этого анализа положены вследствие их большей лексико-семантической устойчивости по сравнению с другими частями речи, что в значительной степени облегчает здесь определение границ видовой классификации. Словарь-справочник «Слова» дает описание значений слов почти так же, как общий исторический словарь. Поэтому обобщение опыта составления Словаря-справочника «Слова» в его основном типе описания значений — компонентном могло бы, кажется, представлять некоторый интерес для лексикографов и лексикологов.

Компонентное описание значений существительных в данном словаре составляется из двух, иногда из трех и даже более компонентов. Чаще всего каждый компонент выражен одним существительным, реже — двумя существительными, из которых одно стоит в род. пад. в качестве определения к другому, или прилагательным + существительное; изредка один из компонентов представляет целое развернутое выражение. Чтобы добиться наиболее точного объяснения той или иной древнерусской лексики средствами современного русского языка, мы старались учитывать всю семантику каждого подобранного к этой лексеме соответствия (компонента) в целом. Для этой цели мы опирались главным образом на семантические схемы слов из «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, так как он ближе других словарей подходит к Словарю-справочнику по принципу семантических определений. Такой расширенный подход позволяет обобщить и выявить в компонентном типе описания значений несколько лексико-семантических видов, которые в свою очередь можно разделить на подвиды уже по внутренним семантическим связям между самими компонентами. В историческом словаре русского языка все это осложняется сопоставлениями функционирования каждой древнерусской лексико-семантической единицы с современными соответствиями-компонентами в описании, учетом общих и эпохальных особенностей древнерусского языка и ряда экстралингвистических факторов (исторических, культурных, литературных, социальных и т. д.).

Наибольшее распространение в компонентном типе описания существительных Словаря-справочника «Слова» получил вид, при котором компоненты располагаются от более широкого в лексико-семантическом аспекте, т. е. имеющего большее количество значений или больший объем значения, к более узкому, с меньшим количеством значений или совсем однозначному и узкому по объему. Во всех случаях этого вида по-

следний компонент уточняет первый (или первые). Первый компонент таким образом имеет более общее значение, второй или последний — более частное, иногда видовое по отношению к первому. Компоненты в определении значений как бы отмечают начальную и конечную границы словоупотреблений, а при трех компонентах указывают и на промежуточное звено. Однако семантические связи между данными компонентами могут быть различными. Они показывают описываемую древнерусскую лексему даже в пределах одного значения или оттенка с разных сторон (в разных ракурсах).

Самой ярко выраженной семантической связью в описании значения существительных является синонимическая. Это как бы продолжающаяся связь между описываемой древнерусской лексемой и ее современным соответствием, т. е. первым компонентом значения, только теперь уже в пределах или почти в пределах современного языка ¹. Прежде всего надо сказать, что мы во взгляде на синонимы присоединяемся к традиционной точке зрения: синонимы — это слова (или выражения) обозначающие одно и то же понятие, но различающиеся между собой дополнительными (дифференциальными) элементами значения (включая экспрессивно-стилистическую окраску и т. п.). Каждое значение в полисемантическом слове может в принципе иметь свой синонимический ряд. Поэтому в рассматриваемом здесь компонентном типе описания значений двузначные или многозначные слова могут стать синонимами не только в своих основных значениях; синонимический стык практически возможен в любом из значений или оттенков таких слов, т. е. компонентов. Рассмотрим несколько примеров из Словаря-справочника «Слова», иллюстрирующих высказанные здесь соображения.

Однозначные синонимы: *брѣгъ* — 2 ². «Скала, утес» (1,71) ³. Второй компонент «утес» — отвесная скала со своими характерными признаками находится семантически в видовом соотношении с компонентом «скала», т. е. указывает на один из видов скал. Данное описание продиктовано цитатным материалом, приведенным в Словаре-справочнике «Слова» на лексему *брѣгъ*, где в цитатах из переводных памятников компоненты вообще невозможно отделить друг от друга, а также примером из оригинального произведения: «Зане князь щедръ, аки рѣка, текуща без бреговъ сквози дубравы...» Сл. Дан. Зат., 20, нач. XVII в. ~ XII в., учитывая при этом, что скалы были чужды особенностям земного рельефа Древней Руси. Ср. также: *буестъ* — 2. «Надменность, тщеславие» (1,74); *воля* — 4. «Хотение, вожделение» (1,131); *дубие* — 2.// «Роща, дубрава» (2,53); *кожухъ* — 1. «Меховая одежда, шуба» (2,198); *комонь* — «конь, боевой конь» (2,201). В двух последних примерах иллюстративный материал почти не позволяет выделить каждый из двух компонентов в качестве словоупотреблений. *Братъ* — 2. «Соотечественник, земляк» (1,69) — в современном языке синонимическая связь между этими словами сильно ослабла. В последних синонимических словарях они не отмечаются. Есть лишь в Словаре В. И. Даля [4, IV, с. 271]. Однако в цитатах речь идет о людях из Полоцкой и Новгородской земель до или в период становления государственности. Поэтому только в соединении этих двух компонентов достигается максимальная точность определения. Можно привести еще ряд определений значений однозначными синонимами, но таких в Словаре-справочнике «Слова» немного.

Гораздо больше случаев, когда один из синонимов или оба двузначны или многозначны. В данном виде описания «от широкого к узкому» наиболее полисемантичен первый компонент-синоним. Прежде чем перейти к их

¹ «... способ, пользуясь которым лексикограф, не прибегая к определению в логическом смысле этого слова, может преодолеть затруднения, которые иначе не могли бы быть устранены. Мы говорим об эквивалентах, получаемых путем перечисления слов, более или менее синонимичных определяемому...» [3].

² Цифра с точкой перед значением указывает на порядковый номер значения в Словаре-справочнике «Слова».

³ Эти цифры обозначают номер выпуска и номер страницы Словаря-справочника «Слова».

рассмотрению, следует указать на случаи, когда первый компонент-синоним, хотя он и однозначен, но имеет очень широкий объем значения; этот компонент служит общим значением для второго компонента-синонима, хотя второй бывает и неоднозначен. Чаще это касается абстрактных, отвлеченных существительных, обозначающих чувства, события и явления, связанные с ними. *Бѣда* — 1. «Несчастье, горе» (1,43) — «несчастье» включает в себе элементы, связанные с бедствием, а «горе», пожалуй, имеет больше личного ⁴. В Слове о полку Игореве мы наблюдаем в слове *бѣда* больше первое, чем второе; «горе» воспринимается как следствие горестного события. Соответственно подобраны и примеры из памятников и фольклора, но есть и такие, где эти два компонента значения синкретичны, по крайней мере, в данном контексте. Поэтому «горе» стоит здесь на втором месте, хотя словари отмечают в нем два или три значения. *Зло* — 1. «Беда, несчастье» (2,137) — одного компонента «беда», имеющего слишком широкий смысл для обозначения слова зло, явно было бы недостаточно и для цитаты из «Слова» («Нѣ се зло — княже ми не пособие: наниче ся години обратиша. Се у Римъ кричатъ подѣ саблями Половецкыми, а Володимиръ подѣ ранами», 27—28) ⁵, и для иллюстраций.

При неоднозначности и особенно многозначности первого компонента второй компонент-синоним в определении значений существительных призван не столько уточнять первый, сколько его «расшифровывать», т. е. указывать на одно из значений, в котором они оба синонимичны друг другу. Без этого расшифровывающего компонента не может быть достигнута необходимая точность определения. И вместе с тем они обогащают друг друга дополнительными (дифференциальными) элементами, которые присутствуют в иллюстративных контекстах (цитатах). Например: *вѣжа* — 1. «Кибитка, шатер кочевников» (1,93). Если описать значение только словом «кибитка», то будет неясно, в каком смысле понимать, так как в современных словарях оно имеет два значения: 1) «крытая повозка»; 2) «переносное жилище у кочевых народов»; если определить как «шатер кочевников», то это тоже будет не совсем точным, ибо в случае необходимости (военных набегов, например) кочевники ставили свои вежи — шатры на колеса и превращали их, как указывал А. А. Потебня, в «дом-повозку» [6, с. 41]. Поэтому только двухкомпонентное определение слова *вѣжа* будет наиболее точным. Это подтверждается и иллюстративным материалом, приведенным в Словаре-справочнике «Слова». Ср. еще: *брань* — 3. «Нападение, нападки» (1,68) — здесь компонент «нападки» диктуется цитатным материалом: речь идет о дьяволе («брань дьяволѹ»). *Дѣло* — 1. «Действие, поступок» (2,21) — «действие» насчитывает 8 значений; «поступок» — однозначно: синонимический стык где-то в 5-м значении ⁶; почти весь цитатный материал дается с определениями: «дѣла добра», «безбѣднаа дѣла», «дѣла славнаа» и т. д., что подчеркивает необходимость второго компонента; 2. «Совершение чего-л., деятельность» — стык в 1-м значении, материал показывает синкретизм этих компонентов. *Лугъ* — 2. «Лес, дубрава» (3,67) — необходимость второго однозначного компонента оправдывается не только тем, что первый имеет 3—4 значения, но и самим цитатным материалом («лузи дубравнии» — Новг. корм. 1282 г., 673—674), косвенно определение подтверждается и греческим *δρυμός*: «дубовый лес, лес вообще» [7]. Ср. также: *повѣсть* — 3. «Рассуждение, ход мыслей» (4, 86); *свѣтъ* — 6. // «Жизнь, земное бытие» (5, 96); *рѣчь* — 9. «Свидетельство, свидетельское показание» (5, 44) и т. п.

Сложнее бывают описания значений, когда оба или более компонентов-синонимов неоднозначны или многозначны. Здесь особенно важен их синонимический стык. Например: *сила* — 1. // «Племя (7 значений), народ (4 значения) (о представителях племен и народов в составе войска)» (5,137) — стык в первом и во втором значениях [5, III, с. 293—294; II,

⁴ См., например, в [5, I, с. 598; II, с. 556].

⁵ Цифра после цитат из Слова о полку Игореве обозначает страницу первого издания «Слова» 1800 г. (дается по Словарю-справочнику «Слова». М.— Л., 1965. Вып. 1. А—Г, с. 15—25).

⁶ См. в [5, I, с. 673; III, с. 645].

с. 413]⁷. Связь между этими синонимами уже стала ослабевать, но в данном случае приходится учитывать исторический период и цитату из «Слова» («Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука»). *Сила* — 8. «Размер (6 знач.), величина (2 знач.)» (5,140) — стык в первом значении; ср.: *величье* — 2. «Величина, размер» (1,102). На последнем примере видно, что сама объясняемая лексема при описании ее значений ни в коем случае не должна выпадать из поля зрения лексикографа. Она диктует даже место компонентов в описании: первое место должен занимать тот компонент, который семантически стоит к ней ближе всего. К сожалению, на данном этапе науки лексикографу далеко не всегда удается следовать этому положению. Особенно трудно бывает подобрать ближайший эквивалент в исторической лексикографии при объяснении слов ранних периодов развития языка. Влияние заглавного или описываемого слова при синонимии не ограничивается только расстановкой компонентов в определении значений, но также играет немалую роль при выделении самих значений и оттенков. Подкрепим это положение наглядным примером из Словаря-справочника «Слова»: *дума, мысль, замышление* в своих синонимических значениях описываются по-разному. *Дума* — 2. «Замысел, намерение» (2,55) — слово *дума* лексико-семантически не содержит в себе ничего предосудительного, оно нейтрально, отрицательный аспект приобретает лишь в контексте в качестве словоупотребления; поэтому определяется такими же нейтральными компонентами-синонимами. *Мысль* — 2. «Замысел, намерение, умысел» (3,125) — здесь отрицательный элемент усиливается, хотя еще не выделяется из словоупотребления⁸. Он дается в Словаре-справочнике «Слова» как третий компонент значения. *Замышление* — 1. «Замысел, намерение». // «Умысел, козни» (2,103) — здесь уже отрицательное начало выкристаллизовывается в оттенок значения. Ср. глагол *Замышляти* — 2. «На кого, на что. Замышлять что-л. против кого-л. [9].

Кроме синонимии в данном виде определений «от широкого к узкому» компонентного типа, в «Словаре-справочнике «Слова» немало, хотя и меньшее, место занимают определения не синонимичные, в которых компоненты связаны между собой другими способами. Таких связей насчитывается здесь в основном три: понятийно-смысловая, элементная и «смешанная». Рассмотрим их подробнее.

Понятийно-смысловая связь характеризуется тем, что каждый из компонентов значения вместе с определяемым словом является членом одного понятийно-смыслового ряда, т. е. ряда близких слов, связанных между собой общим элементом понятия. Например: [*дебрь*] — 2. «Овраг, ров» (2,16) — здесь определение диктуется прежде всего иллюстрирующими текстами: из восьми цитат только в трех можно узнать «ров» в слове *дебрь*, в остальных же невозможно в данном узком контексте выделить один из компонентов. *Орьтма* — «покрывало, попона» (4,37) — здесь, кроме «Слова», цитат нет — это *һарах*. Приходится его значение определять по комментариям ориенталистов. *Полъ* — 1. «Одна из двух частей чего-л. целого, половина» (4,126) — и в «Слове» («свивая славы оба полы сего времени», 6), и в цитатном материале, и даже во фразеологии часто невозможно определить, равные ли это части или нет⁹. Определения тремя компонентами: *поле* — 1. «Безлесное пространство, равнина, луг» (4,129); *ратъ* — 3. // «Нападение, нашествие, набег» (5,29) — в обоих случаях объем значения сужается до минимума. Этим достигается необходимая точность указанных лексем, в общем довольно аморфных в текстах, а в первом случае и в самом Слове о полку Игореве.

Другая связь между компонентами в описании значения — элементная. Она является более далекой, чем предыдущая, но столь же необходима для достижения семантической точности. Показываем на конкретном материале: *бѣда* — 4. «Вред, мучение» (1,44). Слово *вред* в свою очередь

⁷ В дальнейшем счет значений компонентов и место их семантических стыков дается по этому словарю.

⁸ Ср. у И. И. Срезневского в [8, II, стлб. 217].

⁹ Ср. у И. И. Срезневского в [8, II, стлб. 1142].

в современном языке объясняется как «порча, ущерб, убыток». Однако в определенных словоупотреблениях, касающихся здоровья живых существ, в него входит элемент «мучение». Иллюстрации в Словаре-справочнике «Слова» как раз и говорят о вреде, мучении, наносимом здоровью человека. *Брѣмя* — 1. «Тяжесть, каменное ядро, грузило» (1,72) — такое определение может показаться на первый взгляд неоправданно субъективным. Тем не менее оно максимально точно по отношению к материалу. Первый компонент «тяжесть» — широк по объему и многозначен, выступает здесь в значении «тяжелый предмет». По тексту «Слова» невозможно определить характер этих тяжестей («меча бремены чрезь облаки», 30); иллюстрации же свидетельствуют о двух других компонентах. Они уточняют и дополняют «тяжесть», а последнее в свою очередь связывает все описание воедино своим общим элементом и вместе с тем снимает с описания субъективизм словоупотребления.

Третьим способом связи между компонентами определения значения служит «смешанный», состоящий из соединения синонимического и понятийно-смыслового или элементного. Этот способ возможен лишь при трех и более компонентах определения. Например: *печаль* — 2. // «Тревога, беспокойство, опасение» (4,74) — при сужении значений самих компонентов до минимума («опасение» — однозначно) два первых является синонимами, а последний «опасение» связан с ними понятийно-смысловой связью (основной элемент понятия — «страх, боязнь»). В каждом из приведенных в Словаре-справочнике «Слова» примеров все компоненты присутствуют синкретично, хотя и в различной степени. Ср. также: *рѣчь* — 6. // «Решение, постановление, указание» (5,43).

Слава — 2. «Прославление, хвала, благодарение» (5,157) — «благодарение», казалось бы, находится по отношению к двум предшествующим синонимам в элементной связи, более далекой, чем понятийно-смысловая. Однако здесь следует видеть особый случай, который, по нашему мнению, может применяться в исторических словарях, когда при описании устаревших понятий используется старое слово в устаревшем, но еще понятном значении. Компонент «благодарение» употреблен в устаревшем значении «хвала, славословие» [8, I, стлб. 94], которое еще и теперь понятно в применении к богу. В Словаре-справочнике «Слова» это значение иллюстрировано, кроме текста самого памятника («Слава Игорю Святъславличю», 45, д. б. 46), цитатами о боге и божественных существах. Поэтому «благодарение» в рассмотренном примере, очевидно, синонимично двум другим компонентам.

Вторым по количеству употреблений видим «компонентного» типа определения значений в Словаре-справочнике «Слова» является вид, противоположный первому — «от узкого к широкому», т. е. от однозначного или с меньшим числом значений компонента к более многозначному или широкому по объему. Здесь первый компонент точно синонимизирует главное (описываемое) слово, и можно было бы остановиться на этом определении, как это делают некоторые словари. Однако контекст Слова о полку Игореве или иллюстративный материал заставляют к данному узкому и, казалось бы, точному значению присоединить еще один или два, изредка три более обобщенных компонента. Обычно это бывает необходимо тогда, когда первый компонент слишком узок для того, чтобы вместить в себя все словоупотребления иллюстративного материала. В частности, необходимость более обобщенного компонента (или компонентов) может диктоваться тем, когда первый компонент, например, стилистически окрашен, узко исторически обусловлен или само значение в контексте «Слова» неясно и поэтому требует осторожного, более широкого истолкования. В этом виде определения значений основа — лексикографическая последовательность (описываемое слово → контексты → значение) — остается неизменной, однако степень внутренних соотношений вторых компонентов с первым компонентом несколько меняется. Если при положении «от широкого к узкому», описанном выше, вторые компоненты в несколько большей степени были связаны с первым компонентом, как бы его уточняя, «расшифровывая», то при положении «от узкого к широкому» вторые

компоненты в гораздо большей степени вытекают из контекстов, т. е. определяющего иллюстративного материала. При этом непосредственная связь между компонентами в описании значения — синонимическая, понятийно-смысловая, элементная — здесь по-прежнему сохраняется, и опять синонимическая связь преобладает. Иногда при отборе вторых компонентов приходится учитывать материал, по каким-либо редакционно-техническим причинам оставшийся за пределами словаря. В принципе в историческом словаре, вероятно, этого следовало бы избегать, поскольку при этом получается некая как бы «бездоказательная» категория, лежащая на совести составителя. Однако без этой условности, как показывает составительская практика, тоже не обойтись. В Словаре-справочнике «Слова» такие случаи редко встречаются и возникают они по причине сильного сокращения иллюстративного материала во время подготовки рукописи к печати.

Приведем несколько примеров из Словаря-справочника «Слова» на вид значения «от узкого к широкому». Стилистическая обусловленность: *бѣда* — 3. «Кара, наказание» (1,44) — здесь компонент «кара» высоко стилистически окрашен — выражает «божественное возмездие за грехи» и синонимичен нейтральному компоненту «наказание». *Воля* — 2. «Произволение, выбор, решение» (1,121) — «произволение» тоже употребляется лишь по отношению к высоким лицам, два другие компонента нейтральны и синкретичны в заданных текстах, синонимичны, с «произволением» их связывает понятийно-смысловая связь. Некоторые описания значений обуславливаются еще и исторически: *братия* — 2. «Соратники, соплеменники, товарищи» (1,70) — распределение компонентов здесь диктуется «Словом» («и рече Игорь къ дружинѣ своей: „Братіе и дружино“ ...» 5) и цитатами из памятников XII—XVI вв. оригинальных и переводных. Слова *соратники*, *соплеменники* в современном языке выступают как устаревшие с высокой риторической окраской, которой они не имели в ранние эпохи. Поэтому, чтобы указать на их нейтральность в контекстах, добавляется нейтральный общий компонент «товарищи». Родо-видовая соотносительность в способе описания «от узкого к широкому» наблюдается в первом компоненте: первый компонент нередко входит (вмещается) во второй и т. д. как один из видов данного понятия: *гласъ* — 1. // «Возгласы, громкая речь» (1,157); *дань* — 1. // «Пошлина, налог» (2,13); *[дубиѣ]* — 3. // «Дубинки, палки» (2,53); *доска* — 5. «Икона, изображение» (2,42); *заря* — 3. «Сияние, свет» (2,108); *свѣчай* — 2. «Общенье, знакомство» (5,106); *стругъ* — «водоворот, омут» (5,238) и т. д. Как видим, между этими родо-видовыми компонентами может быть как синонимическая, так и понятийно-смысловая и элементная связь. К только что рассмотренным описаниям значений примыкают также определения, в которых компоненты обозначают часть и целое. Например, *стружие* — «древко копья, копье» (5,238) — такое объяснение диктуется как Словом о полку Игореве («сребрено стружие», «дотчеся стружиемъ злата стола Кіевскаго»), так и цитатами из других памятников. Кроме того, в определении могут характеризоваться разные временные фазы одного и того же явления, состояния: *свѣтъ* — 2. «Восход солнца, рассвет, утро». // «Дневное освещение, день» (здесь как часть и целое); // «Вечернее освещение, заход солнца, вечер» (5, 91—94) — последний компонент называет само явление; в «Слове» и в цитатах из памятников слово *свѣтъ* не позволяет выделить эти фазы из самого временного явления. Поэтому и дается здесь такое развернутое определение.

Следующим видом компонентного определения значений существительных в Словаре-справочнике «Слова» является «градационный», а именно: восходящая градация (климакс), когда каждый последующий компонент оказывается более усиленным или насыщенным в лексико-семантическом и экспрессивном планах, чем предыдущий; и нисходящая градация (антиклимакс), наоборот, когда каждый последующий компонент, определяющий данное слово, становится более ослабленным или менее насыщенным. Эти восходящие и нисходящие градации идут в основном по линии усиления или ослабления величины, количества, каче-

ства, степени проявления признака, активности, пассивности, интенсивности действия. Иногда сюда примешивается стилистическая экспрессия и т. д. Случаев с восходящей градацией в пяти рассматриваемых выпусках Словаря-справочника примерно на одну треть больше, чем с нисходящей. Связи между самими компонентами значения остаются теми же, что и в рассмотренных выше видах: синонимическая как наиболее частая, понятийно-смысловая — реже, элементная — более редко встречающаяся. Эти связи, по-видимому, являются общими для всех видов «компонентного» описания значений существительных. Как уже говорилось выше, самым близким к определяемому слову по семантике должен быть первый компонент значения, т. е. ближайший синоним этого слова, а более далеким — последний компонент, не обязательно синоним. Этим распределением мест компонентов в формулировке значений решается и вопрос, какой должна быть градация в каждом конкретном случае: восходящей или нисходящей. Второй и т. д. и особенно последний компонент значения в восходящей степени зависят от иллюстративного материала. В Словаре-справочнике «Слова» наличие последнего компонента при градации часто продиктовано контекстом «Слова». «Градационный» вид «компонентного» описания значений в гораздо меньшей степени зависит от семантических схем каждого из компонентов и от количества семем в этих схемах, чем в видах, описанных выше: «от широкого к узкому» и «от узкого к широкому». В грациях учитывается не количество других (помимо определяющего данное слово) значений у каждого компонента, а их качество как усилителя или антиусилителя, определяющего значения этого компонента.

Высказанные здесь нами соображения яснее всего в Словаре-справочнике «Слова» находят подтверждение на примерах определений значений синонимичных лексем. Итак: *жалоба* — 1. «Печаль, горе» (2,69) — восходящая градация, так как компонент «горе» означает «глубокую печаль». Первый компонент продиктован семантикой слова *жалоба*, поскольку она была в древнерусском и старорусском языке слабее, чем у слова *жалость* и др. (см. ниже), и с другой стороны, — контекстом «Слова» («Уныша цветы жалобою...», 42—43 — описываются давние события 1093 г.¹⁰). Второй компонент «горе» указывается больше иллюстративным материалом: в двух примерах из трех — ситуации смерти близких, в одном примере *жалоба* усилено определением: «отъ многия жалобы». *Жалость* — 3. «Горе, печаль» (2,70) — нисходящая градация. Перестановка компонентов указывает на то, что слово *жалость* было сильнее по степени проявления чувства, чем *жалоба*. Об этом свидетельствуют и цитаты, приведенные в Словаре-справочнике «Слова». Связь между этими компонентами синонимическая и достаточно близкая, поэтому семантика в иллюстрациях каждого из обоих слов синкретична, почти не различается по словопотреблениям (лишь в одном примере дается более усиленное: «люта жалость»). Синоним *печаль* определяется восходящей градацией: 1. «Горе, скорбь» (т. е. «сильное горе»). Оба компонента показывают, что слово *печаль* в древнерусском языке семантически было более экспрессивным, чем в современном языке, и выражало большую степень чувства (проявления признака). Второй компонент продиктован контекстом «Слова», в котором *печаль* «горе» усилено еще определением («печаль жирна тече средь земли Рускыи», 20—24)¹¹. Данное описание значения этими синонимами подтверждается не только приведенным в Словаре-справочнике материалом, но и греческими соответствиями *θλίψεως* (ή θλίψις) — Изб. Св. 1076 г., 137об и ή λύπη — Пчела, 252, XIV в.~XIII в., в которых эти оба компонента присутствуют. Слово *желя*, *жела*, синонимичное к *печаль*, еще интенсивнее. Оно описано в Словаре-справочнике как «скорбь, терзание» (2, 86—87), второй компонент «терзание» уже показывает, что *желя* не просто скорбь, а скорбь в действии (внешнее проявление скорби), т. е. он активизирует первый компонент. Таким образом, града-

¹⁰ Ср. в моей статье [10, с. 97].

¹¹ Ср.: [10, с. 96].

ция здесь тоже восходящая, но связь между «скорбь» и «терзание» уже не синонимичная, а понятийно-смысловая по понятию «мука, мучение; страдание», т. е. более далекая. Необходимость компонента «терзание» диктуется как другим терминологическим активным значением «плач по умершему»¹², так и представленными иллюстрациями, в которых *желя* часто сочетается со словом *плъчъ* и которые в большинстве своем интерпретируют или прямо цитируют библию.

При нисходящей градации стилистически окрашенный первый компонент часто служит показанием стилистической окрашенности определяемого слова в данном значении. Например: *брань* — 1. «Битва, сражение» (1, 67—68) — здесь книжное высокое «битва» указывает на некоторую приподнятость слова *брань* в древнерусском языке, хотя степень этой приподнятости установить пока нельзя. Эта приподнятость отчасти, вероятно, объясняется усилительной степенью самих боевых действий в слове *брань*. Несколько ниже стилистическая приподнятость в *плъкъ* (*плъкъ*) — 2. // «Битва, сражение, бой» (4, 138). На это указывает то, что это уже оттенок к нейтральному значению «война, поход»; кроме того, снижает приподнятость и последний компонент «бой» (т. е. *плъкъ* применимо для обозначения как крупных, так и обычных военных действий — ср.: греч. *συμβολή* Хрон. Амарт., 371, XIII—XIV вв. ~ XI в.; *παράταξις* — Пчела, 395, XIV в. ~ XIII в.). В слове *рать* тоже присутствует степень приподнятости: *рать* — 1. «Битва, бой, сражение» (5, 27) — здесь ожидалась бы нисходящая градация: «битва, сражение, бой»; однако, учитывая сочетание *рать* и *плъкъ* в контексте Слова о полку Игореве («То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано!», 17), пришлось компонент «бой» передвинуть на второе место, поскольку *рать* и *плъкъ* здесь не могли быть абсолютными синонимами. Иначе раскрывается это значение в Словаре-справочнике «Слова» в словах *котора* и *крамола*: *котора* — 2. «Сражение, битва» (3, 11), *крамола* — 1. // // «Бой, сражение» (3, 18—19). Это — восходящая градация. Данная семантика в этих словах была второстепенной, стилистически, может быть, более нейтральной или нейтральной; в самом «Слове» она отсутствует (в нем употребляется основная семантика этих слов). В *крамола* — это второй оттенок к основному значению «междоусобная война...» через первый оттенок «борьба». Правильность именно восходящего описания значения подтверждается иллюстрациями и их греческими соответствиями (*μάχη*, *ναυμαχία*). В качестве примера заниженной стилистической оценки слова при нисходящей градации можно привести то же *брань* — 3. // «Перебранка, словесные нападки, порицание» (1, 68). На это указывает компонент «перебранка» — разговорное. Ср. синоним *говоръ* — 2. «Порицание, брань» (1, 161) — здесь, наоборот, восходящая градация, стилистическая нейтральность. Градация в *брань* и *говоръ* идет по линии снижения или повышения активности действия. Однако характер активности действия у компонентов здесь разный, как и степень нагнетания или убывания: у *брань*, например, постепенное понижение взаимного действия, в то время как в слове *говоръ* компоненты показывают только нарастание односторонней активности. Ср. также: *говоръ* — 2. // «Мятеж, недовольство» (1, 161) — нисходящая градация, с уменьшением активности («мятеж» как результат «недовольства»). *Нелюбие* — 1. «Неприязнь, нерасположение, вражда» (3, 158) — восходящая градация, от пассивного действия к активному (неприязнь, переходящая во вражду); *рать* — 5. «Вражда, ненависть, неприязнь» (5, 30) — нисходящая градация, от активного действия к пассивному; *рать* — более экспрессивно, *нелюбие* по отношению к *рать* — эвфемизм. *Котора* — 1. // «Разногласие, спор» (3, 11) и *рѣчь* — 8. «Спор, несогласие» (5, 43) — при градации активности действия перестановка одних и тех же компонентов («разногласие» здесь употребляется в значении «несогласие») показывает на то, что *рѣчь* в указанном значении было более экспрессивно, чем *котора*.

¹² Ср.: [10, с. 97]

Градационное описание значений слов (климакс и антиклимакс) один из наиболее интересных и многообещающих видов данной лексикографической проблемы. Однако он требует специальной разработки. В настоящей статье мы лишь слегка коснемся вопроса отражения в иллюстративном материале лексико-семантических связей компонентов между собой. Хотя этот вопрос в Словаре-справочнике, как и в любом историческом словаре, значительно усложнен степенью способности составителя понимать древние тексты, все же можно сделать некоторые обобщения. При градации существительных самая большая однородность иллюстративного материала в смысле близости словоупотреблений бывает при синонимии компонентов значения в прямо пропорциональной зависимости, т. е. чем ближе компоненты в синонимическом ряду данного значения, чем больше синкретизма в цитатах из памятников, иллюстрирующих данное значение, и тем труднее бывает определить, какой из компонентов преобладает в данном примере (цитате). Это в свою очередь и заставляет часто прибегать к градации в описании. Получается как бы заколдованный круг. Поэтому в данных случаях гораздо большую роль, чем в других видах «компонентного» описания, по-видимому, играет контекстное окружение и непосредственно определение или обстоятельственное слово к определяемому существительному. Например: *печаль* — 1. // «Страдание, мука» (4, 74) — восходящая градация: «Абие от многы ꙗбчали метяшетсяя» (Флав. Полон. Иерус., 172, XVI в. ~ нач. XII в.). *Печаль* — 2. // ... // «Старание, усердие» (4, 74—75) — восходящая градация: «Имяше же печаль на учение Нифонтъ зѣло...» (Ж. Нифонта, 242, 1219 г.). *Кровь* — 2. «Убийство, кровопролитие» (3, 31) — восходящая градация: «мсти имъ кровь христьянская» (Новг. I лет., 80, XIV в., под 1253 г.). *Струга* — 2. «Волна, вал» (5, 238) — восходящая градация: «стругы его (моря. — В. В.) възмутятся...» (Библ. Генн., 3 Ездр., XVI, 12, 1499 г.). *Крѣпость* — 3. «Могущество, сила» (3, 23) — нисходящая градация: «сила, крѣпость бога нашего...» (Апокал., 38, XII—XIII вв.). *Нужда* — 5. «Бедствие, несчастье» (3, 178) — нисходящая градация: «И многы и лютыя нужда...» (Ефр. корм., 224, XII в.). Однако, например, в слове *кляка* — 1. «Хитрость, обман, лукавство, коварство» (2, 189) — восходящая градация — ни в Слове о полку Игореве, ни в иллюстрациях выделить эти компоненты-синонимы невозможно — они здесь синкретичны. Также непоказательны контексты и в слове *сила* — 4. «Насилие, принуждение» (5, 139) — нисходящая градация. Ср. также *нужда* — 1. «Насилие, принуждение» (3, 176—177). Если же компоненты-синонимы стоят в разных концах синонимического ряда, то это может отразиться и в цитатном материале. Например, *мысль* — 1. «Воображение, творческое воспроизведение, представление» (3, 123) — нисходящая градация. Здесь как в цитатах «Слова», так и в иллюстрациях можно заметить колебания словоупотреблений в сторону каждого из трех его компонентов, хотя все три — синонимы. «Воображение» и «представление» более близки между собой, чем «творческое воспроизведение» (этот компонент имеет свою специфику, более узкую); поэтому контексты с уклоном в пользу этого последнего легче поддаются выделению: «Боянѣ... растѣкашется мыслію по древу...», 2—3, Слово о полку Игореве; «Бых мыслию паря, аки орель по воздуху» (Сл. Дан. Зат., 22, нач. XVII в. ~ XII в.); ср. также: *слава* — 1. // «Честь, достоинство, доброе имя» (5, 154) — нисходящая градация; *дума* — 3. «Совет, указание» (2, 55) — восходящая градация.

Когда связь между компонентами в значении понятийно-смысловая, словоупотребления в иллюстративном материале семантически становятся разнообразнее. Например: *буеть* — 3. «Своеволие, дерзость» (1, 74) — восходящая градация: в первой цитате уклон в сторону «дерзость» («дрѣзь же не буетию» Шест. Ио. екз., 37, 1263 г.), во второй — в сторону «своеволие» (по волю има бѣ далѣ, она ж в буети в ненаказании все зло творяста). Измар., 95, перв. пол. XVI в. ~ XIV—XV вв.). *Рѣчь* — 7. «Обвинение, донос, наговор» (5, 43) — восходящая градация (по линии морально-этической негативности), тоже понятийно-смысловая связь; здесь цитатный материал последовательно склоняется в сторону каждого из компонентов (1. Флав. Полон. Иерус., 200 — к «обвинению»; 2. Там.

же, 209¹ — к «доносу»; 3. Пр. Рус., 132 — к «наговору»). Ср. еще: *слово* — 5. «Совет, повеление» (5,170) — здесь компонент «повеление» стилистически окрашен, что иногда облегчает выделение соответствующих словоупотреблений.

Элементная связь между компонентами в качестве более далекой, чем понятийно-смысловая, теоретически предполагает еще большие расхождения между словоупотреблениями в цитатном материале. В Словаре-справочнике «Слова» элементная связь встречается довольно редко и продиктована разными причинами, чаще самим контекстом. Например: *рать* — 3. // (третий оттенок к значению «война»). «Нападки, козни» (5,30) — восходящая градация: здесь «козни» вытекает из контекста «Или преста от тебе рать бѣсовскаа» [Патер. Печ. (Абр.), 163, XV в. ~ XIII в.]. *Смага* — 2. «Сухость, жар» (5,176) — восходящая градация; здесь элементная связь объясняется и контекстом: «на губахъ смага спадеть, и тѣло все загорится» (Пам. др. церк. учит. лит., III, 96, XII в), и неясностью употребления слова *смага* в Слове о полку Игореве («смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ», 20).

Следующую рубрику «компонентного» вида описания значений существительных в Словаре-справочнике «Слова» можно условно назвать «равнозначной». Она характеризуется компонентами, которые максимально синонимичны друг другу. Это слова и выражения, представляющие абсолютные синонимы или почти таковые. Прежде всего, это фонетические и морфологические варианты. Например: *листвие* — собир. «Листья, листва» (3,63); *полудние* — 1. «Середина дня, полдень» (4,147); *пóлночь* — 1. «Середина ночи, полночь» (4,148). Сюда относятся и исторические термины, требующие подробностей объяснений-расшифровок: *городъ* — 3. // «Осадный городок, подвижная башня с воинской силой для штурма крепости» (1,171); *душа* — 1. «Жизненное начало, то, что дает человеку жизнь и остается нетленным после его смерти (религ.)» (2,59); *крамола* — 1. «Междоусобная война, длительный военный раздор близких людей, народов» (3,18); *ожереліе* — 3. «Часть одежды, покрывающая плечи, оплечье» (4,25); *сѣнь* — 4. «Переносный храм в шатре, скиния» (5,126). Иногда компоненты семантически равнозначны, но являются стилистическими синонимами. Такое описание значений обычно отражает стилистические и жанровые различия иллюстрирующего материала; например: *лоно* — 2. «Чрево, утроба» (3,66) — компонент «чрево» (церк. книжн.) отражает цитату из Библ. Генн., Пл. Иерем., II, 12, 1499 г.; «утроба» (простореч.) — из Физиол., 217, кон. XV — нач. XVI вв. Ср. также: *рана* — 3. «Болезнь, недуг» (5,13) — здесь даны примеры из памятников разных жанров: Остр. ев., Ж. Бор. Глеб. (Усп.) и Ипат. лет.; *сила* — 1. «Войско, воинство» (5,136) — церк. торжественное «воинство» лучше соответствует цитате из Сл. Испол. об антихр., 22, = XII в. Особо следует отметить определение слова *сыновець* — 2. «Племянник, сын брата» (5,259) — один компонент «племянник» был бы недостаточен, так как в современном языке обозначает также и сына сестры. Некоторые описания значений в Словаре-справочнике «Слова» содержат равнозначные компоненты-синонимы («абсолютные» синонимы-слова и выражения), чтобы как можно точнее дать определение семантики не только тех цитат, которые отобраны в издании, но и вообще, поскольку в каждом максимально близком синонимическом компоненте есть свое лексико-семантическое «я». Это «я» было отражено в цитатах рукописи Словаря-справочника «Слова», которые не вошли в издание вследствие сокращения объема. Особенно в этом отношении пострадал пятый выпуск, когда из нескольких цитат приходилось оставлять лишь одну-две. Эти тонкие элементарные лексико-семантические различия в очень близких синонимических компонентах трудно улавливаются даже в самих описаниях значений, т. е. в пределах современного русского языка. Тем более трудно поймать их отражение в древнерусских текстах, иллюстрирующих данные значения. Примеры: *гласъ* — 3. // ... // «Отзвук, отголосок» (1,158); *гроза* — 2. «Угрожающая, приводящая в трепет сила, устрашающее превосходство» (1,179—180); *древо* — 3. // собир. «Поленья, дрова» (2,48); *земля* — 3. // «Народ какой-н. страны, люди, населяющие стра-

ну (2, 126); *мгла* — 1. «Темнота, мрак» (3, 81); *похоть* — 3. «Душевное состояние, расположение духа» (4, 177); *сердце* — 1. «Внутренний мир человека, совокупность его чувств, мыслей, переживаний» (5, 126); *слово* — 9. «Дар речи, способность говорить» (5, 171); *сонъ* — 1. «Сновидение; то, что снится» (5, 195); *столя* — 5. «Столица, стольный град» (5, 221); *судъ* — 1. // «Судебная деятельность, правосудие» (5, 249). Как видим, компоненты в «равнозначной» рубрике различны по составу: отдельные слова-синонимы, синонимические выражения, однако связь между ними — только синонимическая и максимально близкая. Многие из этих компонентов носят расшифровывающий, уточняющий характер.

В Словаре-справочнике «Слова» встречается в небольшом количестве еще один подвид «компонентного» описания значений слов. Хотя он не представляет собой чего-либо существенно нового по сравнению с предыдущими, однако заслуживает некоторого внимания. Это описание состоит из двух или трех неоднозначных компонентов-существительных, семантические схемы которых количественно равны или почти равны. В этих случаях самым важным моментом является их стык, т. е. их совпадение в семантических схемах между собой. Как правило, они синонимичны, однако характер стыка бывает разным. Прямой стык: *дань* — 2. «Дар, приношение» (2, 13). — Это — синонимы, имеющие в семантике по три значения. Оба — стилистически окрашены: устар., книжн.; «дар» в первом значении: «приношение, подарок». Прямой, но ограниченный в употреблении стык: *гора* — 2. «Берег, суша» (1, 167) — компоненты-синонимы в морском обиходе, имеют по два значения в семантике: стык в значении «суша» в противоположность воде, морю. Само слово *гора* в семантике «берег» тоже сохранилось в наше время лишь в диалектах. Общий стык: *печаль* — 3. «Искушение, испытание» (4, 75); компоненты имеют по три значения, однако точный стык в каком-либо одном из компонентов здесь определить невозможно, так как «искушение» в христианском понимании как соблазны дьявола одновременно является и «испытанием», т. е. проверкой душевной религиозной стойкости. Есть стык «элементного» различия. Например: *повѣсть* — 1. «Рассказ, повествование о чем-л.» (4, 94—95); *рѣчь* — 4. // 2-й оттенок — «Повествование, рассказ» (5, 42); *слово* — 2. «Повествование, рассказ» (5, 167). Компоненты данных трех слов-синонимов имеют в семантической схеме по три значения, здесь они синонимичны тоже между собой. Однако в лексеме *повѣсть* наблюдаем другую расстановку компонентов по сравнению с *рѣчь* и *слово*. Одна объясняется элементной разницей стыка компонентов этих лексем. Стык у них общий: «словесное изложение, описание каких-л. событий», но в лексемах *рѣчь* и *слово* добавляется семантический элемент «подробного, спокойного и бесстрастного» изложения событий.

Таковы основные виды компонентного типа описания значений имен существительных в Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве». Эти виды могут быть применены при описании значений слов, выраженных и другими полными частями речи (прилагательные, глаголы и т. д.), с некоторыми вариациями в зависимости от специфики той или иной части речи.

ИСТОЧНИКИ

- Апокал. — Апокалипсис с толкованиями Андрея Кесарийского. — Рукоп. БАН, собр. Никольского № 1. XII—XIII вв.
 Библ. Генн. — Книги ветхого и нового завета. Писаны в 1499 г. в Новгороде, при дворе архиеп. Геннадия. — Рукоп. ГИМ, собр. Синодальное № 915.
 Ефр. корм. — *Бенешевич В. Н.* Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. 1. СПб., 1906.
 Ж. Бор. Глеб. (Усп.) — Сказание и страсть и похвала св. мученику Бориса и Глеба. — В кн.: Успенский сборник XII—XIII вв. Изд. подгот. Князевская О. А., Демьянов В. Г., Ляпон М. В. Под ред. Коткова С. И. М., 1971.
 Ж. Нифонта — Житие преподобного... Нифонта (список 1219 г.). — В кн.: *Ристенко А. В.* Матеріали з історії візантійсько-слов'янської літератури та мови. Одеса, 1928.
 Изб. Св. 1076 г. — В кн.: Изборник 1076 года. Изд. подгот. Голыщенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефедов Г. Ф. М., 1965.

- Измар.— Измарагд. XIV—XV вв. (список первой половины XVI в.).— Рукоп. БАН 13.2.7.
- Ипат. лет.— Ипатьевская летопись (список XV в.).—ПСРЛ. Т. 2. М., 1962 (воспроизведение 2-го изд. — СПб., 1908).
- Новг. корм. 1282 г.— Кормчая Новгородская. 1282 г.— Рукоп. ГИМ, собр. Синодальное № 132.
- Новг. I лет.— Новгородская первая летопись старшего извода по Синодальному списку XIII—XIV в.— В кн.: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. и с предисл. Насонова А. Н. М.—Л., 1950.
- Остр. ев.— Остромирово евангелие 1056—1057 года. С прилож. греч. текста евангелий и с грамматич. объяснениями, изд. Востоковым А. Х. СПб., 1843.
- Пам. др. церк. учит. лит. III — Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. Вып. III. Изд. журн. «Странник». Под ред. Пономарева А. И. СПб., 1897.
- Патер. Печ. (Абр.) — *Абрамович Д.* Киево-Печерский патерик. У Києві, 1930.— В кн.: Пам'ятки мови та письменства давньої України. Т. IV.
- Пр. Рус.— Правда Русская (Синодальный вид, список 1282 г.).— В кн.: Правда Русская. Т. I. Под ред. Грекова Б. Д. М.—Л., 1940.
- Пчела — Древняя русская Пчела по пергаменному списку. Труд Семенова Виктора.— Сб. ОРЯС, 1893, т. LIV, № 40.
- Сл. Дан. Зат.— Слово Даниила Заточника (Академический список нач. XVII в.) — В кн.: Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Пригот. к печати Зарубин Н. Н. Л., 1932 (Памятники древне-русской литературы. Вып. 3).
- Сл. Испол. об антихр.— *Невостроуев К.* Слово св. Ипполита об антихристе в славянском переводе по списку XII века... М., 1868.
- Физиол.— *Карнеев А.* Материалы и заметки по литературной истории Физиолога. СПб., 1890 (Изд. ОЛДП, № ХСII).
- Флав. Полон. иерус.— *Мещерский Н. А.* История иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.—Л., 1958.
- Хрон. Амарт.— *Истрий В. М.* Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Т. I. Текст. Пг., 1920.
- Шест. Ио. екз.— Шестоднев, составленный Иоанном ексархом Болгарским по харатейному списку Московской синодальной библиотеки.— ЧОИДР, 1879, кн. 3.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии.— В кн.: Избранные работы по языкознанию и фонетике. Ч. I. Л., 1958, с. 69.
2. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Составитель Виноградова В. Л. Под ред. Ларина Б. А., Богородского Б. Л., Лихачева Д. С. Вып. 1. А—Г. М.—Л., 1965; Вып. 2. Д—Конь. Под ред. Богородского Б. Л., Лихачева Д. С., Творогова О. В. Л., 1967; Вып. 3. Корабль — Нынешний. Под ред. Богородского Б. Л., Лихачева Д. С., Творогова О. В. Л., 1969; Вып. 4. О—П. Под ред. Богородского Б. Л., Лихачева Д. С., Творогова О. В. Л., 1973; Вып. 5. Р—С. Под ред. Богородского Б. Л., Лихачева Д. С., Творогова О. В. Л., 1978, Вып. 6. Т—Я. Под ред. Богородского Б. Л., Лихачева Д. С., Творогова О. В. (в печати).
3. *Касарес Х.* Введение в современную лексикографию. М., 1958, с. 177—178.
4. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955, с. 271.
5. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. I., М., 1935; Т. II. М., 1938; Т. III. М., 1939; Т. IV. М., 1940.
6. *Потебня А. А.* К истории звуков русского языка. III. Варшава, 1881, с. 41.
7. *Поспишиль А. О.* Греческо-русский словарь. Киев, 1890, с. 236.
8. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. М., 1893; Т. II. СПб., 1895; Т. III. СПб., 1903.
9. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 5. М., 1978, с. 248.
10. *Виноградова В. Л.* О методе лексикологического изучения текста «Слова о полку Игореве». — ВЯ, 1978, № 6.

КИМ С. С.-Д.

О ПРЕЛОМЛЕНИИ В ТОЛКОВЫХ И ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ ЕДИНСТВА ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Заметки редактора)

Определяя место больших толковых словарей в практической лексикографии, не будет преувеличением, если назовем их главными словарями народа, нации, носителя и творца данного языка. Такое место толковый словарь занимает прежде всего потому, что именно в нем (и ни в каком другом письменном жанре) представляется язык в единстве его сложной системы и многогранной речевой деятельности.

Относительно полное лексикографическое описание основного массива слов языка в двух указанных ипостасях — сложнейший, кропотливейший труд. На создание такого типа универсальных словарей уходят десятилетия, причем в силу тех или иных объективных и субъективных причин они нередко остаются незавершенными. Поэтому даже у народов с богатыми лексикографическими традициями на протяжении столетий такие словари создаются единицами. В этом аспекте главный словарь нации можно образно назвать также словарем века.

В первые же послеоктябрьские годы В. И. Ленин предпринимал конкретные шаги по созданию словаря, в котором было бы представлено богатство русского языка от Пушкина до М. Горького. С тех пор прошло более 60 лет. Ныне советский народ пользуется толковыми словарями Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова, большим и малым академическими словарями. В последней четверти XX в. читатель получит новые, более совершенные академические толковые словари русского языка.

Форсирует создание толковых словарей и национальная лексикография. Достаточно в этой связи напомнить о выходе в свет толковых словарей родного языка во всех среднеазиатских республиках, таких, например, как двухтомный Толковый словарь узбекского языка (М., 1981) в 60 тыс. словарных единиц.

В условиях нашей многонациональной страны — расцвета и сближения наших народов, взаимовлияния и взаимообогащения языков, все углубляющегося процесса билингвизма — огромное значение, наравне с большими толковыми словарями, приобретают двуязычные словари — русско-национальные и национально-русские, создаваемые, как правило, на базе толковых словарей и потому, естественно, в принципе повторяющие в левой части основные составляющие словарных статей последних, например толковых словарей русского языка, — заглавное слово, его грамматическую и функционально-стилистическую характеристику, иллюстративный материал, фразеологию.

Логика построения словарных статей в толковых и двуязычных толковых словарях вытекает из универсальной логики самого языка. Поэтому столь сходно, едино представление слова в лексикографической традиции на протяжении веков в одной стране и в различных регионах. Так, основные компоненты словарных статей действующих толковых словарей современного русского языка мы встретим в дореволюционных толковых словарях русского языка, в частности в первом из них — Словаре Академии Российской, созданном в конце XVIII в.

Такова же, по свидетельству исследователей лексикографии Востока [1], архитектура статей в средневековых арабских, персидских, таджикских и староузбекско-персидских словарях — заглавное слово, толкование значений, подтверждающие примеры, цитаты. При этом ввиду особенностей арабского алфавита (отсутствия гласных графем) значительное место в этих словарях занимают фонетические, орфоэпические объяснения, что является, как справедливо замечает Э. Умаров [2], исключительно ценным материалом для исследователей истории вокализма этих языков.

Единство лексикографических решений в практике составления толковых словарей (будь то в Европе или на Востоке) — не случайное совпадение. Оно, повторяем, отражение в словарях диалектики природы языка, его двоякой сущности — языковой системы и речевой деятельности. Главное, что объединяет авторов толковых и двуязычных толковых словарей прошлого и настоящего, — это решительное отрицание ими статической подачи слов, стремление раскрыть их семантику в контексте с другими словами, т. е. в речевой деятельности.

Таким образом, практическая лексикография, независимо от учения об оппозиции языка и речи, стихийно, но верно шла к утверждению в словарях единства языковой системы и речевой деятельности. При этом, говоря словами Ю. Н. Караулова [3, с. 144], в словарях, стремящихся к универсальности, следовательно, прежде всего в толковых, параметры языковой структуры, входящие в эти словари, варьируют в зависимости от целевых установок авторов и типологических особенностей языка, однако «постоянной величиной» в них оставалась и остается структурная организация: слово в статике с необходимым минимумом грамматических сведений и его употребление, реализуемое в примерах на лексическую и синтаксическую сочетаемость, в цитатах, пословицах и поговорках, фразеологии.

Дальнейшее совершенствование содержания и структуры рассматриваемых словарей тесно связано с достижениями современного языкознания.

Органическая связь теории и практики, столь необходимая для практической лексикографии, была убедительно продемонстрирована на Всесоюзной конференции «Слово в грамматике и словаре», состоявшейся в 1981 г. [см. 4].

Рассмотрим здесь отдельные положения, обсужденные на конференции, и проблему «лексикографической параметризации языка» [3, с. 143], преломления языковой системы и речевой деятельности в толковых словарях русского языка на национальном языке.

Тезис о слове как разнонаправленно работающей единице, реализующей два присущих ей активных потенциала: «центростремительный» и «центробежный» (Н. Ю. Шведова), говорит о необходимости представления в словарях достаточного для адресата минимума морфолого-семантических параметров (центростремительный потенциал) и синтаксических образцов (центробежный потенциал) [см. 4, с. 140—141].

Что же мы имеем в виду, говоря о достаточном для адресата языковом и речевом минимуме? С позиции социолингвистики это означает учет уровня знаний русского языка тех, кто будет пользоваться словарем. В условиях осуществления в нашей стране всеобщего среднего образования уровень этот вполне соответствует для понимания массовым читателем языковой информации, данной в словарях в терминах нормативного курса русского языка. При их создании нельзя, стало быть, опускаться ниже этого уровня и превышать его. В первом случае подстерегает опасность трансформации академического словаря в учебный, во втором — опасность чрезмерного усложнения, могущего сделать словарь трудным для массового читателя.

Социальный заказ на большие русско-национальные словари поступает от массового читателя, стремящегося овладеть русским языком как вторым родным языком. И именно эта социально значимая задача подчеркивается во всех русско-национальных словарях, изданных в 50—70-е годы. Например, в предисловии к Русско-чувашскому словарю читаем: «Предлагаемый Русско-чувашский словарь предназначен для массового пользования

как чувашскими, так и русскими читателями» [5, с. 7]. Однако в аннотации редакции содержится информация, противоречащая той, что дана в предисловии: «Словарь предназначен для переводчиков, работников печати, радио и телевидения, высших учебных заведений Чувашской АССР, а также для тюркологов» [5, с. 2].

Какое из этих сообщений более соответствует действительности? Если судить по тиражу (40 тыс. экз.), то следует согласиться с первым. Если же рассматривать словарь с точки зрения доступности, то правы авторы аннотации.

Ближайшая задача русско-национальной лексикографии — преодолеть это противоречие с помощью усиления в словарях речевой направленности.

С позиции лингвистики и лингвометодики статус достаточного для адресата языкового и речевого минимума означает строгий отбор центростремительных параметров русского слова с его сложной морфологической структурой, с одной стороны, и центробежных потенциалов, находящихся реализацию в различных типах (моделях) лексической и синтаксической сочетаемости слов, с другой.

Описание и объяснение всей системы словоизменения — компетенция грамматики. Из нее лексикография отбирает минимум, который, по мнению создателей словарей тех или иных типов, достаточен для описания слова в данной словарной статье. И так на всех языковых и речевых уровнях.

Отказ в целом от демонстрации специфических словоформ, принятый большинством лексикографических коллективов по рекомендации, разработанной в 1951 г. Главной редакцией иностранных и национальных словарей, следует расценивать как отход от речевого направления в подаче слова, как нарушение принципа презентации двуединой природы языка в двуязычных толковых словарях. Заглавное слово, снабженное лишь категорией помех, во многих случаях ни о чем не говорит нерусскому читателю. Этот недостаток усугубляется еще и тем, что в словарях весьма бедно представлен иллюстративный материал.

Решение вопроса о лексикографически целесообразном определении минимума грамматических сведений и синтаксических образцов для русско-национальных словарей остается открытым. В процессе опытной проверки — редактирования нового, двухтомного Русско-узбекского словаря как от избыточной информации мы отказались от отдельного размещения в словаре трудных словоформ с малым фонемным составом [6, с. 45], так как вполне достаточно показ их особенностей в составе исходных заглавных, например: *растй, -тй, -тёшь; рос, -лй*, т. е. как принято в действующих словарях русского языка.

Если исходить из методических (обучающих) требований, то не вызывает сомнений позитивность предложений о включении в русско-иноязычные словари языковых сведений в большем объеме, нежели в словари, предназначенные для носителей русского языка. Это естественно, ибо показ трудных случаев словоизменения более необходим нерусским, чем русским, с молоком матери впитавшим родную речь. Однако беспредметны общие рассуждения о расширении информации без достаточного учета лексикографических возможностей, в частности объема словаря. Чтобы, например, в доступной для массового читателя технике, без адаптации передать содержание малого академического словаря русского языка [7], в переводе потребовалось бы вдвое увеличить его объем. На это, конечно, не может пойти практическая лексикография. Поэтому так остро стоит вопрос об определении минимума по всем параметрам левой, русской, части, включаемой в русско-национальные словари.

За исходную точку при определении языкового и речевого минимума для русско-национальных словарей следует принять то, что выработано русской лексикографией и реализовано в действующих толковых и орфографических словарях русского языка, в которых, в частности, как обязательное требование узаконена демонстрация словоформ, отличных от исходных. При этом следует провести коррекцию в направлении сокра-

щения принятого в этих словарях грамматического аппарата с тем, чтобы разгрузить левую (субъектную, русскую) часть в пользу правой (предикатной, толкующей, национальной) части, добиваясь вместе с тем сохранения достаточного минимума.

Безусловно, трудно сократить и *и* без того предельно минимальное. Но такие возможности надо искать.

В словарях русского языка много места занимает показ словесных ударений. Это необходимость, вытекающая из особенностей русской акцентологической системы. Но тем не менее мы предлагаем провести разгрузку грамматического аппарата за счет частичного отказа от этого принципа — демонстрации при исходной форме слов, особенно имен существительных, вариантов ударений в косвенных формах, в большинстве случаев смысло-различительных, однако с условием раскрытия этих особенностей в речевой части, с помощью подбора соответствующего иллюстративного материала.

Обратимся к примерам. В словаре С. И. Ожегова грамматический аппарат в статье *бок* представлен так: *бок, -а (у), о ббке, на бокѹ, мн. бокá, -бе, м. [8]*; в малом академическом словаре — *бок, -а, предл. о ббке, на бокѹ, мн. бокá м. [7, 1]*; в орфографическом словаре — *бок, -а, предл. о ббке, на бокѹ, мн. -á, -бе [9]*. Наш вариант — или *бок м., или бок м., мн. -á*.

В словарях русского языка, как видим, обеспечен достаточный минимум, в нашем предложении — явная информативная недостаточность. Но если в речевой части статьи мы дадим недостающие формы в примерах (например, *лежать на бокѹ, в бокѹ колет* и др.), то тем самым восполним грамматическую недостаточность. Причем в качестве примеров можно использовать эти же предложные сочетания без дополнительной их дистрибуции, так как и вне предложений они вполне обладают статусом синтаксических единиц.

Операция перемещения в примеры, в речь косвенных форм с вариантами ударений несложна. И если ее возвести в принцип и осуществить во всех случаях, то будет усилена речевая направленность словарей — основное требование современной методики обучения русскому языку в национальной аудитории.

Речевой минимум в словарях непременно должен быть рассмотрен с точки зрения психологии, психолингвистики — теории речевой деятельности.

Слово как основная единица второй сигнальной системы соотнесено с предметами и явлениями действительности, с которыми сталкивается человек в своей практической, теоретической, творческой деятельности. Чем больший у человека жизненный, трудовой опыт, чем богаче его духовная жизнь, тем многогранней ассоциативные связи, вызываемые словом. В качестве примера здесь уместно привести известные всем нам со школьных лет пушкинские строки: «Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» [10]. В этом предельно простом, емком поэтическом образе нет ни слова, которое бы указывало на исторические, материальные и духовные культурные ценности, ассоциирующиеся с Москвой и вызывающие в сердце русского патриотические чувства. Но они подразумеваются, они в сердце русского, они данность ассоциаций. В этих строках нас поражает не только глубина выражения чувств, но и то, что поэт подмечает, как в слове «сливаются», «отзываются» сигналы, поступающие в наше сознание из вещного мира.

Пушкинские строки приведены для того, чтобы показать искусство передачи экономными средствами емкого содержания. Словарное дело, разумеется, не художественное творчество, а словарная статья — не поэтическое произведение. Но в жанре словарей, как и во всех других письменных филологических жанрах, надо искать предельно экономные средства передачи ассоциаций, вызывающихся словом и воплощающихся в высказываниях, надо определить минимум примеров, иллюстративного материала (под иллюстративным материалом мы и имеем в виду реализацию ассоциативных связей в словарях), ограниченный лексикографическими рамками.

Акад. Л. В. Щерба писал: «...не мудрствуй лукаво, а давай как можно

«больше разнообразных примеров» [11, с. 285]. При этом он подчеркивал, что «нет надобности приводить однообразные цитаты; но исчерпать их разнообразие совершенно необходимо» [11, с. 285].

К первому тезису, разделяемому, по свидетельству Л. В. Щербы, первоклассными филологами, мы относимся как к гиперболе, как к стремлению создать идеальный универсальный словарь. Конечно, хороши те словари, в которых читатель найдет как можно больше примеров, цитат. Однако это максимальная задача, вряд ли практически осуществимая на материале основного массива слов того или иного языка, тем более в русско-национальных словарях, в которых перевод вдвое увеличивает их объем по сравнению с одноязычными.

Во втором высказывании содержится два положения — о ненужности приводить однообразные цитаты и необходимости исчерпать их разнообразие. Само собой разумеется, первый тезис необходимо в современной русско-иноязычной лексикографии возвести в принцип в качестве одного из основных требований к минимизации речевых образцов. Что же касается второго требования, то практика показала, что такая задача вполне выполнима, но в рамках специальных словарей сочетаемости слов.

Учебный словарь сочетаемости слов русского языка [12] включает около 2500 словарных статей при объеме 123,39 уч.-изд. л. В нем дано достаточно полное лексикографическое описание сочетаемости слова русского языка. Если эти сведения (а это всего лишь часть «разнообразных цитат») включить в большой русско-национальный словарь, то такое дополнение, причем с переводом, привело бы к увеличению его объема в десятки раз, на что, разумеется, не пойдет ни один лексикографический коллектив. Позитивным представляется положение, сформулированное Н. З. Котеловой: «В общих толковых словарях и в описательных грамматиках информация о синтаксической сочетаемости слова должна занимать место, соответствующее ее статусу в структуре языка: в словарях — соответствующее степени ее отнесенности к лексике, в грамматиках — привлекаться для повышения корректности синтаксического описания, не выступая непосредственным объектом такого описания» [4, с. 142].

| Как принято в лексикографической практике, для иллюстрации значений слова используются краткие примеры, содержащие так называемый указательный минимум. И дело лексикографа — вложить в эти жесткие рамки многообразную речевую информацию, обновить ее, заменяя старые примеры новыми, отражающими факты и явления современной ему действительности.

По признаку отражения реалий примеры в словарях можно разбить условно на две группы: стандартные, слабо «привязанные» к определенной эпохе, и нестандартные, передающие информацию, в том числе и особенно надстроечного характера, порожденную тем или иным этапом социально-экономического развития общества. Примеры первой группы — *голубое небо, дождь идет, забить кол в землю* и т. п.; второй группы — *крепостная зависимость, сослать в Сибирь, революционное обновление мира, социальные преобразования, борьба за мир* и т. п.

Толковые словари должны отразить естественное соотношение двух указанных начал речевой информации. Нарушение объективно существующей нормы может отрицательно сказаться на качестве словаря. При преобладании примеров первой группы читатель получит некий вневременной словарь, а во втором случае — толковый словарь с креном в сторону специальных словарей.

В большинстве толковых словарей русского языка, как правило, естественно сочетаются стандартные примеры и нестандартные, заполненные новой, свежей информацией, «привязывающей» словари к современной действительности.

Особо поучителен в толковых словарях русского языка опыт иллюстрирования экономными средствами значений, обнаруживаемых лишь в сложных речевых ситуациях, сложных синтаксических построениях. Этим положительным качеством обладает, в частности, нормативный толковый словарь русского языка — словарь С. И. Ожегова, от издания

к изданию совершенствующий и осовременивающий примеры на синтаксическую сочетаемость.

Отбор иллюстративного материала для русско-национальных словарей — это прежде всего задача специалистов русского языка. Но в известной мере это также и задача лексикографов-переводчиков. Как показывает практика, при переводе иллюстративного материала, подготовленного специалистами русского языка, переводчики нередко перестраивают готовые примеры с тем, чтобы получить более точный по форме и содержанию перевод. Такие переделки, образно говоря, вызываются «сопротивлением материала» — типологическими различиями языков оригинала и перевода. И с этим нельзя не считаться. Например, нельзя не считаться с тем, что ввиду отсутствия в тюркских языках категории рода усложняется перевод таких простейших примеров, как *его (ее) книга*, *его (ее) нет дома* и т. п. Подобные изменения в примерах неизбежны. И хотя в новой редакции различные дополнительные включения воспринимаются как избыточные с точки зрения русской речи, но они допустимы.

Вместе с тем есть опасность нарушения границ допустимого. Главная опасность — интерференция языка перевода. Перестраивая примеры и особенно создавая собственные, переводчики невольно привносят элементы своей родной речи в русскую. Из замеченных нами в процессе редактирования первого тома Русско-узбекского словаря ошибок отметим такие, как *провода хорошо* (вм. *легко*) *гнется* — *сим яхши букилади*; *кончик* (вм. *угол*) *одеяла* — *курпани учи*.

В начальной редакции первый пример был дан в форме простого нераспространенного предложения — *провода гнется*, т. е. в форме, вполне достаточной для иллюстрации значения в толковых словарях русского языка. Однако «сопротивление материала» вынудило переводчика распространить его наречием *хорошо* (*яхши*), в узбекском языке совмещающем как значение «хорошо», так и «легко». Механизм интерференции во втором примере, появившемся в словаре по инициативе переводчика, аналогичен первому: лексема *уч(и)* передает не только значение «кончик», но и «угол», например: *кончик карандаша* — *қалам учи*, *кончик носа* — *бурун учи* и *угол одеяла* — *курпани учи*.

Своеобразным проявлением интерференции в условиях билингвизма следует признать различного рода вкрапления в русскую речь элементов национальной лексики. Например, к третьему значению слова *теребить* «выдергивать с корнем, убирая с полей» редактор Русско-узбекского словаря добавил (в рукописи) пример *теребить гузанаю* (*гузанаю* — кусты хлопчатника, с которых снят хлопок). Конечно же, примеры, отражающие местные реалии и тем самым усиливающие лингвострановедческий аспект словаря, необходимы, но ни в коем случае нельзя это делать с помощью заимствований, носящих локальный характер, не приобретших статуса лексических единиц современного русского литературного языка и, стало быть, статуса словаря, тем более нормативного.

Русский язык — великое достояние народов СССР. В процессе функционирования он обогащает другие языки и обогащается сам. В речи жителей различных районов страны наблюдаются сотни заимствований, носящих региональный характер. Они свободно употребляются в местной периодике, выходящей на русском языке, художественной литературе. Причем эти национальные элементы выступают в текстах не только как изобразительные средства, придающие описанию «местный колорит», но и как нейтральные, незаменимые в данном контексте единицы, передающие информацию о реалиях, отсутствующих в других регионах. Безусловно, некоторые из них со временем войдут в лексику русского литературного языка, как в свое время вошли такие слова, как *арык*, *домбра*, *дугар* и др. Однако переоценивать свойство лексики — наиболее проницаемого уровня языка — обогащаться за счет заимствований, что имеет место в некоторых исследованиях, не следует. По данному вопросу мы разделяем точку зрения В. В. Иванова [3] и Г. Н. Асланова [4].

Нарушения норм русской речи в целом можно рассматривать как своеобразный «отрицательный языковой материал» [11, с. 33], проявляющийся

в условиях русско-национального и национально-русского двуязычия. Детальное изучение этого материала, установление типов ошибок и выработанные на этой основе рекомендации по их предупреждению приносят большую пользу методике преподавания русского языка и практической русско-национальной лексикографии.

Анализ «отрицательного языкового материала» дает возможность оттолкнуться от противного и выработать некоторые методические рекомендации по отбору и составлению примеров для русско-национальных словарей:

1. При составлении оригинальных примеров добиваться предельного лаконизма. Важно, чтобы каждый компонент, входящий в состав предложения, был подчинен цели иллюстрации именно данного значения. Это само собой разумеющееся требование. Но нередко об этом забывают. Так, в Русско-казахском словаре в статье *вялы* дано три примера: *вялое настроение*, *вялая работа* и *вяло тякали где-то собаки* [15, I]. Как видим, в статье нет примера на первое значение — «увядший», но зато есть третий пример (обратите внимание на несочетаемость лексем *вяло тякают*, *мякут*, *рычат* и т. д.), который сводит на нет всю статью. В статье *очнуться* значение «прійти в себя» иллюстрируется тремя примерами, в том числе: *вечным праздником быстро бегущая жизнь очнуться тебе не даёт* [15, II]. Такие многословные примеры (даже цитаты) не обеспечивают единства слова и текста, отрицательно «отзываются» в читательском восприятии и к тому же не отвечают требованиям жесткой экономии.

2. Наложить категорический запрет на практику составления собственных примеров для иллюстрации значения слов с ограничительными пометами. Использовать при этих словах в качестве иллюстративного материала цитаты. Так, неприемлем «оригинальный» пример *охотник топором отнес полчерепу медведю* [15, II], составленный по образцу, взятому из басни И. А. Крылова «Крестьянин и работник», тогда как басенный текст [*Работник*] *отнес полчерепу медведю топором* со ссылкой на баснописца вполне отвечает целям иллюстрации одного из значений слова *отнести* — «смаху отрубить», так как он воспринимается читателем в контексте басни и потому не вызывает в нем отрицательных эмоций. То же самое следует сказать и о таких примерах на смешение стилей, как *он отверз книгу и начал читать, отрасль рабочей династии* [15, II] и др.

3. Рекомендации, рассмотренные выше, носят частный характер. Главное же требование сформулировано Л. В. Щербой: «...словарная работа, как основанная исключительно на семантике, требует особо тонкого восприятия языка, требует, я сказал бы, совершенно особого дарования, которое по какой-то линии, вероятно, родственно писательскому дарованию (только последнее является активным, а дарование словарника — пассивным и обязательно сознательным)» [11, с. 289]. Конечно же, полноценные примеры, отвечающие высоким лексикографическим требованиям, могут создавать лишь словарики, обладающие особым дарованием, равно как и творцами высокохудожественных произведений могут быть лишь одаренные, талантливые писатели. Лексикографическое мастерство надо развивать в себе постоянно, с такой же настойчивостью, как это делают повседневно мастера слова.

Что касается цитатного материала, его места в толковых и двуязычных толковых словарях, то практическая лексикография на протяжении всей своей истории в целом однозначно решает этот вопрос: даже при наличии словарей писателей сложилась традиция давать этот ценнейший материал в словарях. Без этого материала рассматриваемый тип словарей не мыслится.

Цитаты, как известно, — не просто вспомогательный материал, служащий для иллюстрации семантики слова, его употребления. Слово в них конкретно реализует свою способность отражать мир материальный и духовный, причем не стандартно, а в контексте, имеющем мировоззренческую (идеологическую, нравственную и эстетическую) ценность. Эта особенность рассматриваемых речевых единиц осознавалась всеми и всегда. Этим и объясняется традиционная привязанность к ним.

Русская советская лексикография имеет опыт создания толкового словаря без использования цитат. Это словарь С. И. Ожегова, в котором цитаты заменены речениями, причем замены, сделанные известными лексикографами, хотя во многих случаях и уступают по содержанию цитатам, но достаточно оперативно обеспечивают в жестких рамках однотомника показ минимума новых явлений в лексике русского языка нашего времени. В этом заключается одно из положительных качеств популярного словаря С. И. Ожегова. Видимо, при наличии академических толковых словарей практически целесообразно иметь и словарь «оперативного жанра» без цитат, такой, как словарь С. И. Ожегова, но, подчеркиваем, только при условии, если параллельно действуют словари более фундаментальные, с цитатным материалом.

За последние два-три десятилетия русско-национальная лексикография, за отдельными исключениями, отказалась от использования цитат. Безусловно, идя на такой шаг, лексикографы понимали его плюсы и минусы: п л ю с ы — возможность увеличения объема словника, значительное облегчение задач перевода; м и н у с ы — снижение воспитательной функции словаря, резкий спад обучающих его качеств в связи с ослаблением представления слова в тексте, в речи.

С наметившейся в настоящее время тенденцией заменять в словарях в целях экономии места цитаты речениями (см. об этом, в частности, статью К. С. Горбачевича [16]) можно было бы частично согласиться, если бы требование замены проводилось последовательно. Но на практике такая замена производится редко, неохотно, и словарные статьи фактически остаются оголенными, без речевого подкрепления.

Вместе с тем необходимо отметить, что часть иллюстраций вообще не поддается операции замены. Это большинство цитатных иллюстраций к словам с ограничительными пометами, особенно к словам, вышедшим из современного употребления. О том, к каким нежелательным результатам могут привести вольные замены, красноречиво говорит опыт отдельных лексикографов (см., например, [15]).

Вопросы, рассмотренные выше, дают возможность определить тип русско-национальных словарей изданий 50—70-х годов. Итак, языковые и речевые нововведения (отказ от демонстрации особенностей словоизменения и чрезмерное сокращение иллюстративного материала) привели к появлению в советской лексикографии русско-национальных словарей, доступных сравнительно узкому кругу специалистов, наперекор социальному заказу на большие словари, поступающему от массового читателя. Разумеется, словарь, адресованный специалистам, имеет право гражданства, но это не главный русско-национальный словарь данной социалистической нации.

Главная задача русско-национальной лексикографии, продиктованная социальным заказом развитого социалистического общества, — создание толковых словарей русского языка на том или ином национальном языке, удовлетворяющих потребности как узкого, так и широкого круга читателей. Кстати говоря, таким демократизмом обладают все действующие толковые словари русского языка, в том числе 17-томный академический — главный словарь русской социалистической нации XX столетия.

Диалектика природы языка и отражение его двойкой сущности в диалектике мышления, материализованной в толковых и двуязычных толковых словарях, — явление закономерное. Нарушение в словарях диалектического единства языка и речи ведет к резкому снижению их качества. Слово в толковых и двуязычных толковых словарях должно даваться так, чтобы убедительно раскрыть читателю, как проявляются его центростремительный и центробежный потенциалы, что возможно лишь при четком определении языкового и речевого минимума, достаточного для демонстрации слова в его статике и динамике.

Общие рекомендации должны быть опробованы на конкретных словниках. Надеемся в следующих заметках — заметках лексикографа — рассмотреть этот вопрос на материале словников русско-национальных словарей в 50 тыс. словарных единиц и большего объема.

1. История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
2. Умаров Э. А. товушининг XV асрдати сифат хусусиятлари ҳақида. — Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, № 1, с. 45—46.
3. Караулов Ю. Н. Об одной тенденции в современной лексикографической практике. — В кн.: Русский язык. Проблемы художественной речи. Лексикология и лексикография. (Виноградовские чтения IX—X). М., 1981.
4. Белоусов В. Н. Хроникальная заметка. — ВЯ, 1982, № 1.
5. Русско-чувашский словарь. Под ред. Андреева И. А. и Петрова Н. П. М., 1971.
6. Ким С. С.-Д. Вопросы комплексной разработки типовой русской части для русско-национальных словарей (Заметки практика). — ВЯ, 1981, № 5.
7. Словарь русского языка в четырех томах. М., 1957—1961.
8. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 10-е изд. Под ред. Шведовой Н. Ю. М., 1973.
9. Орфографический словарь русского языка. 15-е изд. М., 1978.
10. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. Л., 1978, т. 5, с. 134.
11. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
12. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. Денисова П. Н., Морковкина В. В., М., 1978.
13. Иванов В. В. Некоторые вопросы изучения русского языка как средства межнационального общения народов СССР. — ВЯ, 1981, № 4.
14. Асланов Г. Н. О культуре русской речи в Азербайджане. — ВЯ, 1981, № 6.
15. Русско-казахский словарь. Под ред. Мусабаяева Г. Г. Т. I. Алма-Ата, 1978; Т. II. Алма-Ата, 1981.
16. Горбачевич К. С. Словарь и цитата (о рационализации иллюстрирования слов и значений во втором издании Семнадцатитомного словаря). — ВЯ, 1978, № 5.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ХАБУРГАЕВ Г. А.

«СРЕДНИЙ ШТИЛЬ» М. В. ЛОМОНОСОВА В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Теории «трех штилей» посвящена обширная литература, в которой она, кажется, должна была бы получить разностороннюю оценку. Во второй половине XVIII в., в трудах непосредственных преемников М. В. Ломоносова, именно теория «трех штилей» оказалась в центре внимания и была канонизирована как жесткая рекомендация, закрепляющая различные слои лексики за определенными литературными жанрами, что позднее было расценено исследователями как своего рода тормоз в поступательном развитии языка художественной литературы предпушкинского периода. Лишь в 30-х годах нашего столетия была предпринята попытка взглянуть на теорию М. В. Ломоносова с позиций предшествующего состояния языка русской книжности, которая позволила В. В. Виноградову определить ее как «великую грамматическую реформу», внесшую «порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковнославянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII в.» [1, с. 100].

Спустя 20 лет после обоснования реформаторской сущности теории «трех штилей», в докладе «Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка», подготовленном к IV Международному съезду славистов (1958 г.), В. В. Виноградов, ссылаясь на опубликованные незадолго до этого материалы о списке «Риторики» 1620 г. [см. 2], включил рекомендации М. В. Ломоносова в общий процесс трихотомического членения речевых произведений, характерного для позднего средневековья, заявив, что «книжно-славянский и народно-литературный типы русского языка в их стилевых вариациях ко второй половине XVI — к началу XVII в. образуют три стилевых потока, три „рода глаголений“, или три стили литературного языка» [3, с. 140, разрядка наша. — Х. Г.]; теория же «трех штилей» М. В. Ломоносова в середине XVIII в. «лишь закрепляла то, что определилось в результате предшествующего развития стилей художественной литературы» [3, с. 204]¹. Эта идея, повторенная в последующих публикациях (вплоть до программной статьи 1969 г. [см. 3, с. 286—287]), с середины 60-х годов получила широкое распространение не только в работах, посвященных историко-стилистической проблематике (которая, собственно, и волновала В. В. Виноградова), но и в специальных (сугубо лингвистических) исследованиях и пособиях по истории русского литературного языка. В конечном счете оформилось нечто вроде общего убеждения в том, что глава «О трех родах глаголения» риторики, популярной с начала XVII в., «содержит учение о трех стилях литературной речи, их языковых средствах и жанрах литературы», свидетельствуя «о том, что в русском литературном языке второй половины XVI—XVII в. ясно обозначаются контуры системы трех стилей и лексико-грамматические различия между ними» [5; разрядка наша. — Х. Г.]; ср. (без упоминания

¹ Ту же мысль в лекциях 1949—1951 гг. (опубликованных спустя четверть века) излагал и Б. А. Ларин: «На самом деле Ломоносов не совершил никакого открытия, ибо теория трех „штилей“ в славянском литературном языке была создана еще в XVII в.» [4; разрядка наша. — Х. Г.].

об исторически невероятном «русском литературном языке» XVI в.): «Мы знаем, что теория деления языка на „три рода глаголанья“ излагалась уже в русской риторике 1620 г.» [6, с. 197].

С сожалением приходится констатировать, что все цитированные утверждения в плане процесса формирования норм национального русского литературного языка не соответствуют действительности, а главное — не соответствуют сущности тех нормативно-языковых рекомендаций, которые получили отражение в так называемой теории «трех штилей» М. В. Ломоносова, не имеющей ничего общего с «тремя родами глаголанья» компилятивной риторики позднего средневековья, кроме естественного (вполне традиционного) совпадения самого числа «три». Особенно важно при этом заметить, что «три рода глаголанья» не дают ключа к пониманию сущности оставшегося для исследователей «неопределенным» ломоносовского среднего «штиля», который невозможно соотнести со средним («мерным» или «посредственным») родом позднесредневековых руководств по красноречию. В этом нетрудно убедиться, вчитавшись в текст риторики и сопоставив ее содержание с языковой ситуацией, характеризовавшей Россию в XVII столетии и преодолеваемой в первой половине XVIII в. — вплоть до программных филологических трудов М. В. Ломоносова, в которых «теория трех штилей» занимает отнюдь не центральное место.

Термин *глаголанье* в позднесредневековой риторике не имеет никакого отношения к понятию стиля литературной речи и вообще не связан с категорией литературного языка. *Глаголанье* («говорение») — это «речевая деятельность», т. е. то, что в системе лингвистических понятий Ф. де Соссюра обозначено термином *langage*, а в современных построениях трактуется как совокупность частных функциональных разновидностей языка как средства общения народности или нации, включающая (объединяющая) системы кодифицированного литературного языка, нормированной устной речи, просторечия и диалектов [ср. 7]. Утверждение, будто глава «О тройных родах глаголанья» является учением «о трех стилях литературной речи», а выделяемые в ней «род высокий глаголанья» соответствует «высокому штилю» в системе стилей русского литературного языка XVIII в., «род мерный» — «среднему штилю», «род смиренный» — «низкому штилю» [8, с. 28—29], опровергается всем содержанием этой главы, четко разъясняющей, что речь идет не о стилях литературного языка, а о частных функциональных системах, которые предлагается строго разграничивать в зависимости от сферы речевой деятельности.

В самом деле: по утверждению риторики XVII в., низкий, или «род смиренный» есть, который не встает надъ обычаемъ повседневно-го глаголанья², как справедливо заметил В. В. Виноградов, «это речь, которую пользуется народ в повседневной жизни» [3, с. 141]³, а не в письменно-литературной деятельности. Смысл тезиса очевиден: этот «род глаголанья» находится за пределами письменно-литературного творчества, о чем, собственно, и предупреждает риторика.

Напротив, высокий «род глаголанья» — это система книжно-литературного языка, который «имеет метафоры» и «показует украшение глагола» и от которого отграничен средний, или «мерный» («умеренный») «род глаголанья», куда отнесены «письма, грамо-

² Текст соответствующей главы риторики (с учетом разночтений, в том числе и по старейшему списку 1620 г.) опубликован в [8, с. 185] в качестве «Приложения I»; см. также [2, с. 333, 352—353].

³ Тем удивительнее предшествующая фраза того же абзаца: «Смиренный род соответствует простому слогу, или „низкому штилю“ в системе стилей русского литературного языка XVII в.» [3, с. 141; разрядка наша. — Х. Г.]. Видимо, эта последняя формулировка и «спровоцировала» последующих авторов на преобразование осторожного тезиса В. В. Виноградова о том, что в риторике 1620 г. «уже явственно выступает учение о трех стилях языка» (там же), в тезис о том, будто риторика «содержит учение о трех стилях литературного языка». «Стиль языка», соответствующий по значению «роду глаголанья», — это совсем не то, что «стиль литературного языка».

ты и глаголы Кикероновы», т. е. явно деловой язык, противопоставленный, как явствует из разъяснений риторики, книжно-литературному (в условиях XVII в. — церковнославянскому) по сфере применения, а не как стиль единого литературного языка, которого до середины XVIII в. еще не было.

Понятен в этой связи и порядок перечисления «родов глаголаная», характеризующийся четкой внутренней логикой, если учитывать, что речь идет не о стилях литературного языка: риторика начинается с ограничения обиходно-разговорной («повседневной») речи (низкого, «смирненного рода») от любых форм письменного творчества, а уже затем указывает среди этих форм сначала наиболее значимую — собственно литературную (включая, разумеется, и сакральную) речевую деятельность, характеризующуюся как «высокая» по сравнению с составлением приказно-деловой документации, находящейся, как «род глаголаная», между «высокой» (книжно-литературной) и повседневной речевой деятельностью, с которой она связана своими языковыми нормами, но от которой принципиально отличается как область письменного творчества (что и сближает ее с книжно-литературной деятельностью).

Таким образом, нет никаких оснований считать, будто разграничение сфер применения разных частных функциональных систем, рекомендуемое «популярной в XVII в.» риторикой, каким-то образом предваряет или предвосхищает (тем более — «определяет») известную по одной (!) из работ М. В. Ломоносова «теорию трех штилей», в действительности регламентировавшую нормы словоупотребления внутри разных жанров письменно-литературного творчества, опирающегося на единую систему литературного языка. При этом для понимания последующих процессов важно отметить, что рекомендации риторики полностью соответствуют реальной культурно-языковой ситуации Московской Руси, что подтверждается как ее непосредственными наблюдателями (например, Г. В. Лудольфом, обратившим внимание на несовпадение языка письменности и повседневных разговоров и указавшего на близость разговорному языку юридической практики), так и показаниями разнообразных памятников XVII в., языковые особенности которых четко противопоставляют по сферам применения книжно-славянский (церковнославянский) и вполне нормированный с середины XVI в. письменно-деловой язык, в XVII в. уже не совпадавший с обиходно-разговорной речью, хотя и ориентировавшийся в своих нормах на особенности московского просторечия [см. 9, с. 86 и далее, в частности, с. 89—90].

Можно утверждать, что «теория трех штилей» М. В. Ломоносова получила в истории отечественной филологии интерпретацию, не адекватную ее сущности, а точнее — ее «внутреннему заданию». Причину этого я вижу в том, что истолкование идей М. В. Ломоносова в плане «теории трех штилей» сложилось в среде не лингвистической, а общемонологической и прежде всего связывалось с формированием и развитием не самого литературного языка, а стилей художественной литературы. Между тем, в контексте более широкой кодификаторской деятельности М. В. Ломоносова эта «теория» появилась как своего рода лингво-стилистический «придаток», необходимый для завершения формирования системы норм нового литературного языка, ориентированного (в отличие от языка позднесредневековой культуры) на национальную речь.

Лишь после работ В. В. Виноградова, справедливо считающегося создателем истории русского литературного языка как самостоятельной историко-лингвистической дисциплины, «теория трех штилей» начинает включаться в собственно историко-языковой процесс и связываться с нормализаторскими идеями, изложенными также и в «Российской грамматике». Однако по-прежнему в центре анализа кодификаторской деятельности М. В. Ломоносова остается «Предисловие о пользе книг церковных...» с его схемой трех «штилей», после чего обычно утверждается, будто дифференциация стилей проходит через всю ломоносовскую систему норм литературного языка, включая фонетику и грамматику, хотя обра-

щение к тексту «Российской грамматики» заставляет авторов оговариваться, «что о т р е х стилях Ломоносов говорит только в „Предисловии о пользе книг церковных в российском языке“, а в „Российской грамматике“, законченной тремя годами раньше, говорится только о д в у х стилях: в ы с о к о м (который именуется также *важным штилем*) и п р о с т о м (который именуется также *простым слогом, простым русским языком, просторечием*) [6, с. 203], в связи с чем и появляются рассуждения о причинах «несомненного противоречия» между стилистическими системами «Российской грамматики» и «Предисловия...» [см. 6, с. 203—207; ср. 8, с. 175—176].

Цитированные и им подобные (ставшие «общим местом») рассуждения об универсальности «теории трех штилей» и о дихотомической (а не трихотомической) стилистической дифференциации литературного языка в «Российской грамматике» базируются на идеях, развивавшихся В. В. Виноградовым в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», где они, однако, связаны с общим интересом их автора не столько к истории становления национальной литературно-языковой нормы, сколько к процессу формирования полифункциональности, следовательно, стилистической дифференциации единого русского литературного языка, что последовательно проходит через весь этот труд крупнейшего языковеда середины XX столетия и заставляет его в первую очередь интересоваться той стороной филологической деятельности М. В. Ломоносова, которая эксплицирует его с т и л и с т и ч е с к и е воззрения. Именно поэтому в «Очерках...» сначала тщательно анализируется схема трех «штилей», развиваемая в «Предисловии...» [см. 1, с. 95—100], и лишь затем, переходя от лексико-фразеологического к иным уровням языковой структуры, автор заявляет: «Различие трех стилей не сводилось только к словарному и фразеологическому составу их. Оно было обосновано грамматически, т. е. подкреплялось фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Разделение языка на три стиля вносило порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковнославянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII в. Это была великая грамматическая реформа. Но в области фонетической дифференциации стилей резко обозначились только отличия высокого слога от низкого» [1, с. 100—101], что затем и демонстрируется на фонетическом (собственно — орфоэпическом) [см. 1, с. 101—106] и морфологическом материале «Российской грамматики» [см. 1, с. 106—111]. Источник последующих формулировок здесь обнаруживается вполне очевидно.

Тщательно проанализированные еще В. В. Виноградовым, а затем воспроизводимые последующими авторами рекомендации «Российской грамматики», позволившие утверждать, что в этом основном лингвистическом труде М. В. Ломоносова выделяются лишь «два стиля» (высокий и низкий), при очень большом желании могли бы быть интерпретированы и в рамках системы трех (а не двух!) стилей, если бы не одно очень существенное обстоятельство: изредка встречающийся в «Российской грамматике» термин *стиль* («штиль»), как это по существу замечено всеми ее интерпретаторами, не имеет того значения, которое ему придается в «Предисловии. . .». Отсюда и отмеченная уже комментаторами академического издания, а затем и интерпретаторами текста «Российской грамматики» непоследовательность в употреблении самого термина «штиль» в этом важнейшем сочинении М. В. Ломоносова [см. 10, с. 898, примеч. 8], где характеризуется с и с т е м а о р ф о э п и ч е с к и х и г р а м м а т и ч е с к и х н о р м нового (национального) литературного языка, ориентированного на «обыкновенное произношение» (т. е. на нормы разговорной речи) и уже поэтому противопоставленного книжно-славянскому (церковнославянскому) языку прошлых эпох. Кодифицируя в качестве книжно-литературной нормы особенности главным образом московского узуса («обыкновенного», «обычного», «нынешнего» произношения или употребления) [ср. 11, с. 17—19, 55—56, 68 и др.], М. В. Ломоносов в отдельных случаях, сталкиваясь, с одной стороны, с очень распространенной

в среде тогдашней интеллигенции традиционной книжно-литературной чертой, а с другой стороны, с получающей более или менее широкое распространение среди ревнителей нового литературного языка разговорной по происхождению формой, делает замечания, ограничивающие возможности употребления соответствующей черты либо сферой официальной речи (или даже только официального чтения), либо сферой «обыкновенных разговоров» (просторечия), что по существу выводит такую черту за пределы литературной нормы. Так, например, в «Грамматике» нет, как обычно пишут, дифференциации смычного и фрикативного *г* как относящихся соответственно к «низкому» и «высокому» стилям, нет требования придерживаться в «низком» стиле аканья, а в «высоком» — оканья, нет рекомендации различать в «высоком» стиле *е* и *ѣ* и т. д.⁴ В «Российской грамматике» описываются (и рекомендуются) единые (по существу своему — нейтральные!) нормы литературного языка. В частности, рекомендуется смычное произношение [г] (как в Москве), но при этом учитывается, что отдельные лексемы повсеместно закрепились с фрикативным задненебным, который именно в к р у г у э т и х л е к с е м, по происхождению или употреблению церковнославянских (*бог, благодать, благодарю* и некот. др.), и закрепляется как нормативный. Точно так же рекомендуется московское аканье (как нормативное!), а по поводу «оканья» говорится лишь, что при чтении книг и в торжественных выступлениях произношение «к точному выговору б у к в склоняется». Вопреки получившему широкое распространение толкованию, в «Грамматике» отнюдь не «рекомендуется» различение в «высоком» стиле *е* и *ѣ*, а лишь замечено, что «в ч т е н и и их весьма явно слух разделяет», в то время как они «в просторечии едва имеют чувствительную разность». Иными словами, здесь учитываются не стили литературного языка, а стили речи в разных ситуациях общения (ср. противопоставление «полного» и «разговорного» стилей в современной орфоэпии).

То же — в морфологии, где по поводу отдельных вариантных форм отмечается, что один из вариантов более присущ высокому слогу или, напротив, просторечию. Другое дело, что в отдельных случаях М. В. Ломоносов считает необходимым кодифицировать церковнославянские по происхождению грамматические категории и формы, отсутствующие в живой русской речи (простые формы превосходной степени, причастия, деепричастия и некот. др.), предупреждая при этом, что они неуместны от слов «низкого знаменования», не свойственных книжно-литературному языку, и «по большей части приличнее полагаются в риторических и стихотворных сочинениях, нежели в простом штиле или в просторечии». См., например, специальные разъяснения относительно причастий (в § 343): «Употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать чрез возносительные местоимения: *которой, которая, которое*. Весьма не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны. ибо причастия имеют в себе некоторую высокость, и для того очень пристойно их употреблять в высоком роде стихов» [10, с. 496]. Это, очень характерное для «Российской грамматики», разъяснение подчеркивает не столько «жесткую» стилстическую прикрепленность противопоставленных форм, сколько различный их генезис, видимо, достаточно хорошо ощущавшийся русской интеллигенцией в начальный период формирования системы нового литературного языка.

Еще ярче это отражено в параграфе, посвященном формообразованию деепричастий (§ 356): «... деепричастия на *-ючи* пристойнее у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят; и, напротив того, деепричастия на *-я* употребительнее у славенских, нежели у российских. Например, лучше сказать *толкаячи*, нежели *толкая*, но,

⁴ Нет надобности загромождать изложение перечнем всех случаев «стилистической дифференциации» в грамматике М. В. Ломоносова: они подробно разобраны в указанных выше разделах «Очерков...» В. В. Виноградова [см. 1, с. 100—111] и воспроизводятся с большей или меньшей полнотой в исследованиях и всех учебных пособиях по истории русского литературного языка, изданных после «Очерков...».

напротив того, лучше употребить *держая*, нежели *держючи*» [10, с. 499]. И ни за каким «высоким» или «низким» стилем это не закрепляется! Более того, в цитированном выше параграфе о причастиях М. В. Ломоносов недвусмысленно рекомендует: «Которые российский язык не очень твердо знают, а притом мало или ничего славенских книг не читали и затем прямого употребления причастий понять не могут, те безопасно поступят, ежели вместо причастий глагол с возносительными писать будут». Это разъяснение не оставляет сомнений в том, что М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» кодифицирует «нейтральные» нормы единого литературного языка, учитывая, однако, генетическую неоднородность элементов формирующейся литературно-языковой системы, которая со временем постепенно нивелирует языковые единицы, пока еще не всегда совместимые в одном стиле в силу длительной традиции их употребления в разных сферах речевой деятельности. Последнее обстоятельство и обуславливает спорадическое выделение из нейтрального употребления отдельных орфоэпических или грамматических особенностей, которые «пристойны» лишь в определенных условиях речевой деятельности — только «в письме» или только «в обыкновенных разговорах»; что же касается их дальнейшей судьбы в плане стабилизации норм литературного языка, то это «надлежит оставить общему всех учителю — повседневному употреблению» [10, с. 471].

Каким же образом в этой ситуации появляется (только в одной работе!) «теория трех стилей» и в каком смысле она может рассматриваться в качестве дальнейшего развития кодификаторских идей М. В. Ломоносова? Адекватный действительности ответ на этот вопрос возможен лишь при учете тех конкретно-исторических условий, в которых осуществлялась кодификация норм нового литературного языка.

В первой половине XVIII в. вслед за оформлением национального самосознания, закрепленного на социально-экономическом и административно-политическом уровнях петровскими реформами, эксплицируется отказ от употребления в литературном творчестве средневекового языка книжности — церковнославянского и активно обсуждаются пути кодификации норм нового, национального литературного языка, ориентированного на разговорную речь народа. Но если грамматические опыты В. Е. Адогурова и декларации В. К. Тредиаковского, отражая необходимость «становления литературного языка нового типа — языка, ориентирующегося на живую речь, а не на искусственные книжные нормы, и подчиняющегося ей в своем развитии» [11, с. 4], опирались на опыт западноевропейских народов, а потому рекомендовали полный отказ от языка средневековой книжности, то позиция М. В. Ломоносова «имела существенно более компромиссный характер и была направлена на объединение книжной и разговорной языковой стихии в границах русского литературного языка» [11, с. 5], поскольку учитывала, выражаясь современной терминологией, диалектику общего и особенного в оценке функционального статуса *славянского* (церковнославянского, книжно-славянского) языка в России, не совпадавшего с функциональным статусом латыни в эпоху национальных движений в католических странах Европы.

Отказываясь от церковнославянского как целостной языковой системы, обслуживавшей литературу на протяжении средневековья, и последовательно ориентируя нормы литературного языка нации на общерусское «обыкновенное» употребление, М. В. Ломоносов отчетливо осознавал **противопоставленность церковнославянского языка родной речи россиян на уровне замкнутых систем**, и прежде всего — в грамматике, определяющей то, что современные исследователи нередко именуют «основой» литературного языка [ср. 12], которая в новых условиях должна быть национальной, русской. В академической записке «Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен», решительно возражая В. К. Тредиаковскому, М. В. Ломоносов специально подчеркивает, что «славянский язык от великороссийского ничем столько не разнится, как окончаниями речений» [10, с. 83], т. е. формами словоизменения разных

частей речи. В то время как по-славенски, разъясняет он, *богатый, старший, сыновѣмъ, дѣломъ, рѣчь, мене, пѣхомъ, кланяхуся*, по-великорусски — *богатой, старшей, сыновьямъ, дѣламъ, рѣки, меня, [мы] пили, [они] кланялись*; и именно эти, великорусские формы кодифицированы «Российской грамматикой», противопоставляющей их церковнославянским как нормативные формы нового литературного языка.

Вместе с тем М. В. Ломоносов в отличие от своих современников (да и многих нынешних историков русского языка!) хорошо понимал, что на уровне лексики ориентация исключительно на национальную разговорную речь нецелесообразна. В «обыкновенных разговорах» не используется все то лексическое богатство, которое накоплено книжно-литературным языком россиян на протяжении средневековья и которое, по его утверждению (см. посвящение, предвещающее «Российскую грамматику»), обеспечивает «в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италийского, сверх того — богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» [10, 391]. Безоговорочный отказ от книжно-славянских лексических и словообразовательных традиций означал бы возвращение к тому состоянию, которое характеризовало славянские языки в эпоху деятельности первоучителей⁵ и которые западноевропейские языки, отказываясь от средневековой латыни, вынуждены были преодолевать при помощи заимствований. . . из той же латыни. Новому литературному языку россиян нет нужды повторять этот печальный опыт: без ущерба для своей самобытности он может с о х р а н и т ь накопленное богатство, вполне соответствующее] его структурным, в том числе и словообразовательным особенностям.

С этих разъяснений и начинается М. В. Ломоносов свой труд, посвященный проблемам с л о в а р н о й н о р м а л и з а ц и и нового литературного языка: «В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для (из-за.— Х. Г.) неведения многих вещей и действий, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. <...> От туду умножаем довольство р о с с и й с к о г о слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот п о с р е д с т в о м с л а в е н с к о г о с р о д н о» [10, с. 587; разрядка наша.— Х. Г.]. «Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких. . .» [10, с. 590]. Эти соображения и заставляют М. В. Ломоносова подойти к нормализации лексики нового литературного языка с идеей о б ѣ д и н е н и я традиционного литературно-книжного словарного фонда с народно-разговорным словарем, что и предложено в «Предисловии о пользе книг церковных. . .», являющемся, по замыслу автора, «лексикологическим приложением» к нормативной «Российской грамматике».

М. В. Ломоносов видит три основных генетических слоя лексики, пользой в книгах и в «обыкновенных разговорах» [см. 10, с. 588—589]:

1) Слова общеславянские («славенороссийские, по происхождению преимущественно праславянские), которые «у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны».

2) Слова собственно книжные, «кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны»;

⁵ Исследования последних лет показали, что в языке старейших славянских переводов общеславянская и собственно диалектная лексика составляют вместе около половины всего словаря, объединяя наименования явлений окружающего мира и отношений повседневного быта. Почти 50% старославянской лексики составляют грецизмы и, главное, «неологизмы» первопереводчиков, связанные с необходимостью передать значения абстрактной лексики греческих оригиналов [см. 13], т. е. тех самых «речений», которых (см. далее) не могло быть в разговорно-бытовой речи дохристианского славянского общества, как не было их и в разговорно-бытовой речи великорусов, до XVIII в. пользовавшихся в необходимых случаях церковнославянским языком.

характеристика этой лексики как «славенской» здесь отсутствует не случайно: подчеркивается специфически книжная принадлежность этого лексического слоя, в который входят, правда, и слова «обветшалые», но они попросту «отсюда выключаются», ибо дело не в них. Главное заключается в том, что именно лексикой этого слоя, как поясняется в дальнейшем, «преимуществовает российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных»: в этом и состоит пафос работы, отраженный в ее заглавии.

Но как кодифицировать эту лексику в новом литературном языке на национальной основе? Тем более, что с нею в структуре нового литературного языка соседствует отнюдь не книжная лексика еще одного генетического слоя:

3) слова, которых нет «в остатках славенского языка» и которые, не имея книжно-литературных традиций употребления, зачастую оказываются несовместимыми с книжно-славянскими.

Именно в этой ситуации и появляется концепция «трех штилей», историко-лингвистическая задача которой — создать условия для постепенной нормализации словоупотребления в новом литературном языке, перешедшем на уровне замкнутых систем на национальную «основу», но на лексическом уровне далеко еще не упорядоченном.

В плане собственно стилистическом концепция «трех штилей» хорошо известна филологам-русистам: она закрепляет выделенные слои лексики за определенными жанрами письменного творчества — не только художественно-литературного, коль скоро упомянуты и «прозаические речи о важных материях», и «описания дел достопамятных и учений благородных», и «дружеские письма, описание обыкновенных дел» [см. 10, с. 589]. Однако в плане истории литературного языка это закрепление — лишь прием, способ решения более важной собственно лингвистической задачи, связанной с проблемой органического совмещения в границах единого литературного языка генетически неоднородных слоев лексики. Рассматриваемая с этих позиций, концепция М. В. Ломоносова констатирует: если вы сочиняете нечто экстраординарное — хвалебную оду, героическую поэму или трактат о «важных материях», вы будете использовать традиционную книжную лексику — генетически общеславянскую и церковнославянскую. Лексика эта неуместна в дружеских письмах, эпитафиях и комедиях, использующих «речения» народно-разговорные, включая, разумеется, и общеславянские слова, в равной степени свойственные и русскому языку.

А как быть в остальных случаях — в лирической (не официальной) поэзии, в драматургии, в повествовательной и исторической литературе, где касаться приходится «материй» самых разнообразных? Здесь оказывается, можно употреблять все, что необходимо для выражения излагаемого автором содержания: и книжную, и разговорную лексику! Это и есть средний (по отношению к прочим) «штиль», строго говоря — совсем и не стиль, а широкий круг жанров, обслуживаемых (на замкнутых уровнях) системой нового литературного языка на национальной основе, который на лексическом уровне «состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И, словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного» [10, с. 589]. Поистине универсальный «средний штиль», о «неопределенности границ» которого так много написано интерпретаторами концепции М. В. Ломоносова, по замыслу нашего великого нормализатора, как видим, вводится в качестве своего рода «лексического фильтра», пропускающего через себя из «высокого» и «низкого» стилей разнородную по происхождению (по своим источникам) лексику, которая и должна здесь постепенно сложиться в нечто органически целое.

«Средний штиль», таким образом,— это одно из проявлений гениальности М. В. Ломоносова, понимавшего, что нормализация лексики нового литературного языка требует длительного отбора, ибо здесь невозможна ориентация на «общее употребление», как в фонетике (орфоэпии) и грамматике. Выделяемый с этой целью «средний штиль» — это своего рода «лаборатория лексической нормализации», которая должна функционировать до тех пор, пока она не выработает оптимальных рекомендаций.

В заключительной части «Предисловия о пользе книг церковных в российском языке» автор, еще раз призывая читателей быть бережливым в отношении церковнославянского лексического наследия, являющегося историческим национальным достоянием россиян, четко характеризует свою концепцию трех «штилей» именно как метод отбора лексики из генетически неоднородных слоев: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственно красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится. . .» [10, с. 591; разрядка наша.— Х. Г].

Намеченная М. В. Ломоносовым программа лексической нормализации оказалась настолько эффективной, что уже в творчестве зрелого Пушкина, т. е. спустя чуть более полувека, по существу завершается слияние разнородных генетических слоев лексики в единое целое, в котором, в частности, снимается и проблема «славянизмов» как особой стилистической категории [см. 14, в частности с. 182]. Церковнославянские слова с конкретным значением, имеющие эквиваленты в разговорной русской речи (типа *брег* — *берег*, *младой* — *молодой*, *очи* — *глаза* и под.), оттесняются на периферию литературного языка, становясь исключительной принадлежностью поэтической (стихотворной) речи, в то время как остальные оказываются неотъемлемой частью книжной лексики литературного языка, в составе которой они уже не воспринимаются как «славянизмы» [см. 14, с. 134—151].

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938.
2. Бабкин Д. С. Русская риторика начала XVII в.— ТОДРЛ, 1951, т. VIII, с. 326—353.
3. Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
4. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975, с. 307.
5. Вомперский В. П. Риторика XVII — начала XVIII в. и их роль в описании процессов развития русского литературного языка и русской литературы.— ФН, 1978, № 5, с. 40.
6. Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969.
7. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980, с. 6—7.
8. Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех штилей. М., [1971].
9. Хабургаев Г. А. Русский язык.— В кн.: Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2, М., 1979.
10. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. VII. Труды по филологии. 1739—1758 гг. М.—Л., 1952.
11. Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.
12. Хабургаев Г. А., Рюмина О. Л. Глагольные формы в языке художественной литературы Московской Руси XVII века (К вопросу о понятии «литературности» в предпетровскую эпоху).— ФН, 1971, № 4, с. 65—66.
13. Львов А. С. Изучение праславянского слоя старославянской лексики.— В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы конференции. Вып. 1. Славянская историческая лексикология (книжная и народная лексика в истории славянских литературных языков). М., 1975, с. 31—32.
14. Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века. М., 1981.

ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИСТОКИ ВЕРБОЦЕНТРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Тезис о том, что синтаксическая структура предложения иерархична¹ и, следовательно, ее элементы расположены на разных уровнях, очевидно, принадлежит к числу тех немногих исходных утверждений, которые разделяют все концепции, описывающие синтаксическую структуру в терминах членов предложения. Принятие этого тезиса естественно ставит вопрос о характере иерархии, т. е. о том, какие элементы структуры являются доминирующими (= господствующими), а какие — доминируемые (=зависимыми). В частности, для оценки любой концепции существенно знать, как она решает проблему абсолютно доминирующего члена предложения.

По словам А. А. Холодовича, «в языкознании на этот вопрос было дано три ответа» [1, с. 294; см. также 2—3]. В соответствии с точкой зрения, принятой в традиционном языкознании, доминирующими членами предложения являются одновременно подлежащее и сказуемое. Доминирующая роль подлежащего и сказуемого, как известно, закреплена терминологически. Эти члены предложения принято называть главными, а все остальные — второстепенными. При таком подходе между подлежащим и сказуемым как будто бы не может быть отношения синтаксической зависимости и предложение должно характеризоваться как двувершинное¹.

Структурное языкознание отвечает на этот вопрос иначе. Абсолютно доминирующим членом предложения признается подлежащее, а сказуемое зависит от подлежащего и соответственно понижается в ранге [9—10]. Другой ответ предлагает прикладное языкознание. Абсолютно доминирующий элемент в структуре предложения — сказуемое. Что касается подлежащего, то оно зависит от сказуемого точно так же, как и дополнение [2]².

Проанализировав эти точки зрения, А. А. Холодович приводит убедительные доводы в пользу доминантности сказуемого. Основной довод — следующий. Сказуемое р е п р е з е н т и р у е т предикативную синтагму и тем самым является абсолютно доминирующим членом предложения. «Репрезентация, — пишет А. А. Холодович, — является средством о п о з н а н и я доминирующего члена, хозяина в любой синтагме, в том числе и в предикативной, т. е. в синтагме, состоящей из подлежащего и сказуемого» [1, с. 297]. Одновременно А. А. Холодович отмечает, что доминантность подлежащего лингвистически не доказуема,

¹ Справедливости ради следует отметить, что исследователи, различающие главные и второстепенные члены предложения, видимо, не всегда отчетливо связывают данную классификацию элементов синтаксической структуры с характером синтаксической зависимости. Иначе трудно объяснить тот факт, что признавая подлежащее и сказуемое главными членами предложения, лингвисты высказывают различные суждений о типе связи между этими элементами. Во-первых, существует мнение, что подлежащее и сказуемое — равноправные, противопоставленные друг другу члены предложения [4]. Во-вторых, утверждается, что подлежащее и сказуемое взаимозависимы [5—6]. В-третьих, проводится мысль, что сказуемое зависит от подлежащего, которое является абсолютно независимым членом предложения [7—8].

² Заметим, что А. А. Холодович не рассматривает «промежуточные» точки зрения, которые пытаются объединить и примирить противоречивые суждения о доминирующих членах предложения.⁴ Некоторые из этих точек зрения изложены в [3].

а в пользу доминантности подлежащего и сказуемого вообще не может быть предложено лингвистической аргументации.

Таким образом, если вспомнить, что традиционное учение о предложении сложилось в XIX в., структурное языкознание сформировалось в начале XX в., а прикладное языкознание как самостоятельная дисциплина выделилось в середине XX в., то нетрудно сделать вывод, что правильной оказалась точка зрения, которая была высказана позже других. Полностью принимая и разделяя принципиальные выводы А. А. Холодовича, мы хотели бы показать в этой работе, что идеи вербоцентричности предложения были уже распространены в традиционном русском языкознании XIX в.³

Несколько огрубляя реальное положение вещей, но никоим образом не искажая его, мы рискнули бы высказать следующее общее утверждение. Лейтмотив учения о предложении и его синтаксическом строении в русском языкознании XIX в. состоял в том, чтобы сбросить с лингвистики скорлупу логики, вычленив свой собственный предмет, свои задачи и цели исследования, найти свои собственные лингвистические методы анализа материала. Вместе с тем представляется, что с хронологической точки зрения можно выделить два четко очерченных и содержательно отличающихся друг от друга периода: Первый период — от начала века до конца 50-х годов, точнее, до публикации в 1858 г. «Опыта исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева [12]. Второй период — от 1858 г. до начала XX века. Характерная черта первого периода — наличие единой концепции членов предложения, которую в наше время принято называть, а тем самым и характеризовать как формально-логическую.

Для грамматических воззрений начала и середины XIX в. характерно понимание языка как средства, служащего человеку для выражения чувств и мыслей. Как подчеркивал Н. И. Греч: «... говорить значит не иное что как мыслить вслух, а мыслить — говорить в уме» [13, с. 2]. Таким образом, между процессами говорения и мышления особой разницы не усматривалось, более того, они практически отождествлялись. При данном понимании соотношения между мыслью и словом вполне естественно акцентируются «тесная связь науки, заключающей в себе законы, по коим человечество мыслит (Логика), с наукою, преподающей правила, на основании которых он (человек. — Х. В.) мысли свои выражать должен (Грамматика)» [13, с. 2]. Однако у грамматики свои цели и задачи. «Показать общие законы слова человеческого, на началах мышления, и частные особенности, объясняемые сравнением отечественного языка с языками однородными и соплеменными, вот, по-моему мнению цель отечественной грамматики», — утверждает академик И. И. Давыдов [14, с. IV]. Следовательно, в грамматике усматривается два типа закономерностей: одни — общие, детерминируемые общечеловеческими законами мышления (= универсально-типологические), и другие — частные, определяемые тем местом, которое каждый конкретный язык занимает среди родственных ему языков (= сравнительно-исторические).

В этот период языковеды характеризуют предложение с логических позиций, определяя его как с у с ж д е н и е и л и м ы с л ь в ы р а ж е н н у ю в с л о в е с н о й ф о р м е [13, с. 235; 15, с. 322; 16, с. 31; 17, с. 1; 14, с. 221]. Исходным, неопределяемым, а стало быть, известным в приведенном определении является логическое понятие суждения или мысли. Представление о том, что лингвистическая трактовка предложения не должна основываться на логических понятиях, возникает только в

³ Видимо, нелишне отметить, что благодаря трудам ряда исследователей и в первую очередь академика В. В. Виноградова [11], мы неплохо осведомлены о творчестве многих выдающихся русских ученых XIX — начала XX в., например, таких, как А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, А. В. Добиаш, Д. И. Овсяннико-Куликовский и др. Что касается лингвистических проблем той эпохи, то они характеризовались в основном сквозь призму творческих биографий и анализа деятельности названных ученых. Иными словами, важно подчеркнуть, что история русского языкознания XIX в. изучалась до сих пор не столько проблемно и концептуально, сколько персонально.

самом конце этого периода. Так, В. И. Классовский, видимо, первый отмечает, что «в отношении грамматическом (разрядка наша.— Х. В.) предложение обязано удовлетворять только правилам синтаксиса, т. е. состоять из слов, надлежащим образом оканчивающихся и размещенных как следует» [18, с. 238]. В доказательство своей мысли он рассматривает предложение *Люди летают на собственных крыльях*, которое, по его мнению, с грамматической точки зрения является вполне правильным, хотя и не выражает суждения⁴.

✓ Поскольку предложение — это суждение, выраженное словами, то члены предложения — это части суждения. Суждение состоит из подлежащего и сказуемого, следовательно, из этих двух частей состоит и предложение. Обобщая и усредняя даваемые в этот период определения подлежащего и сказуемого, можно утверждать, что под подлежащим понимается то (понятие, слово, предмет), о чем говорится в предложении, а под сказуемым — то, что говорится о подлежащем или что приписывается подлежащему. Ср., например: «Предложение с глаголом личным состоит из двух частей, называемых подлежащим и сказуемым. Подлежащее есть имя предмета, о котором говорится. Сказуемое есть глагол или все то, что о предмете говорится; напр. *Солнце сияет. Науки полезны. Праздность есть порок*» [15, с. 220; см. также 13, с. 236; 16, с. 5; 14, с. 271]. Наряду с подлежащим и сказуемым многие ученые выделяли в предложении еще один элемент, а именно связи или связку: «В предложении находится связь, которою сказуемое с подлежащим соединяется в одно целое. Эта связь выражается или глаголом *есмь* или окончанием сказуемого» [14, с. 272; см. также 13, с. 236; 16, с. 5]. Довольно очевидно, что при логическом членении в предложении, кроме подлежащего и сказуемого, ничего не может быть. Понятие связки — избыточное с логической точки зрения и возникло лишь под воздействием языкового материала, а именно, наличия связочных глаголов, а также согласования глагольного сказуемого с именным подлежащим в числе и роде, а с местоименным подлежащим еще и в лице.

Наряду с логическим членением в первой половине XIX в. проводилось и грамматическое членение предложения. Основные элементы грамматического членения — грамматические подлежащее и сказуемое, которые хотя и коррелируют с понятиями логических подлежащего и сказуемого, однако совпадают с ними, как мы бы сказали теперь, только в частном случае. Отличия грамматических подлежащего и сказуемого от логических были сформулированы уже Н. И. Гречем. Исходя из того, что логическое подлежащее может быть представлено группой слов, и называя такое подлежащее составным, он пишет следующее: «В составном подлежащем отличается логическое от грамматического (разрядка наша.— Х. В.): подлежащим логическим называются все слова, составляющие; например: *алая роза*, а грамматическим именуется только главное слово: *роза*» [13, с. 237]. Аналогичное рассуждение проводится и для того, чтобы различить логическое и грамматическое сказуемое [13, с. 238]. При таком подходе в предложении *Алая роза без шипов цветет только в сказках* логическое и грамматическое подлежащее и сказуемое отличаются друг от друга: логическое подлежащее — *алая роза без шипов*, грамматическое — *роза*, логическое сказуемое — *цветет только в сказках*, грамматическое — *цветет*. Совпадают друг с другом логическое и грамматическое подлежащее и сказуемое только в простых нераспространенных предложениях типа *Роза цветет*.

Грамматические (они же логические!) подлежащее и сказуемое — те элементы, которые необходимы и достаточны для образования предложения. Эта мысль проходит через все лингвистические работы анализируемого периода. По словам М. П. Перевлесского, «простое нераспространен-

⁴ В связи со сказанным вспоминается полемика, возникшая в 50-х годах нашего столетия вокруг сконструированного Н. Хомским предложения *Colorless green ideas sleep furiously* «Бесцветные зеленые мысли яростно спят», которое с логической точки зрения не отличается от предложения *Люди летают на собственных крыльях*.

ное предложение состоит из одного сказуемого и одного подлежащего. Оно выражает одно суждение, и понятие его не развиты другими понятиями» [16, с. 7; см. также 14, с. 272].

Вместе с тем в предложении могут быть, хотя и не обязательно быва-
ют, определения (определятельные слова, атрибуты) и дополнения (до-
полнительные слова, объекты), которые поясняют подлежащее и сказуе-
мое. Как отмечает П. М. Перевлесский, «определятельным (*le complement
terminatif, das Attribut, attributum*) называется то слово в предложении,
которое поясняет понятие о предмете указанием его примет (видовых или
единичных)» [16, с. 8]. Так, в предложении *Лежащий товар не кормит*
определением является слово *лежащий*. «Дополнительным,— пишет да-
лее П. М. Перевлесский,— называется то слово, которое поясняет поня-
тие о признаке (напр.: о действиях или качествах)» [16, с. 9; см. также 15,
с. 222; 14, с. 272]. Практически все исследователи проводят внутреннюю
субкатегоризацию дополнений, которые «разделяются на два рода: на
дополнительные — собственно и обстоятельства. Дополнением в соб-
ственном смысле (*le complement objectif, das Objekt, objectum*) называет-
ся то слово, без которого нельзя себе представить понятия о признаке.
Стало быть, необходимость его лежит в природе слова дополняемого и не
зависит от лица говорящего» [16, с. 10]. Дополнением является, напри-
мер, слово *бедность* в предложении *Леность наводит бедность*. «Обстоя-
тельством же (*le complement circonstanciel, das Adverbiale*) называется то
слово, без которого понятие о признаке может быть представляемо, и, сле-
довательно, оно может быть с ним или без него. Таковы все слова, кото-
рые объясняют дополняемое или в отношении *места* и *времени* или в от-
ношении *образа* и *причины*» [16, с. 10]⁵. Лишь в конце рассматриваемого
периода некоторые исследователи начинают характеризовать дополнение
и обстоятельство как самостоятельные члены предложения. Так, по мне-
нию В. И. Классовского, «слова, которые поясняют главные члены пред-
ложения, называются дополнительными, определятельными и обстоятель-
ственными» [18, с. 246].

Из изложенного уже ясно, как решался вопрос о доминации членов
предложения в русском языкознании первой половины XIX в. При логи-
ческом членении предложения логические подлежащее и сказуемое — два
обязательных, взаимно предполагающих друг друга члена предложения.
При грамматическом членении подлежащее и сказуемое характеризуются
как главные (существенные) члены предложения, которые противопостав-
ляются всем остальным как второстепенным (поясняющим). Такую
иерархию членов предложения мы находим уже у Н. И. Греча [13, с. 344],
а в дальнейшем она практически представлена во всех работах этого пе-
риода.

Хотя подлежащее и сказуемое оба трактуются как главные члены пред-
ложения, они с грамматической точки зрения, поддерживаемой и семанти-
ческой аргументацией, рассматриваются как *н е р а в н о п р а в н ы е*.
Г р а м м а т и ч е с к о е с к а з у е м о е о к а з ы в а е т с я в а ж -
н е е г р а м м а т и ч е с к о г о п о д л е ж а щ е г о. Основание для та-
кого заключения дали бесподлежащие предложения, которые требовали
соответствующей интерпретации. Первым на такие предложения как буд-
то бы обратил внимание выдающийся русский филолог А. Х. Востоков,
который, полагая, что «во всяком предложении должен быть глагол лич-
ный или безличный», указывал, что «предложение с глаголом безличным
не имеет явного подлежащего, а состоит из одного сказуемого, напр.:
Рассветает. Пора вставать. Надобно работать» [15, с. 220].

⁵ В 60-х годах нашего столетия в работах А. А. Холодовича, С. Д. Кацнельсона
и других ученых была высказана гипотеза, согласно которой критерии для разграни-
чения дополнений и обстоятельств следует искать в их семантических взаимоотноше-
ниях со сказуемым. В соответствии с этим подходом дополнения в отличие от обстоя-
тельств участвуют в толковании сказуемого. Представляется, что мысль П. М. Перев-
лесского о том, что дополнение в отличие от обстоятельства — это слово, «без которого
нельзя себе представить понятия о признаке», находится в русле тех идей, которые
были развиты на столетие позже.

Образцом логико-семантической аргументации, обосновывающей «второстепенность» подлежащего по сравнению со сказуемым, можно считать аргументацию П. М. Перевлесского, который, сопоставляя подлежащее и сказуемое, писал: «Из них подлежащее есть член *подчиненный*, а сказуемое — *подчиняющий*; потому что сказуемое составляет собственно содержание предложения и выполняет главную цель и задачу суждения — *определить частное через общее*. Оттого нередко целое предложение выражается одним сказуемым, а подлежащее в нем пропускается» [16, с. 6]. Сходную аргументацию мы находим и у других авторов. «Сказуемое составляет собственно содержание предложения... От того иногда целое предложение выражается одним сказуемым», — пишет И. И. Давыдов [14, с. 272]. Приблизительно так же формулирует свою мысль и В. И. Классовский: «... по значению... своему в предложении сказуемое важнее подлежащего. Вследствие этой важности сказуемого целое предложение может быть выражено одним сказуемым, напр.: *Смеркалось. Зарябило в глазах*. Здесь подлежащее до того неопределенно, что в грамматике даже считают его вовсе не существующим» [18, с. 244].

Резюмируем сказанное. При логическом членении предложения вопроса об иерархии членов предложения не возникает. Подлежащее и сказуемое — два равноправных и единственных члена предложения. При грамматическом членении второстепенные члены предложения как необязательные и поясняющие противопоставляются главным. Кроме того, подчеркивается, что среди главных сказуемое является репрезентирующим и противопоставляется «второстепенному» подлежащему, которое семантически не столь существенно, как сказуемое, и не обязательно представлено в каждом предложении. Таким образом, фактически подлежащее понижается в ранге и противопоставляется сказуемому на тех же самых основаниях, на каких второстепенные члены предложения противопоставляются главным. Следовательно, мысль о том, что подлежащее не такой главный член предложения, что и сказуемое, возникает уже в первой половине XIX в., будучи стимулирована конкретным эмпирическим материалом.

Русское языкознание второй половины XIX в. развивалось под знаком резкой критики учения о логическом членении предложения, принятого в первой половине века, и отказалось от него. Первым против сближения и даже отождествления основных понятий грамматики и логики, столь характерного для русской лингвистической мысли предшествующего периода, выступил А. А. Потебня. Прежде всего А. А. Потебня акцентирует внимание на том, что у логики и у грамматики различные предметы исследования. Он подчеркивает, что «...для логики словесное выражение примеров ее построения безразлично» [19, с. 61], тогда как грамматике интересует именно это и ничто другое. Он выступает против обычной практики отождествления слова и понятия, предложения и суждения. Он пишет: «Слово не одним присутствием звуковой формы, но всем своим содержанием отлично от понятия и не может быть его эквивалентом или выражением уже потому, что в ходе развития мысли предшествует понятию» [19, с. 61]. И далее: «Грамматическое предложение вовсе нетождественно и непараллельно с логическим суждением» [19, с. 61]. «Грамматические категории, — по мысли А. А. Потебни, — не совпадают с логическими» [19, с. 62]. Это прежде всего относится к категориям членов предложения: «Категории предмета и его признака не нужны для логики, для которой и то, и другое — только понятия, совокупности признаков. Тем менее возможно вывести из логического суждения прочие члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение» [19, с. 61]. А. А. Потебня развивает высказанную уже В. И. Классовским идею о том, что в предложениях типа *Люди летают на собственных крыльях* выражается мысль, которая не является логичной. А. А. Потебня подчеркивает, что у логики и у грамматики не только различные предметы, но и различные задачи исследования. Логика изучает законы правильного мышления, отвечает на вопрос, не противоречива ли мысль, тогда как языкознание,

будучи в отличие от логики не гипотетической, а генетической наукой, «рассматривает процесс сказывания» [19, с. 63]. В результате А. А. Потебня показал, что логическое членение предложения не является лингвистической задачей и что к ведению языкознания относится только грамматическое членение.

Что касается грамматического членения предложения, то в нем терминологически закрепились сформировавшееся в предшествующий период представление о том, что подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, которые противопоставляются остальным как второстепенным. Однако при этом многие исследователи, как и ранее, обращали внимание на то, что сказуемое в отличие от подлежащего обладает свойством репрезентативности. В частности, уже Ф. И. Буслаев подчеркнул, что глагольное сказуемое может выступать репрезентантом подлежащего. Он писал: «...подлежащее выражается... самим лицом глагола; напр. *ес-мь, да-м, ес-ть, буд-е-м, я говор-ю, ты говори-шь*» [12, ч. II, с. 24].

Репрезентативную функцию глагольного сказуемого всячески подчеркивал А. А. Потебня. Напомним в этой связи его определение предложения: «Главное (независимое от другого) предложение невозможно (кроме случая опущения глагола), без *verbum finitum* (т. е. глагола в тесном смысле, без причисления к нему причастных форм); что само по себе *vb. finitum* составляет предложение, напр., *будет* (с предполагаемым как определенным, так и неопределенным субъектом)». Поэтому, определивши такой глагол, тем самым определим *minimum* того, что должно заключаться в предложении...» [19, с. 78]. Вербоцентричность составляет суть синтаксической концепции А. А. Потебни. Для него очевидна доминирующая роль глагольного сказуемого в структуре предложения. Он так и пишет: «Наиболее самостоятельный член предложения есть сказуемое, которое одно может обойтись без всех прочих членов» [19, с. 104].

Идеи А. А. Потебни о вербоцентричности предложения развивает его ученик Д. И. Овсяннико-Куликовский. С его точки зрения, «важнейшая часть предложения это сказуемое, иначе называемое предикатом. Оно-то и есть носитель и выразитель того движения мысли, которое известно под именем *предикативности* (предцирования, сказуемости) и без которого предложение невозможно» [20, с. 50]. «Необходимым носителем сказуемости (предикативности) является глагол» и «без глагола или, по крайней мере, без глагольности нет предложения» [20, с. 50]. Таким образом, для Д. И. Овсяннико-Куликовского, как и для А. А. Потебни, доминирующим членом предложения является сказуемое, без которого «не может быть предложения, между тем как все прочие части могут отсутствовать. Так, „светает“, „морозит“, „тошнит“ это предложения, состоящие из одних сказуемых» [20, с. 51].

Наиболее ярко и оригинально идеи вербоцентричности предложения разрабатывает во второй половине XIX в. А. А. Дмитриевский, чье творчество все еще остается недостаточно широко известным, хотя и заслуживает детального анализа. Его основная работа — статья «Практические заметки о русском синтаксисе», которая частями публиковалась в журнале «Филологические записки» за 1877—1878 гг. А. А. Дмитриевский утверждает, что в предложении не два главных члена: сказуемое и подлежащее, а только один — сказуемое. Что касается подлежащего, то оно — одно из дополнений. Впрочем, вот что говорит сам А. А. Дмитриевский: «Не два главных члена в предложении, а только один. Сказуемое есть неограниченный властелин, царь предложения: если есть в предложении кроме него другие члены, они строго ему подчинены и от него только получают свой смысл и значение; если нет их, даже подлежащего, сказуемое само собой достаточно выражает мысль и составляет целое предложение. Иначе сказать: и само предложение есть не что иное, как сказуемое или одно, или с приданными ему другими членами» [21, вып. IV, с. 22—23].

По мнению А. А. Дмитриевского, это утверждение имплицитно высказал уже А. А. Потебня: «...хотя г. Потебня и не назвал прямо подлежащее второстепенным членом, все-таки *minimum* предложения он признает в одном сказуемом, а не в сказуемом и подлежащем» [21, вып. IV, с. 37]. Аргументацию этого утверждения А. А. Дмитриевский находит в том, что роль подлежащего при одних сказуемых аналогична роли дополнений при других. Он пишет: «...как для одного сказуемого ближайшее — подлежащее, так для другого ближайшее — какое-либо из дополнений и столь же важно для него, как подлежащее для первого. Значит, подлежащее играет столь же второстепенную роль в предложении, как и дополнение» [21, вып. IV, с. 30]. Еще один аргумент А. А. Дмитриевского заключается в обратимости подлежащего и дополнения, т. е. в том, что эти члены предложения в ряде случаев могут меняться местами. Имеются в виду примеры типа *Мне жаль* ↔ *Я жалею* и т. п. А. А. Дмитриевский не строит иллюзий относительно того, что его мысль о второстепенности подлежащего найдет последователей. Он пишет: «Я уверен даже, что и многие педагоги, и, может быть долго будут чтить подлежащее как богато-громовержца, главного и единственного громовержца сказуемого. Ну и благо им!» [22, вып. VI, с. 27]. Автор подчеркивает, что многие добросовестные научные заблуждения живут века, приводя в качестве одного из примеров историю открытия вращения Земли вокруг Солнца и сопоставляя картины мира Птолемея и Коперника.

Вместе с тем А. А. Дмитриевский утверждает, что «...в ряду дополнений подлежащее — главное дополнение, по сравнению со сказуемым, оно второстепенный член предложения» [22, вып. VI, с. 17—18]. В этом утверждении по существу высказывается мысль об иерархической организации формально однородных и непосредственно зависящих от сказуемого второстепенных членов предложения. Заслуживает также внимания идея А. А. Дмитриевского, что определения — не члены предложения, а части тех членов предложения, от которых они непосредственно зависят.

А. А. Дмитриевскому принадлежит образная динамичная характеристика предложения, в соответствии с которой «...предложение есть драма, представление мысли посредством слова, которое является как бы актером того действия, которое есть мысль» [21, вып. III, с. 12]. И далее: «Предметы-дополнения — действующие лица сцены; обстоятельства — сама сцена, а предложение — драма мысли» [21, вып. IV, с. 76]. Очень любопытно, что к сравнению предложения с театральным представлением спустя почти столетие прибегает в своем «Структурном синтаксисе» известный французский лингвист Л. Теньер, с именем которого обычно связывают создание вербоцентрической концепции предложения [23]. Сходство идей, развиваемых А. А. Дмитриевским и Л. Теньером, а главное, сходство формулировок позволяет думать, что Л. Теньер был знаком с творчеством А. А. Дмитриевского. В принципе ничего невозможного в этом нет. Ведь Л. Теньер специализировался в области русского языкознания и написал грамматику русского языка [24]. Он приезжал в СССР, где познакомился со многими известными советскими языковедами, в частности с академиком Л. В. Щербой, который, хорошо зная русское языкознание XIX в., мог обратить его внимание на статью А. А. Дмитриевского. Разумеется, Л. Теньер полностью самостоятелен в своем учении о предложении, однако одним из стимулов к его созданию могло послужить знакомство со взглядами А. А. Дмитриевского. Высказывая это предположение, мы вместе с тем хотим подчеркнуть, что идея вербоцентризма известна во французском языкознании, начиная с Грамматики Пор-Рояля.

Нам остается подвести итоги. Как следует из изложенного, идеи вербоцентричности предложения возникли не в прикладном языкознании середины XX в. Это вполне канонические представления, достаточно широко распространенные в русском языкознании XIX в. Обычная для языковедческих работ этого периода характеристика и подлежащего, и сказуемого как главных членов предложения, доставшаяся по наследству от логического анализа и никак лингвистически не интерпретируемая,

не должна вводить нас в заблуждение, ибо среди так называемых главных членов предложения единственно необходимым, а тем самым и репрезентативным многие исследователи считали глагольное сказуемое⁶.

ЛИТЕРАТУРА

1. Холодович А. А. К вопросу о доминанте предложения. — В кн.: Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
2. Долинина И. В. Способы представления синтаксической структуры предложения. — В кн.: Типология каузативных конструкций. Л., 1969.
3. Храковский В. С. Проблема доминанции членов предложения и система абстрактных синтаксических структур. — В кн.: Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
4. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
5. Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Düsseldorf, 1962.
6. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка. Л., 1973.
7. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Л., 1938.
8. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
9. Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. I. М., 1956.
10. Карцевский С. О. Повторительный курс русского языка. М., 1928.
11. Виноградов В. В. История русских лингвистических учений. М., 1978.
12. Буслаев Ф. И. Опыт исторической грамматики русского языка. М., 1858.
13. Греч Н. И. Практическая русская грамматика. СПб., 1827.
14. Давыдов И. И. Опыт общесравнительной грамматики русского языка. СПб., 1852.
15. Востоков А. Х. Русская грамматика по начертанию его же сокращенной грамматики полнее изложенная. СПб., 1844.
16. Перевесский П. М. Начертание русского синтаксиса. М., 1848.
17. Классовский В. И. Грамматические заметки. СПб., 1855.
18. Классовский В. И. Русская грамматика. СПб., 1856.
19. Потемня А. А. Из записок по русской грамматике. Харьков, 1888.
20. Овсянко-Куликовский Д. И. Синтаксис русского языка. СПб., 1902 г.
21. Дмитриевский А. А. Практические заметки о русском синтаксисе. — Филологические записки, 1877, вып. III, IV.
22. Дмитриевский А. А. Практические заметки о русском синтаксисе. — Филологические записки, 1878, вып. I, II, IV, VI.
23. Tesnière L. Éléments de syntaxe strycturale. Paris, 1959.
24. Tesnière L. Petite grammaire russe. Paris., 1934.
25. Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.

⁶ Проблема распространения идей вербоцентризма в русском и советском языкознании XX в. должна обсуждаться отдельно. Вместе с тем нелишне отметить, что вербоцентрической концепцией предложения с начала 30-х годов руководствовались исследователи проблемы эргативности (С. Л. Быховская, А. А. Бокарев и др.) [25].

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ЯРЦЕВА В. Н.

О НЕКОТОРЫХ ВЕНГЕРСКИХ РАБОТАХ В ОБЛАСТИ КОНТРАСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Современную лингвистическую науку характеризует стремление объединить теоретические изыскания с практическим применением достигнутых результатов в различных областях науки, техники и культуры. Преподавание родного и иностранных языков безусловно может служить своеобразным полигоном для выяснения ценности сделанных открытий, т. к., по меткому выражению Р. Квёрка, «не все, что мы знаем, достойно преподавания, но многое из того, что необходимо преподавать, мы еще недостаточно знаем». Многообразие существующих в мире языков издавна служило стимулом для их сравнения, что дало повод для выделения и развития одного из участков языковедческой науки — контрастивной лингвистики. В этой связи привлекают к себе внимание некоторые венгерские работы, изданные в последние годы [см. 1, 2].

В последние десятилетия контрастивные исследования при изучении различных языков занимают значительное место среди работ по общему и прикладному языкознанию. Восходя в своих истоках, с одной стороны, к работам по типологии языка и, с другой стороны, к практическим разработкам по преподаванию иностранных языков, контрастивная лингвистика выделилась в самостоятельную отрасль языкознания со своими методами, принципами, теоретическими и практическими результатами. В осуществлении целей контрастивной лингвистики большое место отводится проектам изучения двух языков (эти исследования в настоящее время находятся в своей начальной или завершающейся стадии в ряде лингвистических центров Европы и Америки). В 1971 г. при живейшем участии покойного профессора Дж. Лотца (памяти которого посвящена первая из рецензируемых книг), в Венгрии было начато контрастивное изучение венгерского с английским по проекту, включавшему целый ряд мероприятий, как-то: 1) командировки венгерских лингвистов в США, 2) укомплектование библиотек материалами по общему, английскому и контрастивному языкознанию, 3) пребывание американских лингвистов-консультантов в Венгрии, 4) публикация «Рабочих материалов» по проекту. Вначале руководителем проекта был Л. Тамаш, директор Института языкознания Венгерской Академии Наук, а после его ухода на пенсию в 1974 г. руководителем проекта стал Л. Дежё. Итоговые результаты исследования должны были включать контрастивное описание английского и венгерского на всех уровнях языковой структуры и практические рекомендации по использованию итогов лингвистического анализа при преподавании английского языка венграм.

Первая из рассматриваемых нами книг состоит из пятнадцати статей, распределенных по двум разделам: I. Синтаксис и просодия (с. 15—374), II. Семантика и методы (с. 375—590). В подавляющем большинстве статей при анализе языкового материала используются сочетание структурного анализа с функционально-семантической оценкой фактов языка. В статье И. Кенешей «Свертывание предложения в английском и венгерском» применяется методика генеративной грамматики, а статья Б. Карпонаи

«Медиаьные и каузативные конструкции в английском и венгерском» построена на основе так называемой «падежной грамматики». Внимание авторов в наибольшей мере привлекают те вопросы строя английского языка, которые, будучи специфичными для его структуры, значительно отличаются от грамматических закономерностей венгерского языка. В плане практических рекомендаций для преподавания английского языка это оправдано тем, что такие традиционно «трудные» для иностранцев структуры, как, например, использование различных оборотов с неличными формами глагола (инфинитивом, герундием, причастием), нуждаются в детальном лингвистическом анализе для понимания их природы и их места в функционально-грамматической системе данного языка.

Статья Э. Диоши-Стефанидеш «Предварительное исследование к контрастивному анализу английского герундия и его венгерских эквивалентов» (с. 15—61) построена на большом фактическом материале. Указывая именные и глагольные черты герундия, автор статьи отмечает, что его употребление «представляет большую проблему для венгра, изучающего английский, во-первых, потому, что его употребление гораздо более ограничено в современном венгерском языке и, во-вторых, по причине комплексной природы самого герундия» (с. 15). Эквивалентом собственно герундия в венгерском языке следует считать только те отглагольные имена с суффиксами *-ás/-és* или *-t*, которые имеют адвербиальную функцию и могут быть по значению равны придаточному предложению (с. 32). Характерной чертой венгерского герундия является суффикс лица, который дает возможность передать действие в его отнесенности к лицу. Из-за парадигматических расхождений отглагольных имен в английском и венгерском языках надежной базой их сравнения неизбежно оказывается уровень семантико-синтаксический, чем и оправдан тот функциональный подход, который избирает автор статьи. Интерес представляют процентные соотношения между конструкциями, которые приводятся автором в качестве венгерских эквивалентов герундия при различных синтаксических позициях этого последнего. Так, например, мы узнаем, что английский герундий в функции подлежащего может быть в венгерском передан: а) инфинитивом (40%), б) отглагольными именами с суффиксом *-ás/-és* (30%), в) придаточным предложением (20%), г) путем изменения конструкции (10%) (с. 35). Методическое приложение к статье (анализ типичных ошибок учащихся, тесты и задания по переводу) не снижают значимости ее чисто лингвистических выводов.

Статья К. Кишш «Английские причастия и их венгерские эквиваленты» (с. 63—92) построена примерно по тому же плану, что и разобранный нами выше. Автор считает нужным указать на то значение, которое имеет контрастивный анализ для понимания специфики строя каждого из сравниваемых языков, а не только для языка, являющегося предметом обучения (с. 75). Несмотря на то, что автор статьи принимает оценку форм на *-ing*, согласно которой они выражают непрерывный континуум, границы между отдельными отрезками которого можно проводить только на основании функциональных, а не структурно-морфологических критериев (эта точка зрения сформулирована Р. Квёрком и его соавторами [3]), для своего исследования она берет традиционное определение причастий как неличных форм глагола с адъективными или адвербиальными функциями. Дело в том, что причастия сами по себе включают такой широкий круг значений, что прибавление проблематики герундия и других вопросов, с ним связанных, было бы невозможно в рамках задания, взятого для статьи (с. 65). Тем не менее тонкий анализ текстов английских и венгерских авторов в их соотносительных переводах позволяет прийти к выводу, что, хотя адвербиальное употребление причастия в венгерском теоретически представлено таким же количеством вариантов, как и в английском, практически для венгерского языка более характерно употребление придаточных предложений, особенно в случае эквивалентной замены английских многочисленных причастных оборотов (с. 85).

Статья Э. Стефанидеш «Контрастивное исследование английского и венгерского инфинитивов» (с. 93—144) содержит описание формы и функ-

ции инфинитива в ряду других неличных форм глагола. Проблема сложна не только из-за двойственной (вербальной и номинативной) природы английского инфинитива, но и по причине многообразия его синтаксических функций. Морфологически венгерский инфинитив резко отличается от английского тем, что может принимать личные окончания и, следовательно, указывать на субъект действия. Кроме того, венгерский обладает только одной формой инфинитива, т. е. не имеет залоговых и видо-временных форм. Следовательно, функциональное отношение английского и венгерского инфинитивов как один к одному невозможно, и очень часто английский инфинитивный оборот передается в венгерском придаточным предложением (см. с. 130—131; 135—136).

На статьях, посвященных формам передачи в венгерском языке неличных форм английского глагола, мы остановились подробно потому, что, будучи типичными структурами для английского языка, они действительно представляют большой интерес для контрастивного анализа и вместе с тем большие трудности для учащихся. На разборе этой проблематики можно показать методический и методологический подходы лингвистов к определению путей контрастивного анализа. Нам представляется оправданным прием использования переводов с одного языка на другой для определения степени частотности функционально-соотносительных конструкций в двух сравниваемых языках.

По материалу с инфинитивными оборотами связана еще одна статья в первой из рассматриваемых книг. Это работа И. Кенешей «Свертывание предложений в английском и венгерском» (с. 177—205). Автор приходит к заключению, что, хотя процесс трансформации именного словосочетания, известный как «повышение» (*nounphrase raising*), имеет место в обоих языках, распространенность и сама функция подобной трансформации радикально различны. Соответственно различны и результаты свертывания предложения с использованием инфинитива, что гораздо чаще наблюдается в английском языке по сравнению с венгерским (с. 204). Достаточно сказать, что одной «глубинной» структуре, общей для указанных языков, соответствуют три варианта «поверхностной» структуры с использованием инфинитива в английском языке и только один — в венгерском. Ср.: англ. *To meet Edward is easy; It is easy to meet Edward; Edward is easy to meet* — венг. *Ervárdal könnyű találkozni* (с. 178). Нисколько не отрицая права автора статьи использовать ту методику анализа, которая ему представляется подходящей, считаем, что в данном случае трансформационный метод ничего нового для понимания указанных выше венгерских и английских конструкций не дал. Зная семантико-структурные черты английских неличных форм глагола и грамматические черты строя венгерского языка; можно было предвидеть, что инфинитивные конструкции в английском более разнообразны и чаще используются, чем в венгерском. Вместе с тем кажущаяся «содержательность» теории глубинных структур отвлекает внимание исследователя от тех семантических особенностей глаголов, используемых в эквивалентных конструкциях двух сравниваемых языков, которые могут пролить свет на их совпадение или расхождение.

Одним из важнейших вопросов как простого, так и сложного предложений является порядок распределения их членов и формы их связи. Поэтому неслучайно, что ряд статей в сборнике, хотя и разных по своим темам, в той или иной мере связан с рассмотрением этой проблематики. В статье Л. Дежё «Порядок слов, тема и рема в венгерском и вопросы усвоения порядка слов» (с. 245—298) на материале 4000 венгерских предложений самой различной стилистической принадлежности автор (с привлечением английских эквивалентов) убедительно демонстрирует контрастность венгерского (языка со свободным порядком слов) и английского с его жесткой структурой «подлежащее — сказуемое — дополнение». Хотя автор на с. 246 предупреждает, что он ограничивается разбором поверхностной структуры и не будет касаться проблем, относящихся к взаимосвязям между поверхностной и глубинной структурами, подход с позиций тема-рематической модели предложения обеспечивает понимание со-

держательной и функциональной сторон явлений языка. Интересными в статье предстают количественные параметры, приводимые в таблицах на с. 259, но особенно на с. 293. Не будучи, строго говоря, итогом чисто статистических приемов исследования, они все же дают наглядное и убедительное подтверждение сделанных выводов. В статье Ю. Нераи «Контрастивное исследование порядка слов в атрибутивных именных словосочетаниях в английском и венгерском» (с. 319—350) рассматривается синтаксическая связь между определением и определяемым в английском языке в сопоставлении с эквивалентными венгерскими конструкциями. Здесь, как и в упомянутых выше статьях, удачно использован материал двусторонних переводов. Таблица на с. 323 наглядно демонстрирует (в процентных соотношениях) дистрибуцию определений различных структурных типов в препозиции к определяемому. Однако нам кажется, что отсутствие лексико-семантического анализа элементов словосочетания обедняет положения и выводы статьи. Чисто позиционный подход дает констатацию фактов, но не их объяснение. [Ср.: «Группа английских определений, следующих за опорным словом атрибутивного словосочетания, многочисленнее в английском, чем в венгерском. В английском 39% от всей суммы примеров на определение приходится на постпозицию определения, в то время как только 17% определений в венгерском следуют за опорным словом атрибутивной группы» (с. 325)].

Описание семантико-синтаксических потенций медиальных и каузативных глаголов Б. Корпонаи начинает с материала венгерского языка [«Медиальные и каузативные конструкции в английском и венгерском языках» (с. 207—231)], поскольку формальная отмеченность этих категорий типична именно для венгерского. Хотя основной материал почерпнут автором из словарей (Папц; Орсэг для венгерского, Хорнби — для английского), проблематика статьи ориентирует Б. Корпонаи на широкие обобщения по вопросам структуры предложения и взаимодействия различных залоговых значений в пределах синтаксических моделей двух сравниваемых языков. Материал этих языков очень интересен потому, что благодаря различиям в грамматическом строе каузативным синтаксическим конструкциям английского в венгерском языке могут противостоять чисто морфологические образования (с. 220—224). В небольшой статье автору удалось дать всестороннюю трактовку, решение очень сложной проблемы. В «Заключении» (с. 230) ясно очерчены сферы схождения и расхождения двух языков, это еще раз подтверждает плодотворность объединения семантико-морфологического и синтаксического подходов при анализе языкового материала.

Сложному предложению посвящены в сборнике две статьи Д. Хелла: «Объектные и субъектные предложения с *that* в английском и соответствующие им предложения с *hogy* в венгерском» (с. 145—176) и «Сложносочиненные предложения в английском и венгерском» (с. 351—371). В отношении своей частотности предложения с англ. *that* — венг. *hogy* занимают в обоих языках видное место среди других структур сложно-подчиненного предложения. Расхождения наблюдаются главным образом на уровне структурного целого (употребление анафорических частиц — с. 166). В статье много примеров, но, к сожалению, отсутствуют итоги лингвистического порядка, хотя указания на возможные ошибки при изучении английского языка венграми имеются (с. 172—173). Во второй статье того же автора интерес представляет логико-семантическая трактовка сложносочиненных предложений, благодаря которой автору удается показать, что сложносочиненные предложения, будучи зачастую логически идентичными, с лингвистической точки зрения значительно отличаются одно от другого (с. 359).

Статья И. Вереш «Синтаксические структуры с венгерскими глагольными частицами и их английские эквиваленты» привлекает к себе внимание тем, что в ней рассмотрены языковые модели, чрезвычайно типичные как для одного, так и для другого языка. Случается, что различия в значении, передаваемые порядком слов в английском и венгерском, совпадают, но чаще совсем другие английские структуры требуются для того,

чтобы передать варианты венгерского порядка слов. Последнее связано с тем, что превербальная и поствербальная позиции частиц в венгерском могут служить средством передачи глагольного вида, а в усеченных предложениях используются для указания на определенный или неопределенный объект или субъект действия — ситуация, при которой в английском языке употребляются соответственно артикли или местоимения (с. 317). Статья хорошо написана и логична, но затронутой в ней тематики хватило бы на большую монографию.

Несколько выпадающая из общего контекста первой части книги статья Л. Варга «Контрастивный анализ английского и венгерского словесного ударения» (с. 233—243) имеет главным образом методическую направленность, предупреждая венгров, изучающих английский язык, и англичан, изучающих венгерский, от тех ошибок, которые могут быть допущены при перенесении акцентных моделей из одного языка в другой.

Методически ориентированы и две статьи второй части рассматриваемого сборника: Дж. Хорлаи «Контрастивное исследование форм *с had + n* и *had + been + ing* и их венгерских эквивалентов» (с. 491—512) и Т. Варади «Справочник венгеро-английских ошибок» (с. 513—590). В этой последней статье содержатся таблицы, дающие качественную и количественную оценки ошибок, допускаемых при изучении иностранного (в данном случае английского) языка. Подобный «Справочник» весьма полезен для педагогов. Однако при чтении его возникает ряд не только методических, но и методологических соображений. На наш взгляд, автор совершенно прав, когда констатирует, что общим недостатком пособий подобного рода было стремление оценивать ошибки только с точки зрения отступлений от норм изучаемого языка (так называемого *target language*). На самом деле следовало ставить вопрос шире: какова компетенция учащегося и его возможности выразить необходимое содержание высказывания на изучаемом иностранном языке (с. 583).

Работа Л. Т. Андраша посвящена семантическому анализу группы прилагательных с общим значением пространственных размеров («*Spatial adjectives: an English-Hungarian contrastive study*» с. 453—490). Осуществление последовательного контрастивного анализа семантических группировок различных частей словарного состава языка имеет, разумеется, большое теоретическое и практическое значение и помогает не только преподаванию сравниваемых языков, но и составлению толковых, синонимических и двуязычных словарей. К сожалению, работ подобного типа еще немного, и автор статьи справедливо замечает, что «лексико-семантические исследования, чисто теоретические или прикладного типа, общие, на материале одного или двух языков, находятся еще на начальной стадии» (с. 487)¹. По материалам не только словарей, но и анкет-тестов автор дает ряд таблиц, иллюстрирующих схождение и расхождение прилагательных, общих по своему семантическому контуру в английском и венгерском. Учтены не только семантические, но и структурные особенности языков. Так, автор замечает, что в отношении регулярности словообразовательных процессов система венгерского языка более однородна по сравнению с английской (пример: регулярное образование венгерских существительных с продуктивным суффиксом *-ság/-ség: széles + ség* «ширина», англ. *width* от *wide*, но англ. *bigness* от *big* «большой»). Именно из-за частичного совпадения и одновременного расхождения значений слов, объединенных в одном семантическом поле, возникают (при соответствующих социолингвистических условиях) процессы лексической интерференции, в общем плане рассматриваемые в статье Й. Чапо «Проблема лексической интерференции». Используя положения теории лингвистических универсалий (с. 376) и некоторые из приемов компонентного

¹ В советском языкознании в качестве кандидатских диссертаций был осуществлен ряд исследований лексико-семантических групп по материалам одного или нескольких языков. Ценные соображения по теоретико-методологическим основам лексико-семантического анализа имеются в работах акад. Л. В. Щербы, акад. В. В. Виноградова, Д. Н. Шмелева, А. А. Уфимцевой, О. Н. Селиверстовой и других специалистов по различным языкам.

анализа, автор статьи пробует установить общие принципы интерференции лексик. Оперирует автор синонимическими группами сравниваемых языков, исходя из положения, что «системы синонимов в языках в большинстве случаев не совпадают полностью и уточнение механизма их употребления должно проводиться в процессе обучения данному языку» (с. 449).

Статьи второго взятого нами для обзора сборника в известной мере продолжают и расширяют тематику первой книги. Обе книги объединены не только тем, что из семи авторов второй книги шесть входят в авторский коллектив первого труда, но и общей направленностью и методикой анализа языкового материала. Статья Л. Варги «Различия в ударении повторяющихся в диалоге существительных в английском и в венгерском» (с. 113—122) затрагивает важный вопрос влияния просодических и контекстуальных условий на отмеченность ударением слова в предложении. В статье Й. Чапо «Английские отыменные прилагательные и их венгерские эквиваленты» (с. 21—38) указывается, что хотя употребление суффиксов в венгерском для образования отыменных прилагательных имеет ряд черт, сходных с аналогичными процедурами английского языка (с. 24), в целом дистрибутивные модели различаются в сравниваемых языках в том отношении, что венгерский более последователен в производстве стойких сложных слов («solid compounds», по выражению автора статьи) вне зависимости от того, является ли первый элемент сложного слова атрибутивным существительным или отыменным прилагательным (с. 37).

Три статьи сборника касаются функционирования служебных слов для передачи различных семантико-грамматических категорий: Е. Стефанидеш-Диоши «Генерализирующая роль артикля в английском и в венгерском» (с. 89—111); А. Надашди «Относительные местоимения в английском и венгерском» (с. 75—87); Б. Корпонаи «Об одной двусторонней падежной категории» (с. 61—73). В последней из упомянутых статей речь идет о передаче английским предлогом тех значений причины и цели, которые в венгерском выражены падежной формой с окончанием *-ért*. Следует заметить, что функциональный подход при контрастивном сопоставлении английского и венгерского языков вполне оправдан. Он обусловлен теми типологическими различиями в грамматическом строе, которые, создавая возможность исследования частей речи, морфологически отмеченных в венгерском как языке синтетического типа, неизбежно приводят к необходимости оперировать семантически эквивалентными, но формально различными аналитическими структурами английского языка. Поэтому исследовательски плодотворный подход к оценке сопоставляемых моделей двух языков со стороны выполняемых ими семантических функций был подсказан самим строем этих языков. Следует сказать, что при сравнении более емких структур различия между языками выступают в меньшей мере, чем при оперировании более дробными отрезками текста. Из этого, конечно, не следует, что при вполне семантически адекватной передаче коммуникативного задания («глубинной структуры») то, что можно назвать опорным центром предложения, совпадает в двух языках. Это демонстрирует статья К. Кишш «Венгерский и английский: тема-ориентированный и субъектно-ориентированный язык» (с. 39—57). Основываясь на положении, что не каждый язык использует в предложении структуру «субъект — предикат», автор статьи показывает, что в венгерском заданное содержание передается посредством коммуникативного моделирования² (с. 39).

Во втором сборнике внимание привлекает статья Л. Дежё «Англо-венгерская контрастивная лингвистика в Венгрии» (с. 7—15), где в сжатой форме показаны пути лингвистических изысканий и подчеркнуто, что сейчас, на втором этапе, англо-венгерские контрастивные исследования достигли такого уровня, который позволяет испробовать различные тео-

² Термин «communicative patterning» К. Кишш употребляет вместо более принятого «topic-comment structure».

ретические подходы к решению проблем контрастивной грамматики (с. 11—13). Эти различные подходы мы уже отмечали выше, характеризуя отдельные статьи рецензируемых сборников. Положительной и наиболее перспективной нам представляется функционально-семантическая оценка исследуемых явлений языка. Однако все статьи содержат богатый и тщательно обработанный материал сопоставляемых языков и широко комментируют по всем затронутым вопросам существующую лингвистическую литературу. Нет сомнений, что эти сборники окажут благотворное влияние на развитие контрастивных исследований языков не только в Венгрии, но и за ее пределами. Хотелось бы пожелать, чтобы авторский коллектив распространил контрастивный анализ англо-венгерского материала и на лексико-семантический уровень.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Studies in English and Hungarian contrastive linguistics*. Ed. by Dezső L. and Nemeser W. Budapest, 1980.
2. *Contrastive studies: Hungarian—English*. Ed. by Dezső L. Budapest, 1982.
3. *Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A grammar of contemporary English*. London, 1972, p. 908.

РЕЦЕНЗИИ

Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии. Отв. ред. Перебийнос В. И. — Киев: Наукова думка, 1981. 204 с.

Разработке философских проблем языкознания всегда уделялось определенное внимание. Но особую актуальность эти проблемы приобретают в современном языкознании, переживающем новый этап в становлении своих теоретических основ. Поэтому появление работы, в которой авторы взяли на себя нелегкую задачу «осветить актуальные вопросы общего языкознания с позиций марксистско-ленинской диалектики», в принципе можно только приветствовать.

Рецензируемый сборник состоит из четырех разделов. Первый раздел, посвященный общим философским вопросам языкознания, написан философом, остальные три, касающиеся конкретных лингвистических проблем с выходом в философские категории, написаны лингвистами.

В первом разделе («Диалектический материализм и лингвистические исследования», с. 3—24) С. А. Васильев пишет, что диалектический материализм должен проявляться в лингвистических исследованиях в трех аспектах: 1) как научная методология познания, 2) как требование полноты охвата свойств и отношений единиц исследования, 3) в эвристической функции, состоящей «в оценке полноты системы методов». Но забота о методах своей науки не должна исключать интереса к теории. Чтобы создать такую теорию, уже невозможно оставаться в рамках самой лингвистики — необходимо опираться на определенные философские принципы как на свое последнее основание. Выход за пределы лингвистики и обращение к философии продиктованы также тем, что в своих исследованиях лингвисты пользуются такими философскими категориями, как система, структура, функция, качество, количество, форма, содержание, причина и др. Синтез языкознания и философии, по мнению С. А. Васильева, даст возможность создать достаточно общую лингвистическую теорию, которая решала бы ряд принципиальных вопросов относительно взаимосвязи языка, речи и мышления. По мнению С. А. Васильева, особенности соотношения марксистско-ленинской философии и лингвистики заключаются в своеобразии лингвистики по сравнению с объектами естественных наук (физики, химии, биологии): язык — не природное образование, он возник лишь вместе с человеческим обществом. Отсюда — необходимость анализа человеческой деятельности как основы всех социально значимых свойств и способно-

стей человека, в том числе и «языковых способностей». Тем самым мы вступаем в сферу интересов и задач диалектического материализма.

Во втором разделе («Система и структура языка и речи в свете марксистско-ленинской методологии», с. 25—84), состоящем из четырех статей, демонстрируется системный подход к анализу «графемной» структуры односложных слов и дается схема теоретически возможных вариантов сочетаемости согласных и гласных (Н. И. Заплаткина), рассматривается (в статье Н. С. Афанасьевой) соотношение философских категорий формы и содержания на примерах морфемы, слова, фразы, и делается вывод, что значение этих единиц можно познать через их лингвистическую форму (? — К. А.). Соотношение философских категорий части и целого И. Ф. Савченко усматривает в соотношении «среза» языка (парадигматика и синтагматика) и его единиц, а также уровня языка и его единиц. Соотношение философских категорий симметрии — асимметрии в языке проявляется, по мнению М. П. Муравицкой и Л. Л. Слипченко, в виде симметричного или асимметричного чередования «гласный — согласный» в одноморфемных словоформах, а также как одно-однозначное и много-многозначное соотношение между означающим и означаемым.

В третьем разделе («Категории возможности и действительности как проявление системности языка», с. 85—156), состоящем из пяти статей, прежде всего отмечается, что философские категории возможности и действительности проявляются как потенциальное и реализованное в историческом развитии языка, а также в его синхронной системе при моделировании единиц (в самой модели содержатся реализованное и потенциальное в виде «пустых клеточек» — Н. Ф. Клименко). Эти же категории находят свое выражение в языке, как считает Л. И. Комарова, в системе фонем и в системе флексий существительных и ее реализации, а по мнению И. Ю. Вербенко, — как возможность, существующая в системе фонем, и как возможность проявления элементов этой системы в тексте. Рассматривая те же категории в языке на словообразовательном уровне, Н. Ф. Клименко видит их в форме «осуществленных» и «возможных» слов, причем последние подразделяются на «неосуществленные» (не реализованные в речи) и «неосуществимые» (не способные появиться в языке) слова.

Неясно, однако, как «возможные» слова становятся «неосуществимыми». Философские категории возможности и действительности находят воплощение и в синтаксисе, проявляясь, как считает В. И. Критская, в одном и том же предложении в виде двух синтаксических единиц — единицы языка и единицы текста.

В четвертом разделе («Соотношение категорий количества и качества в системе языка», с. 157—201) содержится три статьи. Соотношение философских категорий качества и количества описывается как с онтологической (постепенные количественные изменения приводят к качественным изменениям в языке), так и с методологической точек зрения (от языка к теории лингвистики — Л. М. Гриднева). Две последние статьи посвящены статистическим методам исследования в рамках одного языка и в рамках типологических исследований языков (Т. А. Грязнухина), а также в стилистике (Н. П. Дарчук).

В сборнике поставлен ряд важных философских, методологических и общелингвистических проблем, но не все они решаются удовлетворительно.

1) Что касается освещения отдельных философских проблем языкознания, то решение двух главных из них — определение сущности языка и связанной с нею трактовки некоторых аспектов соотношения языка и мышления — для диалектико-материалистического языкознания не может считаться приемлемым.

а) Положения Н. С. Афанасьевой, согласно которым «язык, отражая бесконечно познаваемый мир, не может быть конечным» (с. 51), «естественные языки являются своеобразными моделями окружающего нас мира» (с. 52), а взаимосвязанность предметов и отношений действительности детерминирует взаимообусловленность между значениями слов (с. 54), не оставляют никакого сомнения в том, что, во-первых, здесь допускается мысль, будто каждой вещи соответствует одно слово, каждому отношению — одно слово или одна грамматическая морфема, т. е. между миром вещей и языком существуют изоморфные отношения. Язык, таким образом, представляется указанному автору в виде дорожных (более широко: «вещных») знаков. Во-вторых, если, далее, принять это положение Н. С. Афанасьевой, то окажется, что принципиально невозможно было бы овладеть языком и владеть им, т. е. язык нельзя было бы признать средством абстрактного отражения бесконечности опыта и обмена мыслями ввиду ограниченности человеческой памяти. В-третьих, рассматривать язык как «бесконечное» в силу бесконечности мира, как «модель мира» — значит приписывать языку свойство жестко и однозначно отражать реальную действительность. Такое понимание языка автоматически приводит к отрицанию его гибкости, приспособляемости к любой ситуации, которые обеспечиваются его структурным «устройством». Утверждая, что язык «не может быть конечным», Н. С. Афанасьева в своих воззрениях смыкается с

Н. Хомским. Для последнего язык — «сумма правильных предложений», которая тоже не может быть конечной. И в том, и в другом случае — полное отождествление «языка» и «речевых произведений», что не одно и то же. В четвертых, если утверждается «жесткая», прямая, непосредственная связь языка и действительности, то постулируется соотношение «действительность — язык» вместо соотношения «действительность — мышление — язык», где мышление, с точки зрения упомянутой концепции, или опускается, или отождествляется с языком. Это, в свою очередь, ведет к отрицанию диалектического взаимодействия между языком и действительностью, состоящего в том, что язык, будучи детерминированным внешним миром, связан с ним через мышление. Поэтому язык является относительно самостоятельной системой [см. 1, с. 33; 2, с. 48, 108], вследствие чего он обладает способностью выражать любое мыслимое содержание, в том числе и такое, которое не находит отражения в реальной действительности. Наконец, тезис о том, что «язык — модель мира», в связи с известным нам фактом существования более трех тысяч языков предполагает существование такого же количества окружающих нас миров.

б) «Одной из фундаментальных гипотез современного языкознания, — считает С. А. Васильев, — является положение о том, что язык представляет собой знаковую систему, в основе которой лежит структура взаимосвязи элементов» (с. 9). Однако определить сущность языка таким образом — значит определить его неполно, односторонне и, по существу, неверно. Этот тезис предполагает, что языковые явления — результат тех отношений, в которых они находятся друг к другу. Абсолютизируя отношения, С. А. Васильев выдает вторичное за первичное. Подобное понимание природы языка в философском аспекте есть не что иное, как дань антисубстанциализму, релятивизму как «одной из разновидностей идеализма» [2, с. 65], провозгласившему первичность отношений и вторичность субстанции. На самом же деле все материальные элементы системы языка (знаки), находясь в определенных связях друг с другом, соотношены в то же время с абстрактным мышлением, а это последнее — с реальной действительностью. Если же это соотношение рассматривать со стороны мышления, то мы увидим, что мышление соотносено с реальной действительностью через «посредник между познающим субъектом и познаваемым объектом» [3, с. 27], т. е. через материальную сторону языковых единиц, выступающих как знаки определенных идеальных образов. Значит, непосредственно соотносены друг с другом не мышление и действительность, не знак («система знаков») и действительность, а мышление и знак (что, собственно, и «делает человека человеком»). Следовательно, о языке как о «системе знаков» можно говорить, как нам кажется, лишь в том смысле, что в основе этой системы лежит не только «структура взаимосвязей

элементов», не только «реляционный каркас» (наличие этого последнего ни в коем случае нельзя отрицать, ибо он является очень существенным признаком языка, обеспечивающим его гибкость, «приспособляемость»), но и ее соотносительность с идеальным, духовным — с мышлением, которое не является знаковым. При определении же языка как системы знаков в рецензируемом сборнике язык возводится в «абсолют», провозглашается «своеобразная магия языка» [4].

в) В основе тезиса С. А. Васильева о том, что «лингвист, имея текст и пользуясь методом дистрибутивного анализа, может восстановить язык, на котором этот текст написан» (с. 17), лежит тот же релятивистский подход к языку, согласно которому языковые единицы целиком определяются теми отношениями, в которых они находятся, т. е. синтагматическими отношениями. Понимание языка как сети отношений противоречит одному из основных положений марксистско-ленинской философии, согласно которому объективно существующие отношения суть всегда отношения вещей [5, 6]. Считать свойством языка его реляционный характер — значит постулировать принцип имманентности языка, отрицать взаимодействие языка с мышлением и с внеязыковой действительностью, надеяться язык независимым от человека существованием. Идя этим путем, мы приходим к уже известному из истории языкознания американскому (гипотеза Сепира-Уорфа) и европейскому (Л. Вайсгербер) неогумбольдтианству: язык рассматривается не как орудие абстрактного мышления и познания, а как нечто, определяющее характер мышления и, следовательно, результаты познания человеком окружающего мира. Язык как «знаковая система» имеет и идеальную сторону. Но существует она, в основном, не в силу отношений языковой единицы с другими единицами, а имеет ту же онтологическую природу, что и содержание абстрактного мышления.

г) Думается, что неверное понимание сущности языка не в последнюю очередь предопределено смешением акцентов в соотношении «язык — мышление — действительность». Точка зрения С. А. Васильева, согласно которой «общих понятий причинности, действия, качества, количества» и др. не существовало в «общественном сознании примитивного человеческого коллектива», т. е. исследования языка первобытных племен не обнаружили у них слов, выражающих эти понятия (с. 18), смыкается с точкой зрения Л. Леви-Брюля, Н. Я. Марра. Последние считали мышление первобытных народов «дологическим» мышлением, лишенным абстрактных, отвлеченных понятий. Л. Вайсгербер утверждал, что существуют лишь те понятия, которые закреплены за отдельными языковыми единицами. Но, во-первых, Л. Леви-Брюль, говоря об особых типах мышления, о нарушении формально-логических законов мышления, фактически имел в виду не сложившуюся у первобытного человека систему понятий, «а лишь систему понятий современного человека,

более адекватно отразившую объективную действительность» [см. 1, с. 119]. Во-вторых, уже изготовление человеком простейших орудий, в отличие от животных, связано с обязательным отвлечением от непосредственного созерцания действительности и развитием абстрактного мышления [см. 7]. В-третьих, отсутствие того или иного слова или формы в языке еще не означает отсутствия соответствующего понятия в сознании людей [8]. К одной из сущностных характеристик языка относится его структурный характер («продуктивность структуры»), т. е. способность ограниченного числа элементов языка (хотя и очень большого) сочетаться с еще более ограниченным числом правил сочетания, что позволяет «производить» бесконечный ряд речевых произведений. А это дает возможность носителю языка выражать любое мыслимое, содержание, в том числе и такое, которое не закреплено за каким-либо отдельным словом. Таким образом, само наличие языка уже предполагает наличие абстрактного мышления и, следовательно, умение различать любые отношения, в том числе и причинно-следственные.

д) В сборнике есть и некоторые другие неточности принципиального характера. Вряд ли уместна опора на некоторые работы, в которых соотношение языка и мышления трактуется с идеалистических позиций: нельзя согласиться с тем, что язык «представляет собой питательную среду самого существования человека», что «язык... является непременным участником всех тех психических параметров (? — К. А.), из которых складывается сознательное и даже бессознательное поведение человека» (с. 12).

2) Не все убеждает также в оценке некоторых вопросов методологии современного языкознания.

а) Как пишет С. А. Васильев, лингвистика является наукой «гуманитарной по самой своей сущности» (с. 4). Если бы лингвистика не была бы одновременно и наукой «точной», то вряд ли С. А. Васильев мог бы утверждать на той же странице, что лингвистика «вторгается» в решение «различных практических и даже технических задач». Пафос всего сборника — и в этом его ценность — в том, что язык — строгая структура. А строгость структуры не может не быть признаком «точной» науки. Точность, разумеется, — не прерогатива математических методов. Точность — это объективность, адекватность отражения объекта, независимость от того, какими методами она достигается. Поэтому трудно согласиться с тем, что лингвистика стала точной наукой лишь после введения в нее математических методов, что «проникновение математических методов в науку о языке меняет сам стиль мышления» исследователя, «приводит к пересмотру принимавшихся ранее критериев точности, строгости, доказательности теоретических положений» (с. 3—4).

б) В этой связи нельзя согласиться с утверждением Н. П. Дарчук о том, что в настоящее время в лингвистике «наряду с неточными активно применяются точ-

ные методы» (с. 184). Мы склонны утверждать, что использование «неточных методов» в лингвистике нашего времени, как и в лингвистике прошлого, обусловлено лишь «неточностью» исследователя (а не метода), его недостаточной профессиональной квалификацией или неверным методологическим подходом.

в) Трудно безоговорочно согласиться с тем, что «лингвистика довольно поздно осознала зависимость эффективных методов исследования от теории, на которой они должны основываться» (с. 8). Между прочим, отсутствие теории тоже есть своего рода «философия», постулирующая зависимость эффективности методов от отсутствия теории: чем меньше теории, тем эффективнее методы. Например, стремление дескриптивистов к чисто формальным методам описания языка, базирующимся только на дистрибуции элементов, продиктовано именно «теоретическим нигилизмом» [9]. Беспомощность теоретической платформы, например, некоторых других направлений структурализма, выразилась именно в стремлении лишь к «деловому экспериментированию» [3, с. 35]. И «теоретический нигилизм», и «деловое экспериментирование», отражающие понимание языка как сети отношений, выражают тем самым определенную методологическую, философскую концепцию в языкознании. Поэтому, вопреки мнению С. А. Васильева, можно утверждать, что языкознание как наука — об этом свидетельствует вся история языкознания — пыталось опираться в конкретных методах, хотя и не всегда осознанно, на те или иные теоретические положения, что лингвистика всегда «осознавала зависимость» методов исследования от теории. Другое дело, что некоторые из этих теорий оказались ложными.

3) Сборник, именуемый в аннотации «монографией», полон противоречий при решении некоторых теоретических проблем языкознания, в частности проблемы соотношения языка, речи, текста, системы, структуры.

а) О языке и речи говорится, во-первых, как о двух параллельно существующих системах, хотя и не раскрыто их соотношение (с. 83, 199), во-вторых, как о разных подходах к изучению единого объекта, как о попытке найти в нем абстрактное и конкретное, возможное и реальное (действительное), потенциальное и реализованное, сущность и явление (с. 95, 98, 129). В-третьих, делая вывод о том, что «количественные характеристики единиц языка объективно существуют в языке и речи» (с. 105), фактически признается, что язык складывается из двух феноменов — языка и речи. В-четвертых, высказывается противоположная мысль: единицы языка существуют в речи (с. 188). В-пятых, в речи функционируют и единицы языка, и единицы речи, т. е. речь шире, чем язык, речь содержит в себе язык и речь (с. 188). В-шестых, язык рассматривается как порождающий механизм с конечным набором правил, который порождает бесконечное число единиц речи (с. 151). В-седьмых, речь — это «реализация языковой системы»

(с. 174). В-восьмых, анализируя «незаполненные клетки» в словообразовательных моделях языка, один из авторов сборника соотношение «язык — речь» отождествляет с соотношением «норма — узуальное употребление» (с. 142).

б) О соотношении языка — текста высказываются также разные точки зрения. Текст, согласно мнению некоторых авторов, — это нечто, в чем содержится язык, хотя и не раскрыто соотношение «текст — язык» (с. 17, 127). В одной из статей указывается, что «текст» состоит из «системы единиц текста» и из «системы единиц языка», причем первой системе (на примере анализа лишь одного предложения) отводится ведущая роль. Грамматика же (имеется в виду язык. — К. А.) играет незначительную роль в формировании предложения (лишь согласование существительного с прилагательным и эллипсис) (с. 148). У читателя возникает вопрос: какое явление (язык, мышление, речь, логика, психология, действительность?) обуславливает «порождение» текста? Оказывается, как пишет В. И. Критская, — «неязыковые факторы... например, описываемый в тексте фрагмент объективной действительности; индивидуальное мировоззрение автора; свойства речи и др. В результате взаимодействия различных факторов, только одним из которых есть язык (стиль? — К. А.), получается та линейная последовательность (звук, фонем, графем и т. п.), которую мы называем текстом» (с. 147). Мнение того же автора о том, что единицы текста — это явления, изучая которые, «мы познаем сущность языка (его систему)» (с. 149), противоречит тому, что им же высказано выше. Наконец, текст рассматривается «в качестве последнего этапа превращения в действительность возможностей, существующих в абстрактной и конкретных фонологических системах» (sic! — К. А.) (с. 127).

в) Полная непоследовательность обнаруживается в соотношении понятий: «язык — речь — текст — стилистика». Н. П. Дарчук, например, считает, что в речи функционируют единицы языка и единицы речи (с. 188). Но, с другой стороны, в тексте действуют законы речи, которые управляют сочетаемостью единиц в языковые цепочки (с. 189). Из этого тезиса вытекает, что речь — родовое понятие, которому подчинены два видовых понятия — текст и язык. В то же время отождествляется речь и стилистика, когда утверждается: эффективность количественных методов в стилистике объясняется тем, что речь — это явление, где действует большое количество факторов (с. 186). И, наконец, отождествляется стилистика и текст: «стилисту приходится рассматривать как объект (текст), который рождается скрытым от него механизмом» (с. 189). Из рассуждений Н. П. Дарчук следуют взаимоисключающие утверждения, вроде: 1) текст = речь, 2) стилистика = язык + речь, 3) стилистика = текст + язык, 4) текст = язык + речь, 5) текст = текст + язык, 6) стилистика = речь 7) стилистика = текст, 8) текст = текст

9) *речь* = *речь*. Ясно одно: ни сами эти термины, которые в сборнике лишены всякой определенности, ни эта «игра в термины» не только не раскрывают какие-либо новые сущностные стороны языка, но вносят определенную путаницу в науку о языке.

4) Некоторые положения сборника носят чисто декларативный характер. Об этом приходится сожалеть, ибо они касаются таких кардинальных понятий современной лингвистики, как система, структура, форма, содержание, знак, мышление, язык, *речь*, текст. Практические результаты исследований, которые легли в основу философских интерпретаций, фактически выполнены на более высоком научном уровне, чем их декларируемые философские основания. Стремление ликвидировать этот разрыв не преминуло выразиться в (а) претенциозности названий некоторых статей, (б) преувеличении достигнутых в них результатов, (в) преувеличении роли некоторых философских категорий в определении сущности языка.

а) Названия самого сборника и его некоторых статей, а также отдельные выводы претендуют на большее, чем то, что в них содержится. Например, И. Ю. Вербенко распространяет выводы своего исследования на все «состояние языка», в то время как они касаются лишь «состояния системы фонем» в конкретном языке (с. 127). Ценность статьи Н. И. Заплаткиной повысилась бы, если бы ее «глобальное» заглавие («Системный подход к изучению языковых явлений») имело более скромный вид: «Системный подход к изучению графемной структуры односложных слов в некоторых славянских языках». Думается, что нет нужды интриговать читателя масштабностью формулировок.

б) Некоторые авторы сборника считают своим долгом засвидетельствовать персональную точку зрения по тому или иному вопросу, мало заботясь о логических следствиях, вытекающих из их теорий. Во вступительной, философской статье С. А. Васильев пишет, что «категории мышления... осознано (разрядка наша. — К. А.) кладутся в основу исследования языка и речи» (с. 21). На самом же деле соотношение «языка» и «речи» в сборнике теоретически безнадежно запутано, а практически никакой роли не играет: все, что подлежит практическому анализу единиц (языка? речи? текста?), в сборнике взято из того же источника, из которого черпало свой эмпирический материал все прежнее (и сегодняшнее) языкознание, когда никто еще не был наслышан о дихотомии «язык — речь». Название второго раздела сборника («Система и структура языка и речи в свете марксистско-ленинской методологии») не во всем согласуется с его содержанием. Из содержания этого раздела неясно, что такое система и структура языка и что такое система и структура речи и каковы их соотношения «в свете марксистско-ленинской методологии». Неясно также, как конкретно в языке и как конкретно в речи (если они реально существуют) проявляются форма и содер-

жание, часть и целое, симметрия и асимметрия, которые рассматриваются как общие категории материалистической диалектики. Название этого раздела и, следовательно, сборника «повисло в воздухе».

в) При исследовании языковых явлений преувеличена роль симметрии в характеристике языковой структуры. Если и существует некоторая симметрия в языке, то лишь в фонологической структуре слов, и даже не слов, а лишь трехфонемных морфем (она ограничена лишь определенным чередованием «гласный — согласный» в трехфонемных морфемах). Во всем же остальном (в структуре подавляющего большинства слов, во всех предложениях, во всей грамматике, во всей семантике) господствует явная асимметрия, которую в общем-то и назвать «асимметрией» нельзя, поскольку она не проявляется на этих уровнях языка в виде свойства, в противоположность которому другое свойство характеризовалось бы признаком «симметрии». Нам кажется, что ни одна из сущностных характеристик языка не лежит в сфере «симметрии — асимметрии». Последние категории, разработанные диалектическим материализмом на материалах естественных наук, экстраполированы на язык, сущность которого, как известно, не естественного, а социального свойства.

Надо всячески приветствовать лингвистические работы, которые исследуют конкретные проявления наиболее общих законов природы, общества, мышления, познания в естественном языке. Однако данную попытку собрать под одной «крышей» разные лингвистические проблемы, объединив их общими философскими категориями, выйти за пределы «получшего эмпиризма» и посмотреть на факты языка с высоты философских обобщений, нельзя признать удачной. Здесь уместно привести слова известного французского лингвиста-коммуниста М. Козна: «Особенно прискорбно видеть, как в кругах, занимающихся диалектическим материализмом, распространяется необдуманное пристрастие к вещам, которые совершенно определенно являются побочными продуктами чистого идеализма» [10].

Кривоносов А. Т.

ЛИТЕРАТУРА

1. Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
2. Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания. М., 1982.
3. Панфилов В. З. Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака. — ВЯ, 1975, № 3.
4. Филин Ф. П. О некоторых философских вопросах языкознания. — В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970, с. 9.
5. Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 67.
6. Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, с. 143.,

7. *Выготский Л. С., Лурия А. Р.* Этюды по истории поведения. М.—Л., 1930, с. 119.

8. *Серебренников Б. А.* К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка.— ВЯ, 1970, № 2, с. 40.

9. *Белый В. В.* Философские основы американской дескриптивной лингвистики.— ВЯ, 1977, № 2, с. 44.

10. *Cohen M.* Quelques notations historiques et critiques autour du structuralisme en linguistique.— La pensée, 1967, № 135, p. 36.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика
Высшая школа, 1981. 208 с.

В рецензируемой второй части книги В. Г. Гака «Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис» (первая часть была посвящена морфологии [1]) обобщены результаты многолетних наблюдений автора, а также синтезированы новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в области грамматической теории. В обеих частях «Теоретической грамматики» автор последовательно развивает функционально-семантическую точку зрения на грамматику французского языка. Он вскрывает полифункциональность грамматических форм, разграничивает ядерные (типичные, наиболее употребительные, основные) и периферийные языковые явления.

Синтаксис представляет наиболее сложный и противоречивый аспект грамматической организации языка, поскольку именно «сфере синтаксиса специально принадлежат те языковые единицы, которые не посредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое с реальной действительностью, включая сюда как внешнюю, так и внутреннюю, интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни» [2].

В синтаксической теории обнаруживаются значительные расхождения во взглядах, синтаксис выдвигает многочисленные теоретические проблемы, ставит исследователя перед необходимостью постоянного поиска новых методов и подходов к изучению языка. Французский синтаксис в этом отношении не представляет исключения. Развитие теоретического синтаксиса французского языка характеризуется столкновением, отчасти взаимопроникновением разных точек зрения, сочетанием разных подходов к теоретической интерпретации синтаксического строя.

Объединив все существующие тенденции в исследовании синтаксических явлений в три группы [структурный (формальный), логический и семантический подход] (с. 5), В. Г. Гак систематизирует и анализирует различные теории французского синтаксиса и освещает под этим углом зрения основные этапы развития теоретического синтаксиса французского языка. Он особо подчеркивает необходимость сочетания семасиологического аспекта синтаксического анализа (от формы синтаксических структур к их содержанию) с ономасиологическим (от выражаемых значений к способам их оформления), убедительно доказывая эффективность со-

французского языка. Синтаксис.— М.:

четания названных аспектов синтаксического исследования.

Три первых раздела (главы) рецензируемой книги представляют введение в проблематику синтаксической теории. Здесь дается определение самого понятия синтаксиса, понятия синтаксических единиц, синтаксических значений и отношений, освещаются основные методы изучения французского синтаксиса, вводятся понятия модели и моделирования в синтаксисе. Следующие далее разделы (их девять) посвящены изучению проблематики словосочетания, простого предложения и его членов, сложного предложения, сверхфразового единства и текста как законченного полного сообщения. Наибольшее место (свыше 130 с.) отведено рассмотрению вопросов центральной единицы синтаксиса — простого предложения, его компонентов и типов, различных аспектов синтаксической и семантической структуры, организации в коммуникативном плане.

При отборе материала, его расположении и интерпретации В. Г. Гак руководствуется прежде всего принципом наибольшей важности и актуальности рассматриваемых вопросов. Не случайно поэтому так много внимания отводится проблеме сочетаемости слов и словосочетаний, семантическому согласованию компонентов синтаксических структур, актуальному членению предложения, соотношению понятий общей и частной парадигмы в синтаксисе и т.п. Все эти вопросы требуют особенно глубокого понимания. Они активно разрабатываются в современной синтаксической теории на материале разных языков и в то же время ставят перед исследователями все новые проблемы.

Предмет детального и всестороннего рассмотрения в обеих частях «Теоретической грамматики» составляет проблема асимметрии плана содержания и плана выражения. В синтаксисе, как и в морфологии, автор различает асимметрию синтагматического и парадигматического плана. Та и другая связаны со способностью языковых единиц выступать не в своей первичной функции, а во вторичных функциях, характеризующихся несовпадением формально-структурного и семантического уровней. На примере конкретных случаев реализации синтаксических единиц и синтаксических структур в современном французском языке В. Г. Гак выявляет и обобщает факторы

формирования вторичных функций синтаксических категорий. В числе этих факторов несоответствие семантического содержания категории и семантики слова, выступающего в данной функции, стремление французского языка к аналитическому способу выражения и др.

В. Г. Гак обращает внимание на то, насколько важен при изучении французского языка учет взаимодействия лексики и синтаксиса, их движения «навстречу друг другу». Лексико-синтаксическое взаимодействие проявляется прежде всего на уровне категориальных значений частей речи, таких, например, как значение предметности/процессуальности, действия/состояния и т. п. Подчеркнута важная роль экономии и избыточности в речи, их структурный и семантический характер. Предложение рассматривается в единстве его структурной, семантической и коммуникативной характеристик, выявляясь формы взаимодействия названных аспектов, систематизированы средства, участвующие в изменении синтаксической структуры предложения. В последнем разделе «Синтаксиса» предложение анализируется как составная часть более крупного синтаксического образования — сверхфразового единства (СФЕ), систематизированы средства связи внутри СФЕ и текста, изучаются промежуточные формы между предложением и СФЕ.

Внимание к различному рода переходным структурам, к построениям, допускающим разную интерпретацию, характеризует многие разделы «Синтаксиса», что свидетельствует о стремлении автора по возможности максимально приблизить теоретическую интерпретацию к самому анализируемому объекту во всей его сложности, а именно представить французский синтаксис не как некую «жесткую» схему, а как сложный механизм, функционирование которого характеризуется взаимодействием составляющих его звеньев. В этом плане особенно показателен параграф, посвященный дискуссионным вопросам выделения членов предложения (§ 96), в котором анализируются сочетания служебных и самостоятельных слов, комплексные и слитные члены предложения, рассматриваются в сопоставительном плане возможные подходы к их интерпретации, отмечается необходимость учета внутренних связей слов при определении границ членов предложения.

Во многом новыми и оригинальными являются представленная В. Г. Гаком семантическая типология словосочетаний со вторичными функциями (§ 68), разработка применительно к французскому языку вопроса о грамматических категориях предложения (§§ 84—88), моделирование французских предложений в структурно-семантическом плане на основе систематизации типов отражаемых ими ситуаций (§§ 89—91) и др.

Среди словосочетаний со вторичными функциями В. Г. Гак выделяет три основных типа: 1) и н т е р в е р с и в н ы е (обратные) словосочетания, в которых смысловые отношения не параллельны синтаксическим; 2) а н а л и т и ч е с к и е словосочетания с десемантизиро-

ванным компонентом, выражающим общекатегориальное значение; 3) ф р а з е о л о г и з и р о в а н н ы е словосочетания, возникающие в результате семантической конденсации.

Грамматические (коммуникативные, синтаксические, модусные) категории предложения объединены автором в шесть типов (с. 68—69): I. Категории, ориентированные на говорящего и отражающие 1) соответствие предиктируемого признака действительности (категория истинности и категория модальности); 2) структуру акта речи (категория лица речи и категория дейкиса или локализации); 3) наличие признака эмотивности (категория эмотивности); II. Категории, ориентированные на собеседника: 4) категория целенаправленности высказывания, включающая субкатегории повествования, вопроса, побуждения и пожелания; 5) категория информативности (актуальное членение); 6) категория речевой ситуативности (социальный аспект общения — формы вежливости и др.; функционально-стилистические модификации форм).

На основе фундаментальных типов ситуации В. Г. Гак устанавливает восемь основных структурно-семантических моделей французского предложения и три производных от них модели. Внутри основных моделей им выделяется ряд субмоделей. При этом строго разграничиваются первичные и вторичные функции каждой модели и субмодели (с. 71—74). Структурно-семантические модели, будучи противопоставленными друг другу в системе языка, образуют общую парадигму предложения. Его частная парадигма «включает совокупность предложений, объединяемых общим лексическим составом (точнее, общей пропозицией, диктумом) и различающихся по коммуникативным категориям» (с. 75).

Эти и многие другие наблюдения и интерпретации автора свидетельствуют о том, что рецензируемый труд представляет новую ступень разработки теории французского синтаксиса.

К достоинствам «Теоретической грамматики французского языка» следует отнести логичность изложения, аргументированность предлагаемых автором или поддерживаемых им решений дискуссионных вопросов, а также доступность изложения. Научные термины, как правило, сопровождаются определением обозначаемых ими понятий. Лишь иногда, считая, вероятно, термин хорошо известным читателю, В. Г. Гак оперирует им без дополнительных пояснений. Среди подобных терминов, однако, встречаются такие, которые, с нашей точки зрения, как раз и нуждались бы в четкой дефиниции.

Речь идет в первую очередь о термине «фраза», который свободно употребляется автором: формулировки типа «во фразе...», «сравним фразы...» и т. п. встречаются на протяжении всего изложения. Очевидно, хотя В. Г. Гак этого специально не оговаривает, термин «фраза» используется им как синоним термина «предложение». В грамматиках, написан-

ных на французском языке, такое понимание термина действительно существует (*proposition* ou *phrase*). Вместе с тем, и это отмечает сам В. Г. Гак в иной связи, во французской грамматической традиции широко распространена точка зрения, в соответствии с которой следует разграничивать понятия *proposition* (простое предложение) и *phrase* (сложное предложение) [3]. К тому же термин «фраза», как известно, применяется не только для обозначения синтаксического понятия (ср. фонемическая фраза, морфемная фраза), значение же, в соответствии с которым фразу можно рассматривать как эквивалент предложения, дается словарями лингвистических терминов в числе последних [4]. Некоторыми исследователями фраза и предложение определяются как единицы разных уровней анализа [5]. Все это, как нам кажется, говорит о том, что использование термина «фраза» в качестве синонима термина «предложение» без дополнительных пояснений не может быть признано удачным. Тем более, что в число единиц синтаксиса понятие фразы автором не включается (с. 8).

В комментариях нуждались бы, по-видимому, также термины «грамматизация» и «десемантизация». В некоторых случаях автор ставит между ними знак равенства (с. 22, 54), однако изложение материала в других разделах книги показывает, что их нельзя считать полностью совпадающими (с. 42, 157—158). И хотя речь идет о понятиях и терминах, относящихся не только к французской грамматике, при чтении «Синтаксиса» ощущается потребность получить эксплицированное объяснение их соотношения.

Не вполне корректным представляется используемое в «Синтаксисе» сочетание слов «внешняя структура предложения» (с. 19; 102 и сл.). Им обозначаются лексический состав предложения, порядок слов и интонация. Но может ли структура быть внешней? Ведь структура — это

внутреннее строение какой-то единицы, взаимное расположение ее составных частей. К тому же названные компоненты, как это убедительно показано в книге, являются важнейшими средствами синтаксической организации предложения и вряд ли целесообразно относить их к его внешней характеристике.

При возможном переиздании «Синтаксиса» необходимо дополнить его заключением, подобно тому, как это сделано в «Морфологии». В обобщении нуждаются особенно те вопросы, к рассмотрению которых автор обращается в той или иной связи в разных разделах книги.

«Теоретическая грамматика французского языка» В. Г. Гака предназначена в первую очередь студентам специальных языковых вузов и факультетов, однако она намного перерастает рамки учебного пособия. Высокий научный уровень книги обеспечит ей, вне всякого сомнения, значительно более широкий круг читателей. Поднятые автором теоретические проблемы ориентируют на дальнейшее изучение спорных и нерешенных вопросов французской грамматики, а функционально-семантическая направленность книги будет способствовать разработке этого актуального направления в нашей отечественной романистике.

Репина Т. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1979, 304 с.
2. Русская грамматика. Т. II. М., 1980, с. 5.
3. *Grammaire Larousse du XX^e siècle*. Paris — Warszawa, s. a., p. 84.
4. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 502—503.
5. Илья Л. И. Очерки по грамматике современного французского языка. М., 1970, с. 143—144.

Теоретические проблемы социальной лингвистики. Отв. ред. Дешериев Ю. Д. — М.: Наука, 1981. 365 с.

Одним из актуальных направлений социолингвистических исследований как в СССР, так и за рубежом является уточнение категориальных характеристик, понятийного аппарата, проблематики, методов социолингвистики. Наряду с бурно развивающимися эмпирическими исследованиями получают осмысление и решение проблемы теоретические. Им и посвящена рецензируемая книга. В ряду социолингвистических работ последних лет, изданных Институтом языкознания АН СССР, данный труд занимает достойное место, являясь продолжением, своего рода этапом развития социолингвистики в нашей стране.

Жанр книги не поддается однозначно определению: с одной стороны, это тематический сборник, с другой — все ра-

боты, включенные в книгу, посвящены одной магистральной теме, и в этом смысле книга, безусловно, монографична. Разделы, из которых она состоит, отражают главные проблемы, возникающие при теоретическом анализе предмета социолингвистики, при вычленении этого предмета из объекта, общего для ряда наук о человеке и его языке, — семиотики, лингвистики, психологии, социологии и т. д. Монография открывается главой «Общие вопросы социолингвистики», начинающейся статьей Ю. Д. Дешериева, посвященной проблеме взаимоотношения между функционально-типологической и другими классификациями языков. В центре внимания автора находится проблема гносеологического статуса типологической классификации языков, а также

связанная с первой проблема места функционально-типологической классификации среди других классификаций языков.

Рассматривая функциональные характеристики языков как основание для их типологии, Ю. Д. Дешериев строит модели функционирования старописьменных, младописьменных и бесписьменных языков народов СССР в разные периоды развития в течение первой половины XX в. Предложенные автором модели весьма перспективны, как перспективна и плодотворна сформулированная им задача «создания более детализированной, чем существующие, функционально-типологической классификации языков» (с. 33). Это положение, несомненно, развивает мысли, высказанные автором в предыдущих работах [1].

Теория социолингвистики неотделима от исследований современной общественно-языковой практики. Ю. В. Рождественский, посвятив свою статью проблеме соотношения теории языка и общественно-языковой практики, сосредоточил главное внимание на рассмотрении предмета филологии. Важным в методологическом плане является положение автора о том, что «филологическая наука есть разновидность самой языковой практики» (с. 36). Поэтому построение схемы развития отечественной филологии оказывается у автора непосредственно связанным с социально-языковыми процессами. Сами эти процессы могут рассматриваться социолингвистами как бы с разных сторон, и такое рассмотрение всякий раз дает возможность вычленивать новые аспекты предмета исследования. Так, О. С. Ахманова и И. А. Данчинова в статье, посвященной социолингвистике в свете эвристики и онтологии языка, выделяют ингерентную и адгерентную социолингвистики, понимая под первой изучение «вариативности в естественных... языках с точки зрения социолингвистически обусловленного выбора говорящими внутренние присущих языку альтернативных возможностей» (с. 40), а под второй — рассмотрение явлений, характеризующих уклад общества и проекцию этих явлений на язык. Такое понимание предмета социолингвистического моделирования, дающее возможность исследовать ситуативный выбор как бы с двух сторон — от языка и от социальной практики, хорошо согласуется с исследованиями по психосоциологии языка, по отношениям языка и культуры. Эти направления исследований характерны, в частности, для французской социологии и лингвистики, что хорошо показано в интересном аналитическом обзоре Н. А. Слюсаревой.

Теория социолингвистики складывается из разных (и равновеликих) компонент. Одной из них является теория языковых ситуаций, в свою очередь включаемая в систему внешних факторов, определяющих функционирование и развитие языка [2]. Приложением общей теории языковых ситуаций к частному, конкретному материалу является статья Э. Г. Туманян «Типология языковых ситуаций».

К числу факторов, которые определяют языковую ситуацию, относится, вероятно, и фактор оценки данного языка в

сравнении с другим языком (или другими языками). Несмотря на всю относительность и изменчивость критериев, зависимость оценки языков от разного рода внешних и внутренних факторов, должны быть выработаны некоторые общие методологические предпосылки, которые помогут ближе подойти к истине (с. 106). Н. Г. Комлев в статье «Лингвистическая аксиология» формулирует такие предпосылки, и, надо отметить, они оказываются непротиворечивыми и методологически адекватными. Эти предпосылки весьма важны в практике научного управления языковой жизнью, которое составляет сущность языковой политики в СССР. Примечательно, что и теория языковых ситуаций, и теория билингвизма, и многие другие, казалось бы, теоретические проблемы социальной лингвистики в своем решении ориентируются прежде всего на практику языковой жизни народов СССР, на практику всемерного развития национальных языков народов СССР. Эти вопросы обсуждаются в интересных и богатых фактическим материалом статьях А. И. Холмогорова и М. И. Исаева. Вполне справедлива связь, которую устанавливает М. И. Исаев между темпами языкового развития и внешними факторами. Между тем было бы не совсем справедливо полностью игнорировать и внутренние, собственно языковые факторы, определяющие развитие.

Совершенно естественным в рецензируемой книге оказывается появление статьи о взаимных отношениях социологии и психолингвистики (Е. Ф. Тарасов). Этот вопрос в отечественной научной литературе прямо не формулировался, хотя важность его постановки и решения не подлежит сомнению. Чем более актуальной является какая-либо научная проблема, тем выше уровень требований, которые предъявляются к ее решению. С этой точки зрения следует отметить, что автор несколько обеднил понимание предмета психолингвистики и не вполне адекватно представил процессы формирования и развития языковой способности человека. Сведение же всего богатства социального влияния на язык и речевую деятельность только к теории ролей оказывается как раз той ошибкой, от которой предостерегал А. Н. Леонтьев, когда отмечал, что «идея прямого сведения личности к совокупности „ролей“, которые исполняет человек, является... одной из самых чудовищных» [3]. Недостатки концепции ролей применительно к рассматриваемой статье не могут быть завуалированы ни ссылками на теорию деятельности, ни упоминанием культурно-исторической школы советской психологии. Весьма досадно, но у автора произошла подмена понятий: то, что он называет психолингвистикой, на самом деле представляет собой психосоциологию языка [4]. Наиболее перспективным путем развития этой последней, вероятно, является исследование теории коммуникации.

Очень интересна глава, посвященная методологии и методам социолингвистических исследований (авторы Т. Б. Крючкова, С. И. Трескова). На конкретном эмпирическом материале и широком ли-

тературном фоне авторы убедительно показывают специфику социолингвистических методов и определяют те методологические принципы, которые должны лежать в основе применения этих методов в исследованиях.

Актуальной для разных социолингвистических школ является проблема двуязычия¹ (билингвизма). В статье Ю. Д. Дешериева, посвященной теории языка и речевой практике, представлен новый² подход к теории билингвизма с точки зрения дихотомии «язык — речь». Аргументированно возражая против концепции, в соответствии с которой при билингвизме возникает особая третья структура, автор строит модель коммуникации при двустороннем билингвизме, имеющую не только эвристическое, но и прямое практическое значение. Весьма важным в будущих социолингвистических исследованиях окажется изучение речевой практики, речевой деятельности билингвов. Интересной и удачной представляется попытка построения исторического аспекта связи языка и мышления при билингвизме (А. П. Юдакин). Хотя собственно билингвизму в статье уделено сравнительно мало места, выделенные автором исторические типы двуязычия представляются вполне правомерными.

Непрерывной спутницей двуязычия является лингвистическая интерференция. Она как бы часть того «отрицательного материала», о котором писал еще Л. В. Щерба [5]. Рассматривая интерференцию в разных аспектах (социологическом, психологическом, лингвистическом, историческом), Ю. Ю. Дешериева отмечает наличие совокупности сложных процессов, сопровождающих двуязычие (или многоязычие) и не сводимых только к межъязыковой интерференции. В этой статье поставлена конкретная задача экспериментальных и теоретических иссле-

дований языковых контактов, которые «распирили и углубили бы наши знания о природе языка» (с. 255).

Четвертую главу книги «Аспекты социолингвистических исследований» точнее было бы назвать «Varia», поскольку в ней находят практическое подтверждение теоретические положения, высказанные в предыдущих главах (в статьях В. К. Журавлева, М. В. Дьячкова, К. В. Бахтияна). В этой же главе наглядно иллюстрируется применение методов социолингвистики (в статьях Г. В. Бондаренко и Т. Б. Крючковой, И. Е. Красновой и А. Н. Марченко).

Отметим ровность стиля всех входящих в книгу статей, прекрасное редакторское оформление всей монографии. Она в большой степени выиграла бы, если бы была снабжена некоторым аппаратом — хотя бы предметным указателем. Видимо, из-за соображений экономии места авторам пришлось от такого аппарата отказаться. Нет сомнения в том, что монография «Теоретические проблемы социальной лингвистики» сыграет заметную роль в развитии изучения всех аспектов языковой жизни и влияния общественной практики на развитие языка.

Шахнарович А. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. М., 1977, с. 252 и сл.
2. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1975, с. 170.
4. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология. М., 1980.
5. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 36.

Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Икки томли. 60 000 сўз ва бирикма. Маъруфов З. М. таҳрири остида. — М.: Рус тили, 1981. Т. I — 632 с.; т. II — 716 с.

Выход в свет Толкового словаря узбекского языка — крупное событие в культурной жизни Узбекистана. Огромное значение этого фундаментального труда для узбекского народа определяется прежде всего тем, что это первый академический толковый словарь, отражающий сложившееся на протяжении столетий лексическое богатство «материнского» языка, его стремительное развитие и обогащение в наши дни — в эпоху революционного обновления мира, открытого Великим Октябрем.

Словарь создан сотрудниками отдела современной лексикологии и лексикографии Института языка и литературы им. А. С. Пушкина Академии наук Узбекской ССР. В числе его составителей и редакторов — известные лексикографы республики С. Акабиров, Н. Маматов, Т. Аликулов, С. Ибрагимов, А. Ходжиев, Г. Михайлов и др. Возглавил коллектив З. Маъруфов.

Работа велась в течение двух десятилетий. Это сравнительно небольшой срок если учесть, во-первых, его объем — около 250 п. л., во-вторых, то обстоятельство, что создателям словаря приходилось в процессе работы решать во многом новые для узбекской практической лексикографии проблемы: подготовка специальной картотеки; отбор слов и составление словника; разработка принципов толкования слов различных частей речи, лексико-семантических и тематических групп; унификация формул толкования; отбор составных наименований и устойчивых сочетаний слов, разработка принципов размещения их в словарной статье и приемов раскрытия семантики; определение границ лексико-семантических вариантов слова и порядок их размещения в словарной статье, семантизация многозначных слов; особенности иллюстрирования значений слов и фразеологических оборотов; подача русско-ин-

тернациональных слов; способы раскрытия семантики исконно узбекских и заимствованных производных слов и др.

Семантизация многозначных слов — сложнейший лексикографический труд. За исключением мизерного количества полисемантических слов, основная масса этой категории лексических единиц не была до сих пор предметом самостоятельных исследований узбекских лингвистов. И потому авторам словаря нередко приходилось в процессе составительской работы заниматься изысканиями в области семантики с тем, чтобы преломить их результаты в практической лексикографии. Они провели скрупулезную работу по толкованию многозначных слов общетюркского происхождения. При этом следует подчеркнуть их умение подмечать, выявлять в самостоятельных значениях тонкие нюансы, оттенки, давать им лексикографическое описание. Только по букве «қ» в рассматриваемом словаре у 10 слов описано от 10 до 30 значений и множество оттенков значений. Например, в слове *қарамоқ* (первое значение «смотреть, глядеть») в Узбекско-русском словаре (М., 1959) выделяется 5 значений, а в Толковом словаре узбекского языка — 16 значений и 14 оттенков значений. В слове *бош* (голова) в упомянутом Узбекско-русском словаре отмечено 13 значений, а в рецензируемом словаре — 15 значений и 4 оттенка значения.

Другой пример. В слове *оқ* (белый) в Узбекско-русском словаре зафиксировано 5 значений, Толковый же словарь узбекского языка разграничивает в этом прилагательном 9 самостоятельных значений и два оттенка значения.

Авторами словаря использованы различные приемы истолкования значений слов: описательные дефиниции целесообразно, уместно сочетаются с раскрытием семантического содержания лексем с помощью синонимов и антонимов.

Большое значение для массового читателя имеет тщательно выверенное и продуманное снабжение слов грамматическими и функционально-стилистическими пометами, четко показывающими лексические пласты узбекского языка, специфику их речевого употребления. Особую лингвистическую ценность представляют этимологические справки, которые, безусловно, явятся импульсом для дальнейших исследований в этом, пока недостаточно освоенном направлении узбекского языкознания.

Богат словарь иллюстративным материалом, уточняющим дефиниции, семантику заглавного слова, демонстрирующим его связь с другими словами, что обеспечивает в лексикографических рамках взаимодействие лексической системы и речевой деятельности. В качестве примеров использованы типовые речения, цитаты из сочинений классиков марксизма-ленинизма, партийных документов, произведений художественной литературы начиная с основоположника узбекской советской литературы Хамзы Хакимзаде, Ниязи, пословицы и поговорки.

Экспрессивные средства узбекского языка представлены в словаре фразеологическими единицами, размещение которых

в корпусе словаря и словарных статьях осуществлено в лучших традициях подачи фразеологии в толковых словарях, сложившихся в советской лексикографии. Отбор фразеологических единиц сделан тщательно: толкования лаконичны, просты и доступны для массового читателя.

Выразительна, красочна, богата фразеология, созданная ее творцом — узбекским народом. Так, в статье *бош* (голова) помещено 65 идиом, многие из которых мало известны широкому кругу читателей и благодаря словарю теперь обретут «вторую жизнь», например: *боши боғлик* (она сосватана); *бош олиб кетмоқ* (уходить или уезжать навсегда, уходить или уезжать прочь); *бош тортмоқ* (уклоняться от работы, дела) и т. п.; *бошига чиқмоқ* (или *минмоқ*, *ўтирмоқ*) (садиться на голову, на шею кому-л.); *бош устига* (от души, с удовольствием, пожелуйста); *боши қоронғи* (о женщине в первый период беременности); *бир ёқадан бош чиқариб* (дружно, все как один); *боши қўкка етди* (он вне себя от радости) и др.

В словарь вошли, наряду с моносемантическими фразеологизмами, и единицы, имеющие два и более значений. Например: *туриб қолмоқ* 1) простоять, стоять (долго) на ногах; 2) залежаться; *оғори тўқилмаган* 1) новый, накрахмаленный; 2) перен. пользующийся авторитетом, уважаемый; почтенный; 3) перен. ранее не употреблявшийся, новый (о слове, выражении); *тушиб қолмоқ* 1) упасть, выпасть; потеряться; 2) быть пропущенным, опущенным; 3) сойти (на полдороге); 4) спрыгнуть (на ходу) и др.

Фундаментальные толковые словари можно по праву квалифицировать как главные словари того или иного народа. И главный филологический словарь узбекской социалистической нации создан. Узбекский народ имеет теперь возможность более глубоко и полно познать богатство своего родного языка. В этом заключается одно из основных его значений для Советского Узбекистана.

История языкознания свидетельствует, что с выходом в свет толковых словарей активизируются языковедческие исследования как прикладного, так и теоретического характера. Без сомнения, Толковый словарь узбекского языка положительно скажется на подъеме узбекского языкознания.

Первый толковый словарь современного узбекского языка — прочная основа для будущих поколений словарей этого типа. Опыт узбекских лексикографов по созданию академического толкового словаря воспримут лексикографы и других братских тюркоязычных республик.

Отметив высокий редакционный и полиграфический уровень издания, осуществленного в столице нашей многонациональной страны — Москве, в издательстве «Русский язык», в порядке пожеланий считаем необходимым сделать замечания, которые могут быть использованы авторами словаря при его переиздании:

1. С целью дальнейшего совершенствования семантических разработок следует взять на учет весь массив многозначных

слов узбекского языка с тем, чтобы внести соответствующие уточнения в толкования этой категории слов. Например, в слове *олмоқ* в словаре дано 15 значений. В диссертации Д. А. Аликуловой «Функционально-семантическая характеристика глагола *ол* в современном узбекском языке» (Ташкент, 1978) зафиксировано 21 значение. С каждым годом в узбекском языке кознанию выполняется все больше аналогичных монографических работ, издаются филологические сборники, журнальные статьи. Использование данных этих исследований намного обогатит Толковый словарь узбекского языка.

2. Начало работы над словарем и его завершение разделяют более двух десятилетий. Словарь в основном отражает состояние лексики узбекского языка в границах примерно начала 60-х годов. В качестве иллюстративного материала использованы в нем во многих случаях примеры, характерные именно для языка этого периода. В границах этого же времени отобраны цитаты из партийных документов, произведений художественной литературы. Это, к сожалению, неизбежное в лексикографии отставание в фиксации новых явлений в языке и речи должно быть максимально учтено при переиздании на базе использования значительно пополненного картотечного фонда Института языка и литературы им. А. С. Пушкина АН УзССР.

3. Объем словаря может быть увеличен за счет включения в него диалектных слов, архаизмов, неологизмов, калек с русского языка и узкоспециальных терминов, ставших в условиях «лексического взрыва», наблюдаемого в наши дни, общепринятым достоянием, например: *пиндик* (почки деревьев), *мармарак* (шалфей), *дашбеби* (сорт дыни), *қоқимчи* (знахарь); *аморат* (эмират), *чигин* (шитье); *ғажжамият* (сообщество), *телеминора* (телебашня); *погон* (погонный метр), *апартеид*, *видеотелефон* и т. п.

В словаре отсутствуют достаточно употребительные в современном узбекском языке слова: *ажр* (возмездие; воздаяние, награда), *манша* (место происхождения; исходный пункт, начало; истоки), *кандик* (ларь; закрома), *ёйандоз* (лучник), *умилдирик* (нагрудник — часть конской сбруи) и др., зафиксированные в Узбекско-русском словаре 1959 г.

В то же время в Словаре встречаются малоупотребительные разговорные и диалектные слова и формы. Например, вряд ли оправдано включение в Словарь таких форм, как *барол*, *беланг* и т. п. (при наличии литературных *барор*, *беланги*).

Имеют место случаи, когда слово, использованное в формуле толкования, отсутствует в корпусе Словаря. Так, слово *кандик*, приведенное в формуле толкования существительного *хампа* как его синоним, отсутствует на своем алфавитном месте. За пределами словника остались также слова *шамойил*, *тийинсимонлар*, через которые истолкованы *тенденция*, *суғур*. Такие слова должны быть представлены в Словаре.

4. Словник также может быть пополнен сложными словами, которые по действую-

щей ныне узбекской орфографии, пишутся раздельно, например: *фар ким* (каждый человек), *фар қанча* (сколько бы ни было), *ғеч қаерда* (нигде), *шоир табиат* (обладающий поэтической натурой) и т. д. Об этом, кстати, обстоятельно говорится в рецензии видных узбекских филологов И. Султана и Ф. Абдуллаева на Толковый словарь узбекского языка «Новая вежа в узбекской лексикографии», опубликованной в республиканской газете «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» («Литература и культура Узбекистана») 14 августа 1981 г.

5. В Словаре нет строгого единообразия в толковании однокоренных слов, сходных по семантике или структуре. Встречаются случаи, когда отдельные словарные статьи повторяют друг друга. Ср. подачу синонимов *арчилик* и *асаларчилик* (пчеловодство). Семантически тождественные слова получили не совсем идентичное истолкование. Второе слово достаточно было снабдить отсылкой к первому.

6. Специального внимания заслуживает подача производных слов, которые по количеству в несколько раз превосходят непроизводные слова. В словаре учтена смысловая зависимость производных слов от семантики производящих. При толковании производных в определениях, как правило, используются производящие слова. Сложные лексические связи многозначных производных слов с производящими также нашли отражение в Словаре. Обычно, если производное слово многозначно, то указывается, в каких значениях оно связано с производящим. Ср. *ботмоқ* (имеет 6 значений) и *ботирмоқ* (соотносительно с *ботмоқ* в 1—3 и 5 знач.); *ишламоқ* (имеет 6 значений) и *ишланмоқ* (соотносительно с *ишламоқ* в 3,4 знач.), *ишлатилмоқ*, *ишлашмоқ*. Последние два слова даны без указания соотносительных значений. Из этого следует, что они соотносительны с производящим *ишламоқ* во всех его лексических значениях. Между тем здесь возникает сомнение, например, сомнительна соотносительность их в 5, 6, 7 значениях производящего.

К сожалению, указания на семантическую соотносительность даются чаще всего при толковании отглагольных глаголов. Между тем в такой характеристике нуждаются и отглагольные имена действия (ср.: *ишламоқ* — *ишлов*), и отыменные глаголы (ср.: *иш* — *ишламоқ*) и многие разряды производных слов, находящихся в сложных лексических связях со своими производящими.

7. Большую работу проделали составители Словаря по отбору и подаче русско-интернациональных слов, занимающих значительное место в лексике современного узбекского языка.

Среди них много отнесенных прилагательных типа *абберрацион*, *агротехник*, *альтернатив*, *анархистийк*, *аттестацион*, *беллетристийк*, *геологийк* и т. п. Подавляющее большинство их дается отсылочным способом с помощью слова *ойд* «относящийся, имеющий отношение». Эти отношения очень разнообразны, и они конкретизируются в редких случаях.

В сфере заимствований широко пред-

ставлены однокоренные слова. Составители стремятся определить их смысловые связи, взаимоотношения. Ср.: *абсолютизм* → *абсолютист*; *автономия* → *автономист*, *автоном* (прил.); *акустика* → *акустик*, *акустик*; *геология* → *геолог*, *геологик* и т. п. Однако эти отношения не везде нашли отражение. Так, в словарных толкованиях не определены взаимоотношения однокоренных слов *антагонизм*, *антагонист*, *антагонистик*. Каждое из этих слов истолковано независимо от другого. См. также толкование слов: *альтернатива*, *альтернатив*; *аппендикс* и *аппендицит* и т. п. У читателя может сложиться впечатление, что это неродственные слова. Между тем *аппендицит* — это «воспаление аппендикса». Именно такое толкование и следовало бы дать в Словаре. Иначе искажается место слова в лексической системе языка, его взаимоотношения с другими словами. Например, судя по толкованию, прилагательное *асимметрик* является производным от *симметрик*, в то время как оно образовано от существительного *асимметрия*, которое и должно быть представлено в формуле толкования прилагательного *асимметрик*.

Не выпали из поля зрения составителей

многочисленные случаи полимотивированности производных слов, когда одно производное опирается на семантику нескольких производящих слов. Значение таких производных может быть раскрыто лишь путем отсылки ко всем мотивирующим словам. Ср. в Словаре: *анархистик* Анархистга ва анархизмга оид; *антисемитик* Антисемитизмга ва антисемитга оид, антисемитизм руҳидаги и т. п. Этот очень важный принцип раскрытия семантики полимотивированных слов в Словаре не доведен до конца. Так, прилагательное *арготик* толкуется только через слово *арготизм*, хотя оно мотивировано также существительным *арго*; прилагательные типа *археологик* отсылаются лишь к наименованиям наук, отраслей знаний (*археологизм*), а названия лица (*археолог*) при их толковании не принимаются во внимание.

Указанные недостатки легко устраняемы при переиздании Словаря, который несомненно является важной вехой в развитии не только узбекской, но и тюркской лексикографии в целом.

Баскаков Н. А., Тенишев Э. Р.,
Тихонов А. Н., Шаабдураманов Ш.

Современный русский язык. Учебник для студентов филологических специальностей университетов. Под. ред. Белошапковой В. А. — М.: Высшая школа, 1981. 560 с.

Выход учебника, охватывающего почти все разделы университетского курса «Современный русский язык», — это значительное событие в жизни высшей школы. Необходимость в таком учебнике назрела давно, и не только потому, что последний университетский учебник по этому курсу вышел в 1962—1964 гг., но и потому, что за прошедшие два десятилетия произошли значительные изменения в содержании курса «Современный русский язык».

В подготовке учебника участвовали ученые, читающие основные разделы курса в Московском университете, — В. А. Белошапкова, Е. А. Земская, И. Г. Милославский, М. В. Панов, научные исследования которых явились большим вкладом в перестройку преподавания современного русского языка. Все это вызывает к рецензируемому изданию особый интерес и придает ему особый вес и значение.

Сразу заметим, что в изложении материала каждым автором есть свои особенности и в аспекте подачи материала, и в отношении к работам других лингвистов, и в способе аргументации, однако весь учебник объединяется общей целевой установкой: не столько предложить студенту сумму отстоявшихся знаний, сколько ввести читателя в самую глубину творческих поисков исследователей русского языка, в сферу научной полемики (учебник предполагает студента, безусловно владеющего знанием вопросов теории русского языка в объеме школьной программы).

Очень богата информативная ценность книги, отражающей факты русского языка середины и второй половины XX в.

Учебник включает Введение, в котором очерчивается содержание понятия «современный русский язык и его стили», Фонетику (с «орфоэпией», «графикой» и «орфографией»), Словообразование, Морфологию и Синтаксис, т. е. охватывает всю программу курса, кроме Лексикологии.

Теоретическую основу учебника составляют идеи московской лингвистической школы, отстаиваемые авторами в полемике с представителями других отечественных лингвистических школ. Лекторское мастерство авторов нашло отражение в композиции и особенностях изложения, богатого занимательными фактами, логично приводящими к теоретическим постулатам.

Все это делает учебник очень интересным, представляющим изучение русского языка как увлекательный поиск, а не как штудирование списков словоформ и конструкций. В то же время нельзя не видеть, что последовательное проведение концепций московской лингвистической школы сохраняет в тексте учебника многие дискуссионные положения, которые предлагают студентам как единственно верные. Ни в коей мере не отрицая правомерности учебника такого типа, мы полагаем, что его появление открывает дорогу другим пособиям, написанным с позиций других отечественных лингвистических школ.

В увлекательно и ярко написанном

Введении четко и точно разъяснено, что литературный язык — это система систем, основными подсистемами которой являются кодифицированный литературный язык и разговорный язык (с. 30—32). Термин «стиль» отнесен лишь в экспрессивным разновидностям речи (высокий — нейтральный — разговорный). Функциональные стили рассматриваются как функциональные разновидности языка (заметим, однако, что отвергнутый термин «функциональный стиль» все же употребляется авторами на с. 21). Не признается функциональным стилем язык художественной литературы, рассматриваемый как «открытая система», не ограниченная средствами языка (с. 21). Дискуссионные вопросы стилистики не затрагиваются.

В Фонетике, помимо традиционных вопросов об устройстве речевого аппарата, об артикуляционной классификации гласных и согласных, изложена разработанная Р. Якобсоном, Г. Халле и М. Фантом акустическая дихотомическая классификация звуков. Необходимость включения этой классификации в вузовский учебник, безусловно, назрела. Однако при разъяснении принципов этой классификации были бы желательны рисунки спектрограмм, без которых студенту трудно осмыслить такие, например, признаки звуков, как компактность и диффузность, дизезность и недизезность, бемольность и небемольность.

Представляется вполне оправданным включение в учебник классификации суперсегментных единиц (слог, такт, фраза) и типологии интонационных конструкций. К сожалению, этот материал представлен очень сжато (с. 57—58).

При освещении фонологии с позиций московской школы полемика с ленинградской и другими фонологическими школами ведется темпераментно и увлеченно. Единственно, от чего, на наш взгляд, следовало бы воздержаться, — это от категоричности, с которой взгляды московской школы трактуются как единственно возможные (ср. с. 89, 90 и некот. др.).

В разделе Орфоэпия интересны новые параграфы: «Орфоэпия фонем в определенных позициях», «Орфоэпия грамматических форм» и особенно — «Орфоэпия отдельных слов» — очень полезные для культуры речи. Интересны также соображения о социофонетике.

В разделе Словообразование на основе идей В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, А. И. Смирницкого, с учетом современных концепций советских и зарубежных ученых рассматриваются категории синхронного словообразования, описываются виды морфем русского языка, членность и производность основ. Используются понятия субморфов (незначимых сегментов корневых морфов нечленимых слов, с. 173—174), интерфиксов (с. 174—181) и некот. др. Изложено учение о словообразовательном типе как основной ячейке словообразовательной системы языка, охарактеризованы способы словообразования. Хорошо раскрыта системность лексики, рассмотрены по словообразовательным типам. Особенно важна в этом отношении глава «Валентность мор-

фем и понятие продуктивности», в которой описаны и систематизированы разнообразные ограничения, препятствующие соединению деривационных морфем с производящей основой (с. 210—214). К достоинствам изложения Словообразования следует отнести и признание асимметрии между деривационными значениями и средствами их выражения (с. 223), и учет этой асимметрии при изучении и описании материала.

В целом этот раздел отражает многие лучшие достижения современного учения о словообразовании и написан именно как теоретический раздел, иллюстрируемый русским материалом. Для знакомства с конкретными фактами словообразования частей речи авторы отсылают читателя к другим учебным пособиям.

Описание морфологии строится на формально-грамматическом принципе классификации частей речи. Этот принцип является дискуссионным, так как он ведет к известному насилию над семантикой.

В учебнике строго разграничены словоформа, лексема (слово как представитель группы словоформ, обладающих тождественным лексическим значением), парадигма и форма слова. Много внимания уделено определению окончания как одной из значимых частей слова. Вопрос о разграничении словообразующих и формообразующих суффиксов снимается, так как последние причисляются к флексиям (с. 244). В результате, например, причастия имеют два окончания (*-ущ* и *-ий*), имеется окончание у деепричастий и т. д. В некоторых случаях, например, в отношении элемента *бы* в сослагательном наклонении, принимаются компромиссные решения (с. 326).

Спорным представляется отнесение к аналитическим формам глагола сочетания страдательного причастия со спрягаемой формой *был*, *буду* и с деепричастием *будучи* (*был построен*, *будет построен*, *будучи занят*, с. 346).

Выделение частей речи строится на основе значения окончаний и отчасти суффиксов (с. 256). Как будто бы принимая тезис о том, что части речи — это лексико-грамматические классы слов, авторы по существу не учитывают корневую семантику.

Утверждая, что местоимения как часть речи не существуют, а распределяются между существительными, прилагательными, числительными и наречиями, авторы все-таки описывают их в одном разделе под названием Местоименные слова, так как они «характеризуются некоторыми морфологическими особенностями, отличающими их от „типичных представителей“ соответствующих частей речи» (с. 302).

Авторы исходят из того, что грамматические категории должны охватывать в с/ю лексику, объединяемую понятием «часть речи». Это приводит к нестандартным решениям многих вопросов. Так, степени сравнения, образованные и от прилагательных, и от наречий, рассматриваются как особый «разряд с особым словообразовательным значением внутри наречий» (с. 291).

Нестандартно описываются граммати-

ческие категории частей речи. Вслед за Н. Н. Дурново и А. А. Зализняком авторы выделяют четыре рода у существительных (парный род для лексем типа *ножницы, брюки, очки*). Единственное и множественное число существительных квалифицируются не как словоформы, а как разные лексемы.

Вслед за Р. Якобсоном в учебнике признается существование восьми падежей (два родительных и два предложных). На основе принятых критериев признается также существование счетного (*полтора часа*), ждательного (*жду концы*) и превратительного (*произвести в начальники*) падежей.

По набору окончаний единственного и множественного числа (в этом случае число признается категорией словоизменения) выделяются типы склонения существительных: субстантивное, адъективное и смешанное в соответствии с «Грамматическим словарем русского языка» А. А. Зализняка (М., 1977).

Разносторонне и подробно изложена в учебнике тема Глагол. Несмотря на то, что глагольный вид грамматической категорией не признается, в учебнике детально анализируются сочетаемостные свойства и морфологическая структура глаголов, противопоставленных по виду. К сожалению, актуальность глагола не рассматривается, хотя в разделе Синтаксис подчеркивается, что актуальные значения могут влиять не только на семантику, но и на структуру предложения (с. 517).

В оппозиции действительный — страдательный залог маркированным членом признается страдательный залог, а действительный характеризуется лишь отсутствием признаков страдательного (с. 321). Образования, принадлежащие разным залогам, рассматриваются как словоформы одной лексемы, причем предложено различать окончание *-ся(сь)* и суффикс *-ся(сь)*. К сожалению, точных критериев разграничения этих элементов в языке нет: ср. *мост разводится; билеты продаются* (с. 322). Классы русских глаголов даны на основе «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка.

Очень сужен разряд слов категории состояния: к ним отнесены только те неизменяемые полнозначные слова, для которых синтаксическая функция сказуемого является единственной (с. 353). В результате слова *можно, нужно, жаль* отнесены к категории состояния, а слова типа *светло, грустно, весело* из названной категории исключаются.

Последовательное проведение формально-грамматического принципа в описании морфологической парадигматики, как правило, невозможно без компромиссов, с которыми и сталкивается читатель учебника.

Раздел Синтаксис построен как описание трех основных синтаксических единиц: словосочетания, простого предложения и сложного предложения. Слово и словоформа рассматриваются как составляющие синтаксических единиц. Глубоко и всесторонне раскрывается соотнесенность синтаксических единиц:

словосочетания и предложения, простого предложения и сложного предложения.

Информативно и четко сделано разграничение уровней синтаксических связей (с. 370—373). При описании подчинительной связи разграничены такие характеристики, как предсказуемость/непредсказуемость и обязательность/необязательность связи. Прослежен изоморфизм сочинительной и подчинительной связей на уровне словосочетания и простого предложения (с. 378—380, 394—396).

Среди трактовок согласования, управления и примыкания, разумно развивающих отечественные традиции, останавливает внимание лишь необычная трактовка характера связи между именительным падежом существительного и спрягаемой формой глагола: эта связь оценивается как согласование, направленное от существительного к глаголу, и управление со стороны глагола (с. 386—387). Не вполне ясно выделение примыкания несогласуемой формы существительного (с. 399).

Теория словосочетания изложена кратко и четко. Фактический материал предполагается известным из академической «Грамматики русского языка» 1952—1954 гг.

В основе очень интересного учения о простом предложении лежит взгляд на предложение как на многоаспектное явление, как на комплекс нескольких независимых (хотя и взаимосвязанных) устройств (с. 412). В учебнике выявлены особенности соотношения формальной, смысловой и коммуникативной сторон устройства предложения. Важным представляется понимание предложения в его коммуникативном аспекте как компонента текста (с. 412), а также опора на факт асимметрии между разными сторонами предложения.

Большим достоинством раздела Синтаксис, выгодно выделяющим его среди других разделов учебника, является продуманное изложение традиционных синтаксических учений в свете современных трактовок тех же синтаксических понятий. Например, после изложения традиционного учения о членах предложения дана его оценка: анализируются не только слабые стороны этого учения, но и выявляются идеи, вытекающие из этого учения и представляющие ценность для современной синтаксической науки (с. 427). После изложения традиционного учения о типах предложения показана неоднородность критериев их различения (с. 434). Логично и мотивированно введено современное учение о структурных схемах предложения с его разновидностями. Предложена типология структурных схем и способов их расширения, разработанная автором раздела. Подобным образом изложен и вопрос о парадигматике предложения. Новаторскими являются главы Синтаксиса, посвященные смысловой организации предложения. Студенты узнают о синтаксических идеях последнего десятилетия, включают в лабораторию творческих поисков синтаксистов и специалистов по лексической семантике.

В значении предложения различаются диктум и модус, характеризуются такие субъективные смыслы, как предикативность, целеустановка, персуазивность. Для описания объективного содержания предложения используется понятие пропозиции, которая понимается как модель называемого предложением «положения дела». Предикативная единица рассматривается как первичный способ выражения пропозиции, непредикативные — как вторичный.

В учебнике продемонстрирован новый подход к классификации семантических типов предложения на основе вида логического суждения. Расставлены современные акценты и в учении о членах предложения, среди которых различаются главные и неглавные конститутивные члены, неконститутивные члены и детерминанты.

В главе о коммуникативной организации предложения характеризуются не только традиционно описываемые средства выражения актуального членения (интонация, порядок слов, частицы), но и специальные синтаксические конструкции, которые формальными средствами выделяют тему высказывания.

Описание сложного предложения, несмотря на его лапидарность (всего 40 страниц из 558), содержит материал по всем сколько-нибудь значительным вопросам, поднятым в последние годы в синтаксической теории: природа частей сложного предложения, семантика сложного предложения, место бессоюзного сложного предложения в системе современного русского языка, парцелляция и др. Принципиально важной представляется идея изоморфизма структурной схемы сложного предложения структурной схеме словосочетания. Показаны характеристики предикативных единиц, обязательные для того, чтобы они могли стать частями сложного предложения.

В качестве самого важного конструктивного признака структурной схемы сложного предложения выделен вид синтаксической связи его частей, которая может быть сочинительной, подчинительной и недифференцированной. Убедительно показано, что в бессоюзных предложениях противопоставление сочинительной и подчинительной связи снято.

Описание классов сложных предложений строится на формально-семантической основе. Названы три вида различительных признаков: формальные, формально-смысловые и смысловые. Соответственно различаются понятия «тип», «разряд» и «разновидность» сложных предложений (с. 526). Классификация, основанная на значениях, создаваемых лексическим наполнением частей, позволяет внутри формально-смысловых рядов выделить собственно смысловые разновидности. Удача раздела не только в творческом использовании достижений современной синтаксической теории, но в очень большой степени — в использовании собственного исследовательского материала автора раздела.

При делении сложноподчиненных предложений обращается, в частности, внимание на природу различия в средствах выражения связи частей. Убедительно показано, что самая суть грамматических различий между расчлененными и нерасчлененными сложноподчиненными предложениями состоит в том, что они организуются разными видами подчинительной связи: в нерасчлененных предложениях связь носит предсказуемый характер, а в расчлененных — непредсказуемый. Характер связи учитывается и в дальнейшем, более дробном делении расчлененных и нерасчлененных предложений (с присловной, корреляционной и детерминативной связью).

Бессоюзные предложения рассматриваются как особый структурно-семантический класс сложных предложений со специфической формальной организацией. Бессоюзные сложные предложения открытой структуры включены в разряд сложносочиненных. Бессоюзные построения закрытой структуры делятся на нетипизированные и типизированные. Последние членятся по формальным признакам на предложения с анафорическим элементом, с позицией заключительной частицы и незамещенной синтаксической позицией.

Удачны и методически полезны схемы, наглядно представляющие типологию сложносочиненных (с. 533), сложноподчиненных (с. 545) и бессоюзных (с. 552) предложений.

Раздел Синтаксис может служить примером реализации принципа единства формы и содержания. К достоинствам раздела следует отнести и оценку языковых фактов с точки зрения нормированности и стилистической отнесенности.

В целом перед нами учебник нового типа, задачей которого является не столько сообщить конкретные перечни имеющихся в языке словоформ и конструкций (при наличии большой справочной литературы это стало вполне возможным), сколько познакомить студентов с состоянием теоретической мысли ученых-русистов, ввести их в самую гущу научных поисков, подготовить к самостоятельной творческой деятельности в области изучения русского языка. Оптимально решается эта задача в разделе Синтаксис. Несколько односторонне, в духе категорической агитации за свои научные позиции — в разделе Фонетика.

Но при имеющейся разнородности разделов все они объединены горячей увлеченностью их авторов своим предметом и желанием передать эту увлеченность студентам.

Ученые Московского университета подготовили яркий, самобытный, новаторский учебник, который, несомненно, будет способствовать делу улучшения преподавания современного русского языка в вузах страны.

Колосова Т. А., Попова З. Д.

Известно, какое большое значение для исследования языка великорусской народности и национального русского языка, изучения былого состояния русской народно-разговорной речи, для истории литературного языка имеют публикации разнообразных текстов делового содержания. Среди таких текстов заметное место занимают так называемые вести-куранты XVII в.— своеобразные рукописные газеты, явившиеся первым звеном в зарождении русской периодической печати. В 1980 г. вышел в свет третий том вестей-курантов, подготовленный к изданию Сектором лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР. Эта публикация продолжает издание материалов рукописных газет XVII в. (см. «Вести-куранты. 1600—1639». М., 1972; «Вести-куранты. 1642—1644». М., 1976).

В третьей книге вестей-курантов опубликовано 65 текстов и 15 черновых вариантов (785 рукописных листов), относящихся к 1645—1646 и 1648 гг. Оригиналы вестей-курантов, составивших рецензируемый том, хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве. К книге приложены: указатель слов (с. 270—333), указатель личных имен и географических названий (с. 334—360) и фотокопии фрагментов текстов (с. 361—404).

В книгу входят переводы шведских, голландских, немецких и английских известий о военных, политических и других событиях в Европе, о связях и сношениях между европейскими странами, мирные договоры, сообщения о необычных явлениях природы, сведения о лечебных свойствах вод и т. д. Это переводы-пересказы писем разных лиц с вестями о событиях в Европе, Азии, Бразилии и других местах, переводы писем корреспондентов Л. Марселиса, И. фон Стадена, Т. Джаковиса и др., перевод мирного договора между Данией и Швецией от 13 августа 1645 г., договорных статей между испанским королем и Голландскими штатами от 30 января 1648 г. и другие материалы.

В научной критике уже отмечалось, что издание письменных памятников, осуществляемое Институтом русского языка АН СССР, отличается научной достоверностью, точностью и продуманностью принципов передачи орфографии и графики оригинала. Все это полностью относится и к рецензируемой третьей книге «Вестей-курантов». Ценность публикации повышается и тем, что эти материалы в своем большинстве являются текстами плохой сохранности.

Появление курантов наряду с зарождением других жанров литературы XVII в. (например, виршей, драматургических произведений) свидетельствует о расширении сферы светской письменности, характерном для эпохи формирования русской нации, расширении и усложнении общественных функций общенародного, исконно русского языка. Язык

и стиль этого нового жанра письменности являет собой новую, только еще формирующуюся функциональную разновидность литературного языка. Включая в себя лишь хроникальный, информационный материал, главным образом о военных событиях, куранты по языку имеют много общего с деловыми документами, с деловой письменностью. Подобно другим деловым документам, в которых употребляются определенные формулы в зависимости от их назначения, вести-куранты содержат устойчивые начальные формулы типа: «В послышюи грамотке что Гарман Изерберг пишет...», «В списке с послышюи грамотке которую грамотку писал из Стеколы...», «Вести из Веницби...» и т. п. Обычны на страницах курантов слова и выражения (формулы), характерные для приказно-делового языка: *отбить челом, бить челом, ведамо учинить, жалобу держать, ответ чинить* и т. д. Что касается формул: «Вести из города Свабене...», «Из Амбурга...» и т. п., то в них можно видеть прообраз современных газетных сообщений.

Словарный состав вестей-курантов тематически шире, разнообразнее и богаче, чем лексика деловых документов. Это объясняется тем, что в курантах всегда наличествует элемент рассказа, повествования, развернутой характеристики, что не свойственно деловым документам. Это роднит куранты с такими видами письменности XVII в., как дневники путешествий на Запад, статейные списки русских послов и т. д. В текстах писем, помимо делового содержания, имеются сведения о повседневной бытовой жизни, о семейных событиях и т. п.

Разнообразное содержание текстов памятника обуславливает и разнообразие их лексического наполнения. Третий том характеризует широкий диапазон лексического состава: от общественно-политической лексики до бытовой. Большой удельный вес занимает лексика военная, дипломатическая и торговая, (посколько переводы представляют собой, главным образом, письма иностранных купцов и промышленников). Весьма интересна и богата обычная бытовая лексика и фразеология с ее чисто разговорными выражениями и оборотами.

Военная лексика характеризуется тем, что в ней отчетливо видно изменение в сложившейся в древнерусскую эпоху системе средств выражения. Наряду со старой военной терминологией, идущей от древнерусского периода: *бой, вина, воевать, взять в полон, полоняник, разорить, приступ, приступать* и др., употребляется новая, появившаяся в XVI—XVII вв.: *воинское дело, вылазка, смотри-ти, шанец, крепость, замок, служилои ратной запас* «воинское оружие и все, что годится для воинского дела», *воисковои наряд, осажене* «осада», *осадные люди, новоприборные люди* «новобранцы», *зимнее становще* «зимняя стоянка войска», *прапор, литавры, regiment, наимовать* «нанимать в солдаты»; наименования во-

енных профессий и должностей: *ратной воевода, полевой маршалок, полковник, полуполковник, ротмистр, драгун, реитар, начальной сторожеставец «начальник стражи», ратной порутчик, ружейной воевода, капитан, генеральной маиор и т. п.* Следует подчеркнуть, что в сфере изложения военных событий и передачи военных понятий отчетливо прослеживается выработка литературных средств выражения в русском языке XVII в.

Вести-куранты дают богатый материал для истории дипломатической лексики. Складывающаяся система дипломатического языка содержит различные формулы обращения к руководителям и представителям государств: *велеможнбеишая и высокорожденная княгиня и государина, велеможнбеишии и высокорожденные княз и государ, добророжденной господин; названия договоров, дипломатических актов и действий: полномочные наказы, договорные росписи «текст договора», мирное поставление «мирный договор», ссорные статьи «статья договора о причинах ссоры, вражды», перемирные статьи, полномочные письма, собрание «дипломатическая встреча», мирные договорные дела; наименования дипломатов: полномочный посол, государственный посол и т. п.*

В дипломатической лексике, как и в военной, особенно ярко проявляется становление русских национальных норм, выработка единого общерусского словоупотребления. Как правило, эту лексику характеризует вариантность словоупотребления, колебание в наименованиях складывающихся понятий, синонимика наименований. Так, заключение мира — это и *совершение миру и мирное поставление, мирное постановление; современное заключить мир передается в Вестях как договорит, совершит вечный мир, установит мир, учинит постоянной нерушимой мир; недружба оставлена, розни помирены* — это прекращена ссора, вражда и т. п.

Богато представлена складывающаяся торгово-промышленная лексика и примыкающая к ней часть юридической: *торговое дело, железное дело, торговли человек, промышленник, завод «завод, фабрика», расход, доход, товар, прикащик, прибыли, наклад, платеж, великая шкота «большой убыток, урон», цена, покупати, заплаотит, счестся, пошлина; доля; бочка; названия денег, русских и иностранных: денга, денги, гривенка, алтын, ефимок, русской фунт, галанской фунт, полтина, шиллинг, золотой и др.; лексика юридическая: счетное письмо «кредитное письмо», должные взятки, заемные денги, платежной год, прямая пошлина, рукописане «расписка в получении чего-либо»; названия разнообразных товаров: желбзо, пушки, сукна, золото, алмаз, шолк, полотна, лосины, льняное семя, ладан, икра и т. п.*

Эта лексика обнаруживает тесные связи с лексикой общего употребления. Здесь больше, чем в каком-либо другом лексическом пласте, разговорных слов, оборотов, сочетаний: *жить помалу «на небольшие средства», давать, брать в долг,*

*помешки не будет «не будет затруднения в чем-либо». Торговая фразеология тесно связана с общим разговорным употреблением: иметь счет с кем-либо «иметь денежные отношения с кем-либо», *взять в платеж «взять в счет долга, поход на товары «спрос на товары», росты взять «взять проценты». Отмечается и синонимия: убыток и великая шкота, «большой убыток, урон» и т. п.**

Особенностью языка вестей-курантов является также широкое обращение к лексике общепотребительной, разговорной. Разговорные слова и обороты встречаются не только в переписке, но также и в других текстах, но, конечно, особенно богата ими частная переписка. Употребляются слова обихода, названия домашних вещей и предметов: *пламя «семья», землица, живот и животина «имущество», пособит «поможет», язнулся «пообещал», справитесь «поправитесь», пошкотили «побили», сумнятыся «сомневаться», показаться «понравиться», приневольт «заставить», напоследи «в конце», на дороге «в пути», за неволю «поневоле», передаться «изменить», перейти на сторону врага» и т. д. Сочетания слов, обороты и выражения, характерные для разговорной речи: *конца не видет «не видно конца», меньшая дочюшка, добром приняя, свои прожиток имети, время покажет, любо слышати, оприч убытков нечево ждаты; выражения со словом бог: дал бог, бог ведает, дай бог; назад пойти (о деле: расстроиться, не получиться), чево перь поверит не мочно, мир плоховат, время шаткое, станет разделяватца «начнет рассчитываться», были навеселе «в хорошем расположении духа», пойти в сгон «догонять», пошол отходом, приступом приступал, что ж делат и т. п.* Фразеологические выражения: *по уши уезали, быть на чьей-либо ше, смерть случитца кому-либо, отстать дружбою «прекратить дружественные отношения»* также свидетельствуют о тесной связи языка вестей с живой разговорной стихией. Отражая словоупотребление своего времени, лексика курантов XVII в. свидетельствует об интенсивном росте и обогащении словарного состава русского языка в период сложения его национальных норм.*

Что касается заимствований, то они относятся прежде всего к терминологии и имеют интернациональный характер. Заимствование и усвоение таких терминов было восполнением той необходимой части русской терминологии, которую в любой терминологии составляют международные наименования, наряду со средствами национального языка. Количество таких заимствований возрастало от XVI века к XVIII. Их усвоение русским языком носило естественный и «плавный», постепенный характер.

Материалы позволяют уточнить хронологию заимствования слов, уточнить или определить источник и пути заимствования. Они дают возможность изучать закономерности адаптации заимствованных слов в период их вхождения в русский язык: в этом смысле весьма показательна широкая вариативность иноязычной лексики, нашедшая отражение и в огубликованных материалах.

Специальный интерес представляют способы передачи на русский язык иноязычных географических и топонимических наименований, названий жителей городов и стран; здесь содержится большой материал для истории названий стран, государств и их жителей: *англинскии, агличанин, агличенин, азеискии, албейскии, Амбурз, амбурец, амстердамскии, аустрепскии, баденскии, бомелскии, боргунискии, брабантскии, бразильянскии, венециане, литовскии, лифляньскии* и т. п., названий титулов, владений: *арцуг, арцугиня, арцугна, арцугство, барон, баронство* и т. п.

В вестях-курантах отразились черты живого разговорного языка XVII в. Они дают большой материал для изучения фонетических и морфологических особенностей русского языка этого периода. Несмотря на хорошую выучку писцов, живое произношение явственно проступает, нередки случаи, когда традиции письма нарушаются. Особенно часто можно найти отражение аканья, как в предупредных, так и в заударных слогах: *акьянское, была «было», галанская, галанец, салдат, какова, каталитцкие, третева дни, Алиярис* наряду с *Олиярис*; после мягких и отвердевших согласных: *оттоля, карабляньный, нынешняго, жалаю* и т. п.; отмечаются также другие изменения безударных гласных — *е* на месте *я*: *октебрия, тежелые, тысяч* (много раз), *тысечу, слышет «слышать», слышела, посегали «посагали», наредил; о* на месте *а*: *моршалою, полати; и* на месте *е*: *больши* (встречается часто), *евангилитские, лутчи* (встречается часто), *Архангилской* и др. Можно указать также и на возможное отражение оканья (*чужоземцов*). Живое произношение наблюдается в отражении перехода *е* в *о*, обычно после шипящих: *на чом, зачол* (от *зачесть*) и особенно в формах глаголов с корнем *идти*: *шол, пошол, пришол* и мн. др. Часто окончание глаголов с *-ся* пишется по произношению: *розделатца, вершитца, залежатца, не станетца* и др.

Живое произношение обнаруживается в написании окончания род. пад. ед. ч. прилагательных и местоимений. Тексты вестей-курантов дают возможность наблюдать, как по-разному это окончание ведет себя в зависимости от разрядов лексики, различных оборотов. Чаще всего оно пишется в местоимениях: *по нево, ево, у нево, от тово, и с тово, чево, которого, каково, ничево* и др.; в некоторых прилагательных: *нарошиново, младово, болшово, пряжнево, третева* и др.; иногда в заимствованиях: *французского, каталонского*. В титулах, официальных наименованиях, как правило, пишется окончание *-ого*: *царского, княжеского, великого* и т. д. Вообще можно отметить, что форма *-ово* обычна в переводах писем, передаче вестей и очень редка в переводах официальных бумаг (договоров и т. п.).

Почти постоянно устраняется зияние с помощью *ј* в иностранных фамилиях, названиях или заимствованных словах: *окьян, акьянское море, Алиярис, Олиярис, Християн* и т. п. Отчетливо видны результаты диссимилятивных процессов в таких часто встречающихся случаях,

как *это, х тому, х Крестине, лехче, дох-тѣр* (почти всегда) и т. п., выпадения или отпадения согласных или целых слогов: *счастливо, згляд, кстины*, а также приставки согласных: *здобыча*. Позже такое произношение локализовалось, стало диалектным.

Наряду со старыми древнерусскими флексиями существительных муж. и ср. родов мн. ч. и дат., твор. и местн. падежей (*-омъ, -ы, -ехъ*) встречаются новые флексии (*-ам, -ами, -ах*): *свеенам, жилцам, с сукнами, проливями, рейтарами, караблями, на караблях* и т. п. Отмечаются также новые флексии им. пад. мн. ч. на *-а*: *города*, им. мн. ср. па. на *-ы*: *знамены*, род. мн. на *-ев*: *рублев, чаяниев*.

Памятник дает большой материал для изучения истории флексии *-у* в род. и местн. падежах существительных. Здесь очерчивается более широкий круг существительных, употреблявшихся с этой флексией: *шолоку, корму, от коровану, табару, полку, доходу нет, сево году, дать откупу, проезду нет, промыслу, платежю, в стражу, о морском ходу, в Амбурзу, о миру, не в миру* и т. д.

У прилагательных муж. рода очень часто отмечается русская народная флексия *-ой*, а не старославянская *-ий*: *посолской приказ, Архангилской город, служилой, ратной, волной господин, начальной, рѣжеиной, которой*, причем в заимствованных словах и в текстах дипломатических документов: *шлязетной, датцкой, высокоупомянутой, добророжденной, постоянной нерушимой мир, персидцкой ход, шпанской, королевской особой полк, начальной первой пешей полк* и т. п.

В текстах вестей-курантов встречаются также новые формы инфинитива, употребляющиеся теперь на южнорусской территории: *проитить, воитить, идтить, свестъ, вестить, отвестъ* и т. п.

Вместе с тем язык вестей-курантов почти свободен от старославянизмов, книжных, архаических черт в грамматическом строе — форм аориста, имперфекта, двойственного числа, дательного самостоятельного и др. Среди имеющихся церковно-книжных лексических элементов нет редких архаичных славянизмов; это, в основном, отвлеченная лексика, которая позднее войдет в состав русского литературного языка, использование других славянизмов было вызвано необходимостью выработки терминологических обозначений.

На материалах этих документов возможно ставить такие первостепенной важности вопросы, как: формирование общенациональной устно-разговорной речи, характеристика особенностей социальных диалектов, изучение их взаимосвязей с другими сферами русской речи, сложение и развитие военной и дипломатической лексических систем, становление норм русского национального языка и мн. др.

Публикация черновых вариантов дает возможность, сравнивая эти черновые варианты с беловыми, исследовать некоторые особенности становления лексических, грамматических, фонетических и орфографических норм русского языка, наблюдать и интерпретировать «факты взаи-

действия и известного противопоставления явлений живого разговорного языка и правописной традиции» (см. 10). Указатель слов, приложенный к изданию, имеет самостоятельное значение как удобный источник для исторической лексикографии.

Язык этих памятников еще раз убедительно подтверждает ведущую роль деловой письменности в формировании лите-

ратурного языка начального периода становления русской нации.

Публикация рукописных памятников XVII в. является событием большого научного и культурно-исторического значения, особенно очевидного на фоне недостаточной изученности многих сторон истории русского языка XVI—XVIII вв.

Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П.

CONTENTS

Articles: Klimov G. A. (Moscow). The heritage of the classics of marxism and the historical approach in linguistics; Kacnel'son S. D. (Leningrad). Linguistic typology; Sljusareva N. A. (Moscow). Types of linguistic terms (founded on the study of grammatical terminology); **Discussions:** Domašnev A. I. (Leningrad). Topical problems of Germanic linguistics in Switzerland; Ščerbak A. M. (Leningrad). Order of morphemes in the word-form as object of a special linguistic study; Kolsanskij G. V. (Moscow). On the linguistic mechanism of text-generation; Ol'sanskij I. G. (Moscow). Semantic interaction of the word and the sentence; **Materials and notes:** Staričенок V. D. (Minsk). Areal variation of polysemantic words; Vasil'eva N. V. (Zhukovskij). Semantic and functional description of Greek and Latin elements in linguistic terminology; Vinogradova V. A. (Moscow). Description of word-meanings in historical dictionaries; Kim S. S.-D. (Tashkent). The unity of language and speech as reflected in defining and bilingual dictionaries; **From the history of science:** Xaburgaev G. A. (Moscow). M. V. Lomonosov's «middle style» and its role in the history of the Russian literary language; Xrakovskij V. S. (Leningrad). Sources of the verbocentral conception of the sentence; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: Klimov G. A. (Moscou). L'héritage des classiques du marxisme et l'approche historique en linguistique; Kacnel'son S. D. (Léningrad). La typologie linguistique; Sljusareva N. A. (Moscou). Types des termes linguistiques (sur l'exemple de la terminologie grammaticale); **Discussions:** Domašnev A. I. (Léningrad). Problèmes actuels de linguistique germanique en Suisse; Ščerbak A. M. (Léningrad). L'ordre des morphèmes dans la forme du mot en tant qu'objet d'une étude spéciale linguistique; Kolsanskij G. V. (Moscou). Sur le mécanisme linguistique de la génération du texte; Ol'sanskij I. G. (Moscou). Interaction sémantique entre mot et proposition; **Matériaux et notices:** Staričенок V. D. (Minsk). Sur la variation territoriale des mots polysémantiques; Vasil'eva N. V. (Joukovskij). Pour une description sémantique et fonctionnelle des éléments terminologiques grecs et latins dans la terminologie linguistique; Vinogradova V. A. (Moscou). Description de la signification des mots dans les dictionnaires historiques; Kim S. S.-D. (Tachkent). Le reflet de l'unité des notions «langue» et «parole» dans les dictionnaires raisonnés et bilingues; **De l'histoire de la science:** Xaburgaev G. A. (Moscou). Le rôle du «style moyen» de Lomonosov dans le contexte de l'histoire du russe littéraire; Xrakovskij V. S. (Léningrad). À propos des sources de la conception verbocentrique de la proposition; **Comptes rendus.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.02.83	Подписано к печати 20.04.83	T-09506	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆
Высокая печать	Усл. печ. л. 12,6	Усл. кр.-отт. 76,9 тыс.	Уч.-изд. л. 15,0 Бум. л. 4,5
Тираж 6020 экз. Зак. 2565			

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62. Подосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10